

Рафаиль Мустафин

По следам оборванной песни
Переработанное и дополненное
Издание
Казань
Татарское книжное издательство
2004

УДК 820/89(470)
ББК 84(2Рос=Тат)—4
М 11

Мустафин Р.А.

По следам оборванной песни.— Казань: Татар.кн.изд-во, 2004.— 399 с.

В 2006 году исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. Татарское книжное издательство знаменует большой юбилей несколькими публикациями. И первая из них – эта книга. Настоящее издание широко известного произведения Рафаэля Мустафина, посвященного жизни и борьбе Мусы Джалиля, содержит новые, уникальные сведения об антифашистской деятельности поэта-героя и непростой истории его посмертной реабилитации.

ISBN 5—298—01384—8 ©Татарское книжное издательство, 2004

СТО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ШАГОВ

От тяжелых, выкрашенных охрой дверей центрального блока тюрьмы Плетцензее до приземистого кирпичного строения в глубине двора сто четырнадцать шагов. Сто четырнадцать шагов – сначала по стершимся каменным плитам, потом по утопанному щебню вдоль высокой тюремной ограды, затем по неширокой, аккуратно посыпанной желтым песком дорожке...

Но они не считали шаги.

Они смотрели на омытое недавними дождями голубое небо, на ослепительно белые облака, на редкие травинки, которые упрямо пробивались между каменных плит.

Они жадно вдыхали свежий воздух и щурились от ярких лучей августовского солнца, беспощадно высветившего болезненную желтизну их лиц. И с удовольствием разминали затекшие ноги, с которых только что сняли кандалы.

...Теперь уже не сто четырнадцать шагов, а гораздо меньше отделяло их от барака, где в эту минуту палач заканчивал последние приготовления к казни. Он покрикивал на своих помощников, которые сильной струей из шлангов смывали кровь со стен и цементного пола. Несколько дней назад двух его самых опытных и надежных подручных взяли на Восточный фронт. Пришлось – в нарушение всех инструкций – взять помощниками бывших уголовников, а они не очень-то старались. Казней с каждым днем было все больше и больше. А тут еще во время недавней бомбежки во дворе тюрьмы разорвалась полутонная бомба. Ударная волна как ножом срезала угол барака, грудой кирпичей засыпало и повредило гильотину. И хотя обломки на другой же день расчистили, а гильотину починили, палач был не совсем доволен ее работой. Семидесятипятикилограммовый стальной нож ходил несколько косо в разболтавшихся пазах. Вдруг заминка?.. Этого палач не терпел. Втайне он гордился безотказной работой своей адской машины, в которой собственноручно сделал некоторые усовершенствования. И сейчас, в последние минуты перед очередной казнью, он что-то последние минуты, перед очередной казнью, он что-то подкручивал, подтягивал, еще раз проверял работу откидного стола и рычагов для захвата...

...Шли молча, опустив головы. Зиннат Хасанов, шедший перед Джалилем, на мгновение оглянулся, и Муса увидел в его глазах такую глубокую тоску, что сердце у него сжалось. Он вспомнил, что Зиннат один из самых молодых среди них, даже жениться еще не успел... Муса захотелось как-то подбодрить товарища, поддержать, утешить. Но что сказать, что?.. И вдруг он запел, усилием воли преодолев душивший его приступ кашля:

Кара карлыгач микэн,
Сары сандугач микэн...

Это было до того неожиданно, что конвойные в первую минуту растерялись. А песню уже подхватили.

– Ма-а-алчать! – крикнул старший конвойный. Крикнул скорее по привычке, потому что он все равно ничего не мог поделать с людьми, которых отделяло от смерти несколько десятков шагов.

Муса видел, как распрямлялись спины, как сжимались в кулаки скованные руки, слышал, как крепили и набирали силу поначалу неуверенные голоса. Не все помнили слова песни, но с еще большим задором и яростью повторяли припев.

В фашистском Берлине, во дворе всегда безмолвной, словно вымершей тюрьмы звучала, выплескиваясь за ограду, татарская песня, рожденная на берегах могучей Идели.

...У ворот центральной проходной топтался невысокий человек с плоским, изъеденным оспой лицом. Он выглядел странно в черном гражданском костюме и белой чалме, обмотанной вокруг головы, с Кораном в зеленом бархатном переплете под мышкой. Прохожие с любопытством оглядывались на него, и человек с Кораном злился и нервничал. Черт его дернул послушаться Шафи Алмаса! Сам-то Шафи Алмас и пальцем не шевельнул для спасения своих единоверцев, наоборот, потребовал строжайшего наказания для смутьянов. И патер Юрытко тоже хорош: заставляет его столько ждать за воротами...

Вдруг из-за высоких кирпичных стен донеслась песня... Песня, которую ему доводилось слышать еще в далеком детстве от матери. Песня, почти забытая за долгие годы скитаний...

Придерживая развевающиеся полы черной сутаны, к нему спешил тюремный священник Юрытко. Он едва не опоздал на казнь и теперь пытался придать своему гладкому, покрасневшему от быстрой ходьбы лицу приличествующее случаю скорбное выражение.

Когда духовные пастыри подошли к барaku, песня уже смолкла. Приговоренные стояли тесной кучкой, касаясь друг друга плечами, и... улыбались. Облегченно улыбался Курмаш, вытянув изувеченную ногу и всем телом привалившись к широкой груди Джалиля. Сдержанно, сквозь слезы, улыбался Зиннат Хасанов. Запрокинув голову к синему небу, отрешенно шурился Абдулла Баттал... По-детски открыто улыбался Алиш, стараясь протиснуться поближе к Мусе. Одиннадцать таких непохожих и в то же время таких одинаковых своей непокорностью улыбок – вот что врезалось в память служителей культа в эту последнюю минуту, вот о чем с удивлением вспоминали они много лет спустя...

«КОГО-ТО ИЗ НАС НЕДОСЧИТАЮТСЯ...»

*Прощай, моя умница! Если судьба
Пошлет мне смертельную рану,
До самой последней минуты своей
Глядеть на лицо твое стану.
...И в сердце останется только любовь
К тебе и родимому краю,
И строки последние кровью своей
О ней напишу, умирая,
Чтоб нашего счастья врагам не отдать,
Тебя я покинул, родная...
Я – раненый – грудью вперед упаду,
Дорогу врагу преграждая.*

Муса Джалиль,
из стихотворения «Прощай, моя умница»,
посвященного жене Амине. 1941 год

В это ясное июньское утро Муса с семьей собрался за город, на дачу друга.

До отправления поезда оставалось несколько минут, когда по радио объявили о начале войны.

Встречать Джалиля на пригородной станции пришли критик Гази Кашшаф и поэт Ахмет Исхак. Они улыбались, радостно махали руками, приветствуя друга. Мусе довелось первым сообщить им эту новость...

Всю ночь друзья просидели в тесном семейном кругу.

Уже под утро, прощаясь, Муса произнес фразу, которую не раз вспоминали впоследствии:

– После войны кого-то из нас недосчитаются...

На следующий день Джалиль отнес в военкомат заявление с просьбой отправить его на фронт.

Лейтенант взял заявление, пробежал бумагу глазами и устало сказал:

– Ждите. Когда наступит очередь вашего возраста и категории, вышлем повестку.

Муса принялся было что-то объяснять и доказывать, но лейтенант, уже не слушая его, повернулся к другому.

– Ждите... Все хотят на фронт...

Дирижер постучал палочкой по пюпитру:

– Не так! Больше трагизма, значительности, эпической широты... Повторим все сначала...

Мусе показалось, что он попал в особый, изолированный от окружающей действительности мир. Остро пахли свежееготовленные декорации. На сцене суетился режиссер, расставляя статистов, покрикивая, делая последние распоряжения.

После толчеи военкомата актеры в старинных долгополых одеяниях и мохнатых шапках ханских времен казались особенно странными. На минуту Муса усомнился: а нужно ли это сегодня? В дни, когда решается судьба страны?

Его вызвали в дирекцию.

Директор поинтересовался планами Мусы. Узнав о заявлении, схватился за голову:

– Да вы с ума сошли! До премьеры «Алтынчеч» считанные дни! А кто будет доводить спектакль?

Он сожалел, недоумевал, наконец прямо предложил Мусе устроить бронь. Хотя бы до премьеры.

– Когда идет война, я предпочитаю укрываться за броней танков, – ответил Муса.

13 июля Джалиль получил повестку.

В неразберихе тех горячих и грозных дней Муса попал в формировавшийся в Татарии артиллерийский полк «конным разведчиком», а попросту говоря – ездовым.

«Груд этот – самый ответственный, самый сложный и опасный в армии, – пишет он жене Амине. – В артиллерию отбирают проверенных людей с большими знаниями (надо иметь дело с оптическими приборами и высшей математикой). Вот туда я и попал».

Правда, несколькими строками ниже Муса добавляет:

«Хочу поговорить с командованием, нельзя ли быстро меня подучить и сделать командиром орудия».

Но он так и не решился заговорить на эту тему.

Вскоре в Казани состоялась премьера оперы «Алтынчеч». И хотя Мусе очень хотелось побывать на премьере, он не попросился в увольнительную. Не хотел, чтобы в части узнали, что он – писатель. Зачем выделяться среди других?

Но судьба сама пошла ему навстречу.

Командир части, в которой проходил обучение Джалиль, оказался большим любителем музыки. Он был на премьере, горячо аплодировал вместе со всеми и настойчиво вызывал на сцену авторов музыки и либретто. Сосед объяснил ему, что автор либретто, поэт Муса Джалиль, сейчас в армии и находится в воинской части в Татарии. Наутро начальник разыскал Джалиля, поздравил с большой удачей и сам предоставил поэту увольнительную и свою машину. Не думал Муса, работая над либретто, что будет слушать оперу в форме рядового артиллерийского полка...

Опера прозвучала торжественно, впечатляюще и неожиданно актуально.

Писатель Адель Кутуй отметил в рецензии, что вся глубина патриотического пафоса произведения особенно отчетливо выявляется на фоне новых исторических событий.

«В этой прекрасной опере, – писал он, – мы видим могучую силу народа, видим любовь сынов народа к Родине. Опера учит нас быть сильными, как непобедимая Тугзак, быть патриотами-героями, как сын народа Джик... Жестокий и трусливый хан Мамед напоминает современных каннибалов. Зверства Мамеда приводят к тому, что народ уничтожает его. Зрители верят: шакалы-гитлеровцы также будут уничтожены».

...Занавес закрывался и снова раздвигался. Публика стоя приветствовала авторов, режиссера, артистов. Это был подлинный триумф.

Джалиль, растерянно улыбаясь, выходил на сцену, неловко кланялся, пожимал руки актерам и, ослепленный светом прожекторов, неловко пятился назад. Но едва ему удавалось скрыться за кулисы, чьи-то руки снова осторожно выталкивали его на сцену...

Так командование узнало, что Муса – известный поэт, бывший председатель Союза писателей, депутат горсовета. Его хотели либо демобилизовать, либо оставить в тыловой части. Но Джалиль решительно воспротивился этому. «Поймите, я поэт! Не могу же я, отсиживаясь в тылу, призывать к защите Родины. Мое место – среди бойцов. Я должен быть на фронте и бить фашистов» – так передает слова Мусы свидетель этого разговора, бывший однопольчанин Джалиля Г. Беляев.

В последних числах июля Муса получил назначение на курсы политработников.

НА КУРСАХ ПОЛИТРАБОТНИКОВ

Курсы располагались в бывшей родовой усадьбе князей Барятинских. Двухэтажный каменный дом с белыми колоннами стоял посреди огромного запущенного парка. За домом был большой, заросший зеленой ряской пруд. По словам старожил, когда-то здесь плавали белые лебеди. За прудом, под деревьями, стояли палатки, в которых жили курсанты.

Будучи на курсах, Муса написал стихотворения «Прощай, моя умница», «Моей дочери Чулпан», «На память другу», «Каска», «Из госпиталя» и др. Возникла мысль издать отдельный сборник.

В эти дни Джалиль писал Гази Капшафу: «Настоящая прифронтовая жизнь не так складна, как это мы представляем себе в гражданской обстановке (часто – наблюдая в кино)». Муса рад приобретенному опыту и жалеет, что создал до войны либретто оперы «Ильдар» из военной жизни, не имея такого запаса наблюдений. «Сейчас «Ильдара» я сделал бы по-иному», – замечает он.

Как-то во время обеда курсанты услышали прерывистый гул. Воздушная тревога! Многие растерялись, заметались по парку. Муса, выскочив из столовой, первым взобрался на крышу и припал к зенитному пулемету. Стрелять, правда, не пришлось – вражеский стервятник пролетел мимо. Вечерам Джалилю перед строем объявили благодарность. После этого случая те, кто подтрунивал прежде над гражданской мешковатостью и поэтической рассеянностью Мусы, прикусили языки.

С приближением линии фронта курсы эвакуировали в город Щигры. Не только боевое оружие и личные вещи, но и все оборудование пришлось нести на своих плечах. Целый день лил дождь, превратив проселочные дороги в жидкое месиво. Сквозь разрывы туч то и дело слышался гул немецких самолетов, и тогда курсанты падали в придорожные канавы лицом в грязь. Даже бывалые служаки выбивались из сил. А Муса всю дорогу шутил, подбадривал отстающих, помогал то одному, то другому нести винтовку или ручной пулемет, хотя у самого заплечный груз достигал сорока килограммов...

В памяти однокурсника Мусы П. Герасева остался такой случай.

Курсанты несли караульную службу неподалеку от вокзала. А рядом шла погрузка эвакуированных. Давка, ругань, неразбериха, детский плач, уханье уже недалеких орудий. Того и гляди, налетят немецкие самолеты... Те, кто посильнее, лезли с вещами вперед, а женщины с детьми, старики, инвалиды не могли попасть в вагон. Муса обратился к начальнику караула с просьбой разрешить ему вмешаться. Начальник велел Мусе оставаться

на своем месте. Трижды Джалиль повторил свою просьбу. Наконец ему разрешили отлучиться на несколько минут. Подбежав к вагону, Муса навел порядок, посадил женщин с детьми, подал вещи и, только убедившись, что дело пошло быстрее и организованнее, вернулся на место.

Бывший курсант Ф.В. Черягукин (он служил в одном отделении с Джалилем) припоминает такой эпизод. Неподалеку от казармы в Щиграх была речушка и пруд. Как-то они с Мусой решили постирать побелевшие от пота гимнастерки и спустились под мост. Через мост тянулись толпы беженцев со стороны Ливен. Шли целыми семьями, взвалив на себя домашний скарб. Некоторые гнали с собой коров, коз. Другие тянули ручные тележки. Возле моста остановилась женщина. Босая, растрепанная. То плачет, то смеется. Увидев курсантов, протянула руку и, глядя на них расширенными немигающими глазами, попросила хлеба. Муса сбегал в казарму, принес кусок хлеба. А женщина подержала, подержала его и, вдруг расхохотавшись, бросила в воду. Те, кто был с нею, объяснили, что во время бомбежки убило двух ее детей.

– Как же так, – сокрушался Муса. – Надо бы устроить ее в госпиталь...

Черягукин остался достирать гимнастерки, а Джалиль повел женщину к военному коменданту.

Вернувшись, рассказал, что женщину устроили в больницу. Через несколько дней Муса написал для стенной газеты статью, где описал этот случай. Называлась она «Не забудем, не простим...».

Вскоре курсы перевели в Татарстан, в город Мензелинск. От Щигров до станции Бугульма по путям, забитым беженцами, составами с заводским оборудованием, воинскими эшелонами, через разбомбленные станции, под налетами вражеской авиации добирались двадцать четыре дня. Но занятия не прекращались и в пути: принимались зачеты, готовились аттестации.

В Бугульме произошла забавная сценка.

Выгрузив оборудование, курсанты толпились на привокзальной площади. Жгли костры, готовились к походу. Предстоял нелегкий путь – почти сто километров пешей колонной. А тут еще сильные морозы... Как и везде, около военных вертелась местная детвора. Вдруг один из мальчишек воскликнул:

– Смотрите, вон тот, в длинной шинели, очень похож на... Мы еще его стихи учили... Из школьной хрестоматии... Мы... Как его? Ну да, на Мусу Джалиля!

Мальчишки, конечно, подняли его на смех:

– Ты что, разве поэты такие бывают? Это же солдат!

Все же мальчишка, набравшись смелости, подошел к Мусе.

– Тебе чего, малец? – повернулся к нему Джалиль. – Табаку у меня нет, могу вот сахаром угостить...

– Да нет, абый, – смутился тот. – Я только хотел спросить...

Он никак не мог подобрать слов. Сахар, однако, тут же сунул за щеку.

– Чего ж ты хотел спросить?

– Вы, абый, очень похожи на одного поэта... Из нашей хрестоматии...

– На кого же? Уж не на Мусу ли Джалиля?

– Ага! – обрадовался мальчуган. – А вы его знали?

Муса озорно сверкнул глазами:

– А как же. Чай с ним вместе пили.

В этот момент поэта окликнули:

– Муса! Залилов! К командиру взвода!

Мальчонка даже рот раскрыл.

– Так вы и есть Муса абый!..

В Мензелинске Мусу дождался пакет с официальной бумагой. В ней сообщалось, что Джалиль может остаться в Казани на прежней должности. Прочитав бумагу, Муса сказал своему мензелинскому знакомому Гарифуллину:

– Три четверти нашей писательской организации на фронте. Разве могу я отсиживаться в тылу? Вот кончу учебу и – на фронт бить фашистов.

Здесь же Муса встретил свою сокурсницу по Казанскому рабфаку Махмуду Мазитову (она работала учительницей в местной школе). Дочь Мазитовой, Иншар Алькарамова (она тоже работала учительницей), рассказывает:

– Когда я была маленькой, мама часто рассказывала, как она училась на рабфаке, где и кем работают ее бывшие однокашники. С особой гордостью она говорила о Мусе Джалиле, который стал известным поэтом.

Незадолго до войны мама принесла небольшую книжечку в голубой обложке. Это была поэма «Письмоносец». Ее прочитали тут же. «Это написал Муса Джалиль, – с гордостью сказала мама. – С ним мы когда-то вместе учились...»

Как-то, уже после начала войны, мама пришла взволнованная, раскрасневшаяся.

«Представь себе, встретила на улице Мусу Джалиля. Словно с братом повидалась. Обещал зайти к нам».

Муса зашел через несколько дней. Он был в выцветшей пилотке (хотя морозы достигали сорока градусов), длинной солдатской шинели и тяжелых, задубевших на морозе ботинках.

Вежливо поздоровался и тут же, покряхтывая, принялся яростно растирать уши и щеки. После обеда, отогревшись, Муса поинтересовался, читала ли я его стихи.

«Вряд ли, – сказала мама. – Она стихов не любит».

«А вот и нет», – возразила я. Порывшись на этажерке, я разыскала поэму «Письмоносец». Муса взял книжку в руки, полистал ее, и глаза у него сделались вдруг печальными и задумчивыми. Мама попросила его почитать что-нибудь из поэмы... Я думала, он будет читать по книжке. А он отложил книжку в сторону и негромко, будто продолжая разговор, стал читать поэму наизусть.

И произошла странная вещь. Исчезли куда-то и книга, и стихи, и сам Муса. Я ясно видела перед собой картины, одну красочнее другой, то улыбалась, то грустнела, то заливалась радостным смехом. Муса несколько раз хотел остановиться, но мы с мамой в один голос просили его читать еще и еще.

Меня больше всего поразила память Мусы. Я все ждала, что он запнется. Но он не сбился ни разу. И вообще стихи читал по памяти. Он знал наизусть всего Тукая, Дэрдменда, Маджита Гафури, многие стихи современных татарских поэтов.

Затем Муса стал бывать у нас довольно часто. Интересовался моими отметками, помогал готовить уроки, рассказывал о своей дочери Чулпан, показывал ее фотокарточку.

«Красивая у меня дочурка?» – с гордостью спрашивал он.

«Очень», – в один голос отвечали мы.

Уже перед отъездом Муса абый протянул мне листочек, на котором было написано: «Подарок. Девочке из Мензелинска». Я растерялась и никак не могла сообразить, что стихотворение посвящено мне. Тогда Муса снова взял листочек и приписал сверху «С. Иншар». Вот эти строки:

Ты прощай, моя умница.
Погрусти обо мне.
Перейду через улицу –
Окажусь на войне.
Если пуля достанется,
То тогда не до встреч.
Ну, а песня останется –
Постарайся сберечь...

Я сберегла эту песню как память о Джалиле, как самое светлое и волнующее мгновение в моей жизни.

Выпуск состоялся в конце декабря. Джалилю присвоили звание старшего политрука. В Мензелинском городском театре организовали вечер, посвященный этому довольно заметному событию в жизни небольшого городка. После доклада и затянувшихся утомительных выступлений слово предоставили Джалилю. Он вышел на сцену, не спеша оглядел большой нетопленный, до отказа набитый народом зал и вдруг, неожиданно для многих, прочел свое шуточное, только что написанное по этому случаю стихотворение «Мензелинские воспоминания»:

Прощай, Мензелинск!
Уезжаю. Пора!
Гостил я недолго. Умчусь не на сутки.
Прими эти строки мои, что вчера
Я, вдруг загрустив, написал ради шутки.
Пусть здравствуют улицы эти, дома
И серая, снежная даль горизонта!
И пусть лейтенанты, что прибыли с фронта,
Красивейших девушек сводят с ума!
...Пусть здравствует клуб твой! Он был бы
неплох,
Да белых медведей теплее берлога.
Собрать бы туда всех молоденьких снох,
Чтоб клуб они этот согрели немного.
Невесты пусть здравствуют! Жаль их до слез.
Помады отсутствие их не смущает.
Но как разрешить их важнейший вопрос,
Когда женихов в Мензелях не хватает?

Стихотворение сразу разрядило немного скованную атмосферу вечера и вызвало оживленную реакцию зала.

В архиве Министерства обороны хранится характеристика на курсанта Мусу Залилова, написанная 8 декабря 1941 года в Мензелинске. Поэт характеризуется здесь как «дисциплинированный, энергичный, волевой человек, активный общественник». Подчеркивается его отличная работа редактором ротной стенгазеты. Говорится, что программу курсов он усвоил на отлично и его можно использовать инструктором политотдела дивизии. Характеристика подписана командиром роты лейтенантом Михеевым. Сверху исполняющий обязанности начальника курсов сделал приписку: «Лучше использовать заведующим лит. отделом газеты».

В том же архиве есть и партийная характеристика Залилова, написанная 14 декабря 1941 года и подписанная секретарем партбюро роты. В ней говорится, что Муса показал себя на курсах с самой лучшей стороны, постоянно был отличником боевой и политической подготовки, активно участвовал в массово-политической работе и пользовался заслуженным авторитетом среди курсантов. Как человека, преданного делу партии, делу Ленина, партбюро рекомендует его на любой ответственный участок идеологической работы.

Это были не просто дежурные фразы. Окончившим курсы присваивали звание политрука. Лишь четверем из двух тысяч курсантов присвоили звание «старший политрук». В их числе был и Джалиль.

Муса должен был ехать за назначением в Москву, в ГлавПУРККА (Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии). По пути ему разрешили заехать в Казань.

Эти несколько недолгих дней Муса напряженно работал. Закончил и представил в издательство сборник песен и стихов «Клятва артиллериста». Хотел подготовить к печати «Избранные произведения». Но взяться за составление такого сборника у него уже не было времени.

Друзья устроили Джалилю теплые проводы. В клуб писателей имени Г. Тукая собрались друзья по перу, представители партийных и советских органов, артисты, композиторы. Пришли и эвакуированные в Казань русские писатели Алексей Сурков и Владимир Бахметьев. На вечере была также группа иностранных писателей-антифашистов: итальянский прозаик Джованни Джерманетто, французский поэт Жан-Ришар Блок, немецкий писатель Иоганнес Бехер и другие.

Таким образом, вечер принял интернациональный характер. Выступавшие очень тепло говорили о поэзии Джалиля, желали ему творческих успехов, боевой удачи и скорейшего возвращения с победой. Муса был смущен и растроган. Позднее, в письме Председателю Президиума Верховного Совета ТАССР Г. Динмухаметову он признавался:

«Было очень неудобно, что на этом вечере Имамединов и Кутуй выступили с чересчур напыщенными хвалебными речами. Это уже лишнее. Мне было страшно неловко. Сидел и не знал, куда деться от стыда. Слишком расхвалили. Слишком вознесли».

«И ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕ УМИРАТЬ»

...Осталась позади вокзальная суэта, отчаянно-веселый визг гармошки, слезы солдаток, последние поцелуи, напутствия.

На темном, обледенелом перроне осталась скорбная, закутанная в теплый платок фигурка Амины.

Постепенно успокаивался и засыпал набитый до отказа вагон. За окном простиралась иссиня-черная, без единого проблеска ночь. О чем думал Муса в эти часы? Было ли у него какое-то, хотя бы смутное предчувствие своей трагической судьбы?

В одном из писем жене он писал:

«Я дневники не пишу, не чувствую внутренней потребности, а принудить себя не могу и не хочу.

Но бывают минуты, когда чувствам и мыслям становится тесно в сердце и в голове, хочется что-то писать: не то дневник, не то письмо.

Последний мой отъезд из Казани был самым тяжелым моментом моей жизни за последние годы...

До этого я два раза расставался с тобой, уезжая на фронт, но последнее расставание было во сто крат тяжелее... Не предчувствие ли это недоброго? Я ведь верил и верю в наличие некоторого предчувствия (инстинктивного чутья у людей).

Не видя никаких особых причин своей грусти, я с испугом начал сомневаться: не есть ли это предчувствие того, что я больше не увижу ни тебя, ни Чулпан. Но такая мысль пришла только на миг. Я просто не знал, чем объяснить, что так тяжело расставаться. Но расставаться было очень тяжело...»

Особенно тяжелым было прощание с дочерью.

Она спала. Муса и Амина долго колебались: разбудить или не разбудить? Разбудить – поймет, в чем дело, захнычет, попросится на вокзал. А ей нельзя. У нее температура. Не разбудить – тоже жалко. Проснется, спросит папу. И ей будет горько и обидно, что она не проводила отца.

Муса надел шинель, затянул ремень, надел мохнатую баранью шапку, которую ему подарили в Мензелинске, еще раз взглянул в растерянные глаза жены и решительно подошел к детской кровати.

– Это я, папа. Слышишь, доченька? Я уезжаю. До свиданья.

Чулпан, не открывая глаз, протянула руки и обхватила отца за шею.

– Я уезжаю, доченька. Можно мне ехать?

Все еще не открывая глаз, девочка потерлась щекой о грубое сукно шинели и утвердительно кивнула головой.

«Это был трогательный момент. Если я не вернусь и Чулпаночка вырастет, сохранив в душе туманное воспоминание об отце, этот ее ответ будет самым существенным в ее жизни: она, лишившись отца, все же гордо будет думать, что сама отпустила папу на великую войну».

Мусе вспомнились недолгие дни, проведенные в Казани. У него не было ни минуты свободного времени. Встав пораньше, он сразу же садился за письменный стол и просиживал, не разгибаясь, до 10–11 часов дня. Чулпан в это время тихо сидела где-нибудь в уголке комнаты и терпеливо ждала, пока отец кончит работу. Но едва он кончит, как ему пора уже уходить – в издательстве или Союзе писателей его ждали новые дела. Чулпан не плакала, не капризничала, только печально смотрела на отца и снова оставалась дома, ожидая его возвращения. Один только раз она робко попросила: «Папа, можно сегодня и я пойду с тобой?» Мусе очень хотелось выполнить ее скромную просьбу, но на улице было холодно, мела метель, а у Чулпаночки все не спадала температура.

И вот теперь, в дороге, Муса жалел, что не махнул рукой на дела, которых все равно не переделаешь, и не провел с дочерью хотя бы день. Играл бы с ней, качал на коленях, рассказывал сказки и разные веселые истории. Тогда, может быть, было бы не так горько расставаться.

«...Я не боюсь смерти. Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что мы смерть презираем, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное осознание своей общественной функции доминирует над чувством страха. Когда приходит мысль о смерти, то думаешь так: есть еще жизнь за смертью. Не та «жизнь на том свете», которую проповедовали попы и муллы. Мы знаем, что этого нет. А есть жизнь в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил эту другую жизнь – «жизнь после смерти». Потому что обо мне будут говорить, писать, портреты помещать, чего доброго. Если я это заслужил, то зачем же бояться смерти? Цель-то жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать.

...Если вот так рассуждать – а я так рассуждаю, – смерть вовсе не страшна. Но мы не только рассуждаем, а так чувствуем, так ощущаем. А это значит – это вошло в наш характер, в нашу кровь...

Но... бывают минуты, когда я думаю о Чулпаночке, представляя ее без папы. Думаю так: вот последнее мое расставание с нею было действительно последним. Она уже больше никогда не увидит папу (допустим). Родной, близкий, самый дорогой ей человек больше не вернется к ней, не приласкает, не поиграет с ней, не расскажет интересные сказки. Она никогда, никогда не увидит больше знакомое, родное лицо, знакомые, родные глаза. Будет терпеливо ждать, как она ждала меня с работы, но все будет напрасно. Она никогда больше не услышит его родную речь! Вот это ужасно! Когда я думаю об этом, мне становится жутко. Все трудности, все муки и страдания может перенести моя душа, но она никак не может смириться с тем, что 8 января (1942 г.) вечером Чулпан, провожая отца, видела его последний раз. Вся душа протестует против этого – ибо так сильна моя любовь к Чулпаночке. Эта любовь сильнее всех смертей».

В РЕЗЕРВЕ

Все произошло не так, как ожидал Муса.

Работник отдела кадров, к которому Джалиль обратился за новым назначением, просмотрев его личное дело, сказал:

– Выходит, до войны вы в армии не служили?

– Нет.

– А сможете писать стихи и рассказы, если направить вас в русскую фронтовую газету?

– Я татарский писатель, – ответил Джалиль. – Кроме татарского, свободно владею башкирским, казахским, узбекским и другими восточными языками. По-русски же, кроме статей и докладов, ничего не писал...

Работник отдела кадров отложил бумаги Джалиля в сторону.

– Ладно. Что-нибудь подберем. А пока вот вам направление в общежитие.

Потянулись томительные дни ожидания.

Как-то по просьбе жены Муса посетил комнатку в Столешниковом переулке, в которой они жили до переезда в Казань.

Пересек засыпанный сугробами двор, поднялся по темной скользкой лестнице, потянул на себя тяжелую, обитую клеенкой дверь.

Из раскрытых дверей кухни доносилось победное гудение примусов. Муса отпер ключом дверь, зябко повел плечами: в комнатке стоял могильный холод. Стены были покрыты мохнатым инеем. Из разбитого окна на пол, на стол, даже на кровать намело снегу. Не верилось, что когда-то эта крохотная двенадцатиметровая комнатка была теплой, уютной, оживленной.

Здесь часто бывали друзья Джалиля, писатели, артисты, композиторы, учащиеся татарской оперной студии. Нередко приезжали и подолгу останавливались у Джалилей казанцы.

Дверь комнатки была открыта для всех – знакомых и незнакомых. Если хозяев не оказывалось дома, ключ всегда лежал в условленном месте, за вьюшкой печи в коридоре. И соседи не удивлялись тому, что в отсутствие Джалилей в их комнате хозяйничали какие-то незнакомые люди.

Сюда принесли из роддома крошечную Чулпан. Здесь Муса провел немало бессонных

ночей. Он любил писать по ночам: тогда и входная дверь хлопала реже, и кухня наконец затихала, и неугомонная Чулпаночка засыпала. Нередко просиживал до самого рассвета...

Страхнув оцепенение, Муса принялся за дело – смахнул щеткой иней, вымел снег, забил фанерой окна.

...Ожидание назначения растянулось почти на два месяца. Горячая, деятельная натура, Муса рвется на фронт. Он даже не может писать в эти дни вынужденного безделья – душой и мыслями он там, на линии огня.

«Надоело находиться в неопределенном положении в этом резерве»,– пишет он жене.

Один из соседей Мусы по общежитию, А. Молдаванов, рассказывает, как однажды к ним в казарму приехали артисты московской эстрады.

«Роскошная жизнь»,– иронизировал по этому поводу Муса.– Курорт! Люди там кровь проливают, а мы... Завтра снова пойду проситься, чтобы поскорее отправили в действующую армию...»

Журналисту Льву Шилову удалось найти в архиве Союза писателей СССР неизвестное ранее письмо Джалиля Александру Фадееву. Оно написано 20 января 1942 года.

«Уважаемый тов. Фадеев!

Вам пишет татарский писатель – Залилов М. М. (Муса Джалиль). Я с первых дней войны был мобилизован в ряды Красной Армии. Был рядовым в артиллерии, проходил краткосрочные курсы среднего политсостава. По окончании курсов Главполитуправление вызвало меня в Москву. Я сейчас нахожусь в Москве в распоряжении ПУРККА, жду назначения в действующую армию. И вот я, пользуясь пребыванием в Москве, хотел с Вами посоветоваться о дальнейшей работе в действующей армии.

Мне предлагали поехать писателем в армейскую газету одной из действующих армий. Но я счел нужным предупредить, что я татарский писатель и писать стихи, рассказы на русском языке, пожалуй, не смогу. Я знаю, что в Уфе формируются татаро-башкирские части. Я мог бы быть очень полезным, как писатель и журналист, в этих соединениях. Национальные воинские части, думаю, нуждаются в писательских кадрах, имеющих военную подготовку.

Я чувствую, что ПУР затянет мое дело надолго. Здесь не знают, как меня использовать. Поэтому очень прошу Вас, по получении этого письма, позвонить в Политуправление и дать соответствующую характеристику и рекомендацию обо мне. Надеюсь, что Вы не оставите мое письмо без внимания. Хочется принести как можно больше пользы Родине, находясь в рядах действующей армии.

С приветом и глубоким уважением

Ваш Муса Джалиль (Залилов)».

Известно, что Фадеев интересовался судьбой Джалиля еще до того, как поэт обратился к нему. Осенью 1941 года Фадеев писал в редакцию газеты «Правда» Ставскому, что Мусу Джалиля «как одного из известных и талантливых татарских поэтов... в интересах дела обороны было бы правильным и целесообразным использовать в качестве работника фронтовой печати». Видимо, по его же совету фамилия Джалиля была включена в «Список писателей народов СССР, которые могут быть рекомендованы в качестве военных корреспондентов от местных республиканских газет».

Через некоторое время Джалиль написал Фадееву второе письмо:

«...Мой вопрос тянется уже месяц, и, вероятно, я поеду отсюда безо всякого назначения с какой-либо произвольной группой из резервистов».

В уголке этого письма А. Фадеев сделал пометку: «Вызвать тов. Джалиля на 6.П к 1 часу».

Об этой встрече рассказывает ее участник, журналист Д. Молдаванов. Собираясь на прием к Фадееву, Джалиль пригласил его с собой.

«Мы вошли в особняк Союза писателей на улице Воровского. В приемной ответственного секретаря, как пулемет, строчила большая пишущая машинка. Женщина в толстом шерстяном свитере узнала Джалиля и сказала, что Александр Александрович здесь.

Фадеев очень тепло встретил его.

– Что-то редко заходишь ко мне,– пожурил он поэта.

Мы присели к столу, и они заговорили о писателях Татарии, ушедших на фронт. Фадеев по доброте душевной предложил устроить поэта на газетную работу в Москве. Джалиль отказался. Он считал, что его место в войсках. Фадеев и Джалиль понимающе посмотрели друг на друга. На фронте шло тяжелое сражение, и оба писателя думали, конечно, об одном, о главном.

В заключение Муса Мустафович положил на стол новые подстрочники. Фадеев бегло просмотрел их и тут же посоветовал, к кому из поэтов-переводчиков лучше всего обратиться».

В конце концов Джалиль, несомненно, добился бы назначения в национальные части. Но у него, по-видимому, просто не хватило терпения. В последних числах февраля с первой же командой офицеров-резервистов он уехал на Волховский фронт.

«КОЛИ ТАК – ОФОРМЛЯЙТЕ»

«28 февраля 1942 г.

Милая моя Чулпаночка!

Наконец поехал на фронт бить фашистов-мерзавцев. Ты, наверное, в кино бываешь и видишь, как наши бьют и гонят с нашей земли фашистов. Вот так я тоже буду воевать. Когда совсем их выгоним и победим, я приеду. Будем праздновать твой день рождения. Я собирался сделать тебе очень хороший подарок, приеду, сделаю.

Ну, пока, дорогая, до свидания! Я уже сажусь в вагон.

Крепко целую.

Я поехал на фронт под Ленинград.

Папа».

На фронте Муса некоторое время находился в резерве штаба армии, расположенного в г. Малая Вишера, выполнял поручения командования.

«На днях вернулся из десятидневной командировки по частям нашего фронта, был на передовой, выполнял особое задание. Поездка была трудная, опасная, но очень интересная. Все время был под обстрелом. Три ночи подряд почти не спал, питался на ходу. Но видел много».

(Из письма Г. Кашшафу 25 марта 1942 г.)

Поездки Джалиля были связаны с немалыми опасностями. Один раз он лишь чудом не попал в окружение. Но Мусе по-прежнему кажется, что его не допускают до настоящего дела. Он настойчиво добивается отправки в татаро-башкирские соединения или хотя бы в любую действующую часть – лишь бы поближе к передовой. Наконец Мусе удалось осуществить свое желание. О том, как это произошло, рассказывает бывший заместитель редактора газеты «Отвага» Лев Моисеев. (Он учился вместе с Джалилем в Московском университете.)

В первых числах апреля он выехал на редакционной машине в штаб фронта за бумагой и продовольствием.

«Иду по улицам Малой Вишеры в штаб фронта оформлять дела. После фронтовых землянок и палаток в лесу, в которых мы живем, как-то непривычно идти мимо домов, кажущихся сейчас особенно уютными. Мы там, в лесах и болотах, отвыкли спать раздеваясь, видеть чистые занавески на окнах и цветы на подоконниках. А тут... Хотя тут тоже не сладко: каждый день налеты, бомбежки, залпы зениток. Но все же не то, что болото, которое скоро будет таять, а мы со всей своей техникой тонуть в грязи. Загляделся на один дом, украшенный красивой и замысловатой резьбой. Сзади слышу шаги, чувствую, что идет военный. Идущий нагоняет меня, делает еще шаг вперед, оборачивается и козыряет с улыбкой.

– Муса! Старший политрук! – механически козырнув, а потом крепко трясая его руку, говорю я. – И ты здесь!

– Так точно, батальонный командир, – смеется он в ответ, – сижу по приказу начальства в местном армейском резерве.

После первых вопросов и беглых ответов Муса мрачнеет.

– Знаешь, до черта надоело сидеть в резерве. Люди там воюют, сражаются, а ты киснешь тут и не знаешь, когда тебя к настоящему делу приставят.

Я ему сочувствую, потому что знаю: резервистское состояние – мука мученическая, как отлично понимаю и то, что без резервов воевать никак нельзя. Разговор долго вертится вокруг этой темы. Но голос Джалиля становится все грустнее, и в беседе проскальзывают ропот и даже жалобные нотки. И тут меня, как говорится, осеняет. Я вспомнил, что штат нашей газеты недоукомплектован, хотя, по совести говоря, мы спокойно обходимся без отсутствующей единицы.

– Знаешь, – говорю я Мусе, – можно кое-что придумать. По штату нашей газете положено иметь двух писателей, а мы имеем одного. Ты писатель и подходишь нам по всем статьям. Хочешь – идем сейчас в политотдел к Золотареву, будем просить, чтобы тебя отчислили к нам.

В глазах у Мусы сразу вспыхнул огонек надежды.

– А ты думаешь, выйдет? – спросил он.

Искренне желая помочь товарищу, сам не зная, удастся ли это осуществить, я уверенно ответил:

– Наверняка выйдет. Только ты подумай, стоит ли из резерва уходить в нашу армию. Ведь мы находимся в тягчайшем положении.

Я подробно описал обстановку, в которой находилась тогда Вторая ударная армия. Мы чувствовали, что дела у нас идут неважно, что скоро наступит весна, и мы, если не будут приняты какие-то срочные меры, утонем в Волховских болотах. Причин такого положения мы тогда, конечно, не понимали. Но что дело может кончиться большой бедой, как это впоследствии и получилось, – это сознавали многие из нас.

Предупреждения и предостережения, которые я излагал в нарочито черных красках, нисколько не смутили Джалиля.

– Ну, тогда идем, – коротко сказал я.

Золотарев, ведавший в политотделе фронта распределением кадров политработников, знал меня. Знал и то, что наша армия действительно находится в тяжелом положении. Я рассказал ему, как мерзнут пальцы у наборщиков, работающих в продуваемой морозным ветром палатке, как пишем передовые и статьи сплошь и рядом на пеньках или, в лучшем случае, сидя в худом кузове нашей полуторки... Заключил я все это настойчивым требованием подкрепить нас кадрами, потому что один литературный сотрудник (Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого) убит, другой (Кузьмичев) ранен, третий (Вучетич, ныне известный скульптор) неработоспособен после контузии. Тут же предложил и кандидатуру Джалиля, рассказал, кто он такой и почему он нам подходит.

Во время этой беседы Джалиль молчал, только глаза его горели хорошо знакомым мне возбужденным блеском. Я кончил докладывать, и Золотарев, немного помедлив с ответом, лаконично изрек:

– Ну, коли так, – оформляйте».

ПЕРВАЯ ВЕСТЬ

«С июля 1942 года от Мусы перестали приходить письма. Долго ждала я, и вот, наконец, пришло тяжелое известие: Джалиль без вести пропал. Многие годы я ничего не знала о его судьбе. Убит в бою? Ранен? Находится у партизан? Или же попал в руки врага? Однако я ни на минуту не теряла веры в него, веры в его благородство и честность...»

(Из воспоминаний Амины Джалиль)

29 апреля 1945 года к 11 часам утра соединения 79-го стрелкового корпуса, наступавшего на рейхстаг, вышли на рубеж улиц Ратеноверштрассе и Турмштрассе. Сквозь дым разрывов и пожарищ впереди показалось большое серое и мрачное здание за высокой кирпичной оградой. Поверх стены – колючая проволока. Маленькие подслеповатые окна забраны железными прутьями. Тюрьма Моабит... На оперативной карте Берлина она значилась под номером 115 и имела форму многолучевой звезды неправильной формы.

Когда передовые соединения корпуса ворвались во двор тюрьмы, там уже никого не было

– ни охраны, ни заключенных. Ветер носил по двору мусор и обрывки бумаг. Сваленные в кучу, догорали какие-то папки. Под ногами хрустело разбитое стекло. Одно крыло четырехэтажного тюремного здания было разрушено прямым попаданием авиабомбы. Из-под груды битого кирпича и обломков шел кисловатый дым.

Одно из подразделений 79-го корпуса расположилось во дворе тюрьмы. И тут, среди разбросанных взрывом книг тюремной библиотеки, один из бойцов заметил клочок бумаги, вырванный из какой-то книги. На нем было написано по-русски:

«Я, известный поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве».

Собравшись вместе, бойцы читали эту записку, передавали из рук в руки. В подразделении нашлись и татары, хорошо знавшие имя Джалиля.

Записку послали в Москву, в Союз писателей, на имя Александра Фадеева. В сопроводительном письме бойцы обещали отомстить фашистским гадам за гибель советского поэта.

Так на Родину пришла первая весть о Мусе Джалиле.

«ЕСЛИ ЭТА КНИЖКА ПОПАДЕТ В ТВОИ РУКИ...»

В один из весенних дней 1946 года в Союз писателей Татарии зашел плечистый черноволосый человек лет тридцати пяти в потертом пальто, кирзовых сапогах и солдатской ушанке. Секретарша поинтересовалась, кто он и по какому делу. Посетитель ответил, что назвать себя не может, а о деле скажет только лично председателю правления.

В кабинете председателя посетитель пробыл недолго. Вскоре после его ухода председатель вынес машинистке маленький пакет, завернутый в красную бумагу, и попросил перепечатать его содержимое. В свертке оказалось два блокнота. Один совсем крошечный, сшитый из разрозненных клочков бумаги и густо забитый убористым арабским шрифтом. Второй – чуть больше по размеру, фабричного производства, с твердыми коричневыми корочками. На последней страничке первого блокнота было написано:

«К другу, который умеет читать по-татарски:

Это написал известный татарский поэт Муса Джалиль... Он в 1942 году сражался на фронте и взят в плен. В плену испытал все ужасы, прошел через сорок смертей, затем был привезен в Берлин. Здесь он был обвинен в участии в подпольной организации, в распространении советской пропаганды и заключен в тюрьму. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него останется 115 стихов, написанных в плену и в заточении. Он беспокоится за них. Поэтому он из 115 старался переписать хотя бы 60 стихотворений. Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги и после войны сообщи в Казань, выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа. Таково мое завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».

Здесь же поэт оставил список тех, кто был арестован и брошен в тюрьму вместе с ним. Кроме того, в блокноте был адрес семьи Джалиля, а также московского и татарского Союзов писателей. На обложке тетради простым карандашом, но также рукой Джалиля было записано имя некоего Габбаса Шарипова, впоследствии зачеркнутое. Всего тетрадь содержала 60 стихотворений и несколько отрывков.

Во втором блокноте, изготовленном одной из французских писчебумажных фабрик, повторялись те же стихи Джалиля. Незнакомец выполнил просьбу Джалиля и, на всякий случай, старательно переписал его стихи латинским шрифтом. Причем проделал это не один раз, так как в конце блокнота сохранилась приписка: «Эти стихи я уже переписывал один раз в г. Бизин (Франция). Переписываю снова». Сюда же он переписал и стихи Абдуллы Алиша, его завещание и адрес семьи.

Стихи произвели на всех огромное впечатление. Машинистка долго не могла закончить работу: ее душили слезы. Те, кому довелось первыми ознакомиться с этой тетрадью,

вошедшей в историю литературы под названием Первой Моабитской тетради, рассказывают, что их больше всего поразило спокойное мужество поэта, его неугасимая вера в победу.

Из беседы с бывшим председателем Союза писателей Татарии Ахмедом Ерикеевым.

– Ахмед ага, вы помните человека, который принес вам стихи Джалиля?

– Честно говоря, почти нет. Мое внимание было поглощено другим. Ведь мы с Мусой до войны были друзьями. У меня сохранилось много книг Джалиля с его теплыми посвящениями. Потом он считался пропавшим без вести. И вдруг эти стихи...

– Фамилию пришедшего вы тоже не помните?

– Нет. По-моему, он вообще отказался назвать себя. Я еще попросил его оставить адрес, чтобы потом можно было разыскать его в случае необходимости, но он отказался. И вообще он вел себя как-то странно: нервничал, торопился, не отвечал на вопросы.

– Вы расспрашивали, как к нему попал блокнот?

– Конечно. Но разговора у нас не получилось. По-моему, он не имел к блокноту прямого отношения, во всяком случае не знал лично Мусу Джалиля. Кто-то передал ему блокнот, и он доставил его в Казань. Вот и все.

– Но кто мог передать ему блокнот? Ведь это же очень важно! Это та ниточка, ухватившись за которую, можно бы многое прояснить в судьбе Джалиля...

– Вот именно. Неизвестно, что за человек. Неизвестно, как попал к нему блокнот.

Неизвестна судьба поэта... Удастся ли когда-нибудь разгадать все эти загадки?..

Из беседы с вдовой поэта Абдуллы Алиша Рокией Тюльпановой.

– Я уже много раз говорила об этом, даже писала в Союз. Все было не так. Дело в том, что тетрадку со стихами Джалиля и вторую тетрадку, где были и стихи моего мужа, Ахмеду Ерикееву передала я...

– То есть как это – вы?

– А вот так, я. Собственноручно. И никакой такой таинственности в этой истории не было. Это потом туману напустили...

Расскажу все по порядку.

Это было в 1946 году, весной. Время было уже под вечер, но еще светло. Вдруг стук в дверь. Какой-то незнакомый человек (потом я его разглядела – здоровый, плечистый, черноволосый – это все правильно) просит впустить, говорит, что принес весть от моего мужа. У меня все внутри оборвалось. Ведь уже год, как кончилась война, а от мужа – никаких вестей. Умом понимаю, что уже не дождусь, а сердце все надеется, ждет. Открыла я дверь и прямо вцепилась в него.

– Жив он? Жив? Говорите скорее! Не томите! Только правду.

А он глаза отводит, бормочет что-то утешительное... И тогда я поняла, что надеяться не на что... Он посидел у нас, поиграл с моими ребятишками, Алмазом и Айвазом, сахаром их угостил. Что-то рассказывал, но для меня все было как в тумане. Однако я поняла, что моего мужа, Джалиля и еще несколько человек немцы посадили в тюрьму, а потом казнили. Что в тюрьме они писали стихи. Что кто-то вынес эти стихи из тюрьмы и передал этому человеку. А он принес их мне.

– Откуда он узнал ваш адрес?

– На обложке тетради был адрес семьи Джалиля и наш. Но семьи Джалиля в это время в Казани уже не было – после войны они вернулись в Москву. Поэтому он зашел к нам.

– Он вам тоже не назвал себя?

– Нет, почему же. Сразу представился. Нигмат Терегулов, родом из Уфы. Сразу после войны не мог заехать в Казань. Приехал специально, чтобы передать стихи...

– А когда он пришел в союз?

– Через день или два. Дело было так. Когда я немного пришла в себя, начала читать стихи. Но читать не могу – слезы душат. Побежала к подругам, женам писателей-фронтовиков. Они пришли ко мне. Вместе читали стихи. Плакали все, и я, конечно, больше всех. Они меня утешают, говорят, гордиться надо таким мужем. Ведь он погиб как герой. По их совету я и отнесла обе тетрадки в Союз писателей. Толком я, конечно, не смогла все объяснить, и Ахмед Ерикеев попросил меня, если этот человек снова зайдет к нам, направить его к нему. Я так и сделала. Знаю, что Нигмат Терегулов побывал в Союзе писателей, но больше я его уже не видала и что с ним потом стало, не знаю.

Итак, существуют две версии возвращения тетради Джалиля. Готовя к печати первое издание книги «По следам поэта-героя», я остановился на версии Ахмеда Ерикеева. Бывшие работники аппарата Союза писателей также связывали появление этой тетради с посещением странного незнакомца. Этой же версии придерживается в своей книге о поэте-герое и такой знаток жизни и творчества Мусы Джалиля, как Гази Кашшаф.

Но журналист Сергей Кристи в одной из своих публикаций в газете «Литературная Россия» отдал предпочтение рассказу Рокии Тюльпановой. Чтобы положить конец этому разнобою, я разыскал тех, кто читал вместе с Рокией Тюльпановой стихи Джалиля и Алиша. Все они в один голос подтвердили ее рассказ. Но устное свидетельство ненадежно тем, что память нередко подводит людей. Так, одни участницы встречи говорят, что это произошло сразу после войны. Другие утверждают, что после окончания войны прошло два или три года. Расхождения были и в других деталях.

На мое счастье, оказалось, что одна из участниц этой встречи вела дневник, своего рода хронику литературных событий. По моей просьбе она просмотрела свои бумаги и разыскала запись, сделанную 30 марта 1946 года.

«Вчера вечером пришла Рокия. Вся в слезах, бьет ее всю, как в лихорадке, слова не может выговорить. Я решила, что пришла похоронка. Обняла ее и тоже стою, плачу. Еле поняла, что часа в четыре к ней пришел какой-то человек, который сообщил, что Алиша и Джалиля фашисты казнили в Берлине. Он оставил ей стихи. Пошла вместе с ней к другим нашим подругам. Собрались у нее, читали стихи Джалиля и Алиша и плакали. Снова читали и снова плакали. Какая сила духа! Какое благородство и какая поэзия! Как будто слышали их живой голос. Трудно поверить в то, что их уже нет в живых».

Этот непосредственный отклик одной из первых читательниц Моабитских тетрадей окончательно убеждает в правоте Рокии Тюльпановой и, кроме того, позволяет установить точную дату возвращения первой тетради Джалиля: 29 марта 1946 года.

Ахмед Ерикеев умер в 1967 году. Допущенная им неточность объясняется, очевидно, тем, что он вольно или невольно связал появление тетради Джалиля с визитом незнакомца. Так он докладывал об этом в обкоме партии. Так отвечал на вопросы других писателей. И эта связь, видимо, оказалась сильнее реальной последовательности событий...

После этого визита Нигмат Терегулов больше не появлялся ни в Союзе писателей, ни в квартире Алиша. Только через несколько лет Гази Кашшафу удалось установить, что он умер в 1947 году. С его смертью, казалось, оборвалась единственная ниточка, способная распутать таинственный клубок.

ЗАГАДКИ, ЗАГАДКИ...

Дул сырой, пронизывающий ветер. К мокрому асфальту прилипли пятипалые листья кленов. «Словно отпечатки красных, желтых, оранжевых ладошек на черном стекле», – отметил про себя Кашшаф. Возле трамвайной остановки его внимание привлекла театральная афиша.

Большой подрагивающий от напора ветра фанерный щит извещал, что Татарский театр оперы и балета возобновляет постановку оперы Назиба Жиганова «Алтынчеч». Кашшаф внимательно прочитал всю афишу с начала до конца и постоял в задумчивости.

Ему вспомнилось, с каким увлечением работал Муса над либретто «Алтынчеч». Вечера напролет просиживал в Ленинской библиотеке. Изучил целую гору литературы по истории татарского народа. В то время он мог часами говорить о славном и великом городе Булгары, о совместной борьбе болгар и славян против иноземных завоевателей, мог на память читать целые куски из народного эпоса.

Кашшафу не раз случалось бывать в московской квартире Джалилей в этот период. Муса работал преимущественно по ночам. Писал, по обыкновению, очень быстро. Листы рукописей, чтобы постоянно иметь их перед глазами, раскладывал на двух столах – письменном и обеденном, подоконнике, стульях, даже на полу. К утру по маленькой комнатке Джалилей в Столешниковом переулке невозможно было и шагу ступить...

Припомнилось Кашшафу и то, как Муса ездил к композитору Асафьеву, прихватив с собой мандолину, «таскал ему татарские мелодии», как он выражался. Видимо, Асафьеву

трудно было проникнуть в образно-музыкальную стихию другого народа. Тогда за создание оперы взялся молодой татарский композитор Назиб Жиганов.

И вот висит афиша, а имя Джалиля в ней даже не упоминается...

Впрочем, в последнее время имя Джалиля постепенно исчезло и со страниц книг и учебников. Сборников его стихов не стало в библиотеках. В народе пели песни на его слова, но когда они исполнялись по радио или с эстрады, обычно говорилось, что слова – народные.

Ведь, казалось бы, какое может быть сомнение: каждая строка Джалиля написана кровью сердца, каждое слово в Моабитской тетради дышит верностью Родине, ненавистью к врагу, преданностью светлым идеалам. И все-таки находятся люди, которые сомневаются в этом...

Гази Кашшафу вспомнилось одно из последних писем Джалиля с фронта. В него было вложено написанное карандашом на отдельном листочке завещание поэта.

«В случае моей смерти сбор всех моих рукописей, стихов, песен... завещаю и доверяю моему лучшему другу, критику и писателю, члену ССП тов. Кашшафу Гази.

...Завещаю ему все мое творчество, завещаю привести в порядок мое литературное наследие и со своими комментариями опубликовать в печати по его усмотрению».

Выполнять последнюю волю друга Кашшаф начал еще до окончания войны. Собирал рукописи, письма, газетные и журнальные вырезки.

В октябре 1943 года в Москве состоялось заседание президиума Союза писателей СССР. Гази Кашшаф выступил с докладом «Работа татарских писателей в дни Великой Отечественной войны». Александр Фадеев задал Кашшафу много вопросов. Он интересовался жизнью и бытом татарских писателей и был искренне обеспокоен, узнав, что татарская писательская организация потеряла на фронте более двадцати процентов своего состава. По его предложению президиум принял решение перевести писателей-фронтовиков из передовых частей в редакции армейских газет.

Спросил Фадеев и о судьбе Джалиля. Кашшаф ответил, что Муса пропал без вести на Волховском фронте. Александр Александрович поинтересовался, когда выйдет книга, которую Джалиль подготовил для издания на русском языке. Работник Гослитиздата ответил, что сборник пока не вышел, так как судьба поэта не ясна. Такой ответ не удовлетворил Фадеева. Он предложил президиуму вынести специальное решение об издании сборника Мусы Джалиля.

Однако в дальнейшем выяснилось, что рукопись Джалиля в издательстве утеряна. Кашшаф разыскал подстрочники, договорился с поэтами-переводчиками и добился издания стихов Джалиля в Казани.

Еще об одном эпизоде, связанном с Фадеевым, рассказывает журналист А. Молдаванов.

В апреле сорок четвертого года, когда Молдаванов воевал под Одессой, к ним в Политуправление фронта приехал Фадеев, собиравший материал для своего романа о героях Краснодарона. Политработники попросили писателя сделать доклад о советской литературе периода Великой Отечественной войны.

Когда встреча закончилась, Молдаванов подошел к Фадееву и напомнил ему зимнюю Москву сорок второго года, Джалиля и их беседу. Фадеев рассказал ему, что, по некоторым, еще не проверенным сведениям, Джалиль находится у немцев и ведет там какую-то работу, Молдаванов был поражен услышанным.

– Вы верите этому? – спросил он.

Фадеев ответил не сразу. Долго вглядывался в степную балку, полную тумана, потом твердо сказал:

– Нет. Залилов – настоящий коммунист.

И позднее, когда на Родину пришла весть о гибели Джалиля в фашистских застенках, Фадеев принял самое живое участие в судьбе поэта. В письме Амине Джалиль он рассказал о записке Мусы, найденной во дворе Моабитской тюрьмы, и о мерах, принятых Союзом писателей, чтобы выяснить обстоятельства борьбы и гибели поэта.

Кашшаф знал об этом письме и не сомневался в том, что Фадеев поможет рассеять черную тень подозрения, нависшую над именем поэта.

«Нельзя сидеть и ждать сложа руки, – решил он. – Надо действовать, идти в обком партии, ехать в Москву, к Фадееву».

Фадеев, несмотря на занятость, выяснив тему предстоящего разговора, принял Кашшафа

немедленно.

Кашшаф говорил о том, что знает поэта свыше десяти лет, что уверен в нем больше, чем в самом себе, что такой человек, как Джалиль, всего себя и все творчество посвятивший делу партии, делу революции, не мог стать предателем.

– Да-а,– задумчиво протянул Фадеев, выслушав взволнованный рассказ Кашшафа.– Вам одним этого вопроса, пожалуй, не поднять.

Он сделал какие-то пометки у себя в блокноте и пообещал лично заняться этим делом.

ПАКЕТ ИЗ БРЮССЕЛЯ

В 1947 году советское консульство в Брюсселе переслало в Казань еще одну тетрадку со стихами Джалиля. В сопроводительном письме говорилось, что тетрадку передал в консульство какой-то бельгийский гражданин, не назвавший своей фамилии и не оставивший адреса. Работникам консульства он сказал только, что принес тетрадь по просьбе своего друга, бывшего участника Сопротивления Андре Тиммерманса, который не смог приехать в Брюссель по болезни.

Эта тетрадь написана латинским шрифтом. На ее обложке рукою Мусы сделана надпись:

*Муса Джалиль
Моему любимому другу
Андре Тиммермансу
1943–44. Берлин.*

В этой тетради записано пятьдесят стихотворений. Последнее стихотворение второй тетради – «Новогодние пожелания» – написано 1 января 1944 года и посвящено Андре Тиммермансу. После него Муса оставил адреса и краткие сведения о себе:

*Муса Джалиль –
Москва, 25,
Столешников переулок, 11, кв. 1.*

или:

*Москва,
ул. Воровского, 52, Союз писателей.
Казань,
ул. Баумана, Дом печати, Союз писателей.*

Муса Джалиль – известный татарский поэт, заключенный и осужденный к смерти за политику в Германии. Тюрьма. М. Джалиль.

Знакомство с этой тетрадкой убеждало, что ее вынес из тюрьмы некий Андре Тиммерманс, по-видимому, сидевший в одной камере с Джалилем. Но как найти его без адреса, без каких-либо конкретных данных, в чужой далекой стране?

Вскоре после возвращения второй тетради состоялось специальное заседание бюро Татарского ОК КПСС, на котором обсуждался вопрос о публикации стихов Джалиля. Подлинный патриотизм, высокая идейная и художественная ценность стихов Джалиля ни у кого не вызывали сомнений. Но судьба самого поэта по-прежнему оставалась неясной. Членов бюро проинформировали о том, что целый ряд данных свидетельствует о наличии в легионе «Идель-Урал» сильной и широко разветвленной подпольной организации татарских военнопленных во главе с неким Гумеровым.

Ряд свидетелей показал, что Гумеров и Муса Джалиль – одно и то же лицо. Но тогда утверждать это с полной достоверностью было еще преждевременно.

Неясным оставалось, как Джалиль попал в плен, как и при каких обстоятельствах вступил в легион.

Даже сам факт его казни в то время не был еще установлен с достаточной убедительностью.

Взвесив все факты, бюро Татарского обкома КПСС пришло к выводу: сначала уточнить основные моменты жизни поэта в фашистском плену, разобраться во всех обстоятельствах дела, а потом решить вопрос о публикации его стихов. Была создана специальная комиссия,

которая вскоре приступила к работе.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

25 апреля 1953 года по праву считается днем второго рождения Мусы Джалиля. В этот день на страницах «Литературной газеты» впервые была напечатана подборка стихотворений Джалиля из Моабитской тетради. Стихи получили невиданно широкий отклик. Их переводили на языки братских республик и социалистических стран. О подвиге «татарского Фучика» заговорил весь мир.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

А еще через год Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР присудил Мусе Джалилю – первому среди поэтов – Ленинскую премию за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». До сегодняшнего дня Муса Джалиль остается единственным писателем в нашей стране, удостоенным этих двух высших правительственных наград. В этом факте проявилось единство и величие поэтического и жизненного подвига поэта.

«Мир и мировая литература знают много поэтов, обессмертивших свои имена неуваждаемой славой, но таких, как поэт-герой Муса Джалиль, увековечивший свое имя и бессмертными творениями, и смертью, которая сама является подвигом, не так уж много. Вот они: великий Байрон, славный народный поэт Венгрии Петефи, герой Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джалиль», – писал азербайджанский поэт Самед Вургун.

Имя Джалиля стало символом преданности Родине, мужества и бесстрашия. Академик Н.М. Сисакян говорил о качествах, необходимых советскому космонавту:

«Космонавт – новая профессия, возникшая впервые в истории. В облике советского космонавта сочетаются храбрость Александра Матросова, мужество Джалиля, стойкость Зои Космодемьянской, железная воля, воспитанная великой партией Ленина».

Вполне понятен и естествен тот интерес, который проявляют читатели к жизни и творчеству Мусы Джалиля. Перед писателями встала задача создания книги о поэте.

Первым за это взялся друг Джалиля, татарский литературовед Гази Кашшаф. Именно ему Муса в своем литературном завещании поручил сбор, редактирование и подготовку к изданию всего своего творческого наследия. Дело это оказалось очень трудоемким и потребовало многих лет работы. При жизни, как отмечал Муса в своем завещании, он успел опубликовать лишь 30–35 процентов своих произведений. Другие остались в рукописях и черновиках, которые к тому же Муса перед отъездом не успел привести в порядок. Нередко оригиналы стихотворений Джалиля хранились у разных лиц, а многие его напечатанные произведения были рассеяны в труднодоступных изданиях, порой давно уже прекративших свое существование.

В это же время Гази Кашшаф собирал материалы для первой достоверной биографии Джалиля.

Результаты своих многолетних изысканий он обобщил в известной книге «Муса Джалиль. Очерк жизни и творчества». Она была издана на татарском языке в 1957-м и не раз переиздавалась в новом, значительно расширенном и дополненном варианте.

Одновременно с Кашшафом вел поиски и русский писатель Юрий Корольков. Об этих поисках он рассказал в книгах «Жизнь – песня» и «Через сорок смертей». Последняя пользовалась особенно широкой популярностью среди читателей и выдержала несколько переизданий.

В поисках приняли участие также писатели Александр Фадеев, Константин Симонов, поэт-переводчик Илья Френкель, татарские писатели Шайхи Маннур, Риза Ишмурат, Ахмет Исхак, Наки Исанбет и другие. С объемистыми монографиями о творчестве Джалиля выступили критики Роберт Бикмухаметов и Нил Юзеев.

Немалую роль в поисках новых материалов о жизни и подвиге поэта-патриота сыграли и

наши зарубежные друзья.

И все-таки в биографии Джалиля еще оставалось немало белых пятен. Нередко рассказы одних противоречили свидетельствам других. Находились и такие «свидетели», которые, по тем или иным соображениям, сочиняли явные небывлицы о поэте. Однако, чтобы опровергнуть их выдумки, нужны были достоверные, проверенные, бесспорно установленные факты. И я решил шаг за шагом пройти по следам подвига. Путешествие это растянулось на добрый десяток лет. Оно позволило не только обнаружить новые факты, но и упорядочить, привести в стройную систему наши прежние представления о моабитском периоде жизни Джалиля.

«ВОЛХОВ – СВИДЕТЕЛЬ: Я НЕ СТРУСИЛ»

Я вижу зарю над колочим забором.

Я жив, и поэзия не умерла:

Пламенем ненависти исходит

Раненое сердце орла.

Муса Джалиль. «Прости, Родина»

Чавкает под ногами коричневая болотная жижа. Над головой стоит несмолкающий комариный звон. Сломив на ходу веточку, одной рукой отмахиваешься от комаров, другой давишь и буквально сдираешь их со лба, шеи, уголков глаз и губ. «Чистые звери», – как выразился мой спутник и добровольный провожатый, путевой обходчик Николай Орлов. Они не церемонятся, не выются над тобой подолгу с предупредительным жужжанием, как полагается «порядочным» комарам, а впиваются прямо с лета. У меня с непривычки опухли веки, онемели губы.

Чтобы хоть немного защититься от этих гнусных тварей, я накинул на голову полотенце, заправив его концы под куртку, и обмотал шею сверху куском тряпки. У Николая повязан под кепкой женский платок. Вид у нас, должно быть, пресмешной. Только смеяться некому. За целый день с тех пор, как миновали последний пост солдат-саперов, нам не встретилось ни одной живой души. Да и кто решится забрести сюда?

Гиблое, гнилое, проклятое богом место! Трясина, осока, кустарник, чахлый низкорослый лесок... На стволах корявых неопрятных осин бурые пятна ржавчины. Поваленные в беспорядке, покрытые мохом гниющие стволы деревьев... От болотных трав поднимаются душные сладковатые испарения, вызывающие головную боль. Не слышно ни веселого стрекота кузнечиков, ни успокаивающего жужжания шмелей. Только висящий над всей окрестностью нескончаемый комариный звон. Как будто это звенит на беспредельно высокой ноте и давит на барабанные перепонки сама тишина.

Лишь время от времени в стороне Мясного Бора ухают глухие взрывы – это саперы ведут работы по разминированию.

Мы – в самом сердце Волховских болот.

«В самое трудное для Ленинграда время, когда голод и холод уносили тысячи жизней, а у стен города стояла огромная неприятельская армия, готовая в любое время ринуться на штурм, Советское Верховное Главнокомандование приняло решение вызволить Ленинград из тисков блокады...

Главная роль в этой большой, с далеко идущими целями, операции отводилась Волховскому фронту, который получил задачу нанести удар в северо-западном направлении, по линии Любань – Волосово. Ленинградский фронт должен был активными действиями помочь Волховскому фронту в разгроме противника...

Замысел операции соответствовал сложившейся обстановке и подкупал своей решительностью и целеустремленностью.

Но как бы ни был хорош замысел, если он не подкреплён материально, если войска не будут в достаточной мере обеспечены боевой техникой, боеприпасами, питанием и горючим, то наступление становится проблематичным даже при наличии превосходящих сил. Примерно такое положение сложилось у наших войск. Мы превосходили противника в людях, в артиллерии и даже в танках. Но у нас было мало самолетов, автоматического оружия, средств передвижения и связи. Особенно болезненно сказывался недостаток снарядов и фуража.

Наступление предстояло вести в очень трудных и сложных условиях. Стояла зима.

Глубокий снег и леса преграждали путь нашим войскам. Дорог не было. Широкий маневр исключался. Ко всему прочему, мы не имели возможности облегчить наступление какими-либо тактическими мероприятиями. О внезапности не могло быть и речи. Противник знал о предстоящем наступлении и приготовился к встрече.

В такой сложной и трудной обстановке, не располагая всеми необходимыми условиями для успешного развития боевых действий, начали наступление войска Волховского и Ленинградского фронтов».

Наше путешествие сопровождается «веселенькими» комментариями Николая:

– Вон там, за шоссе, совсем недалеко от села, подорвался на mine колхозный бык...

– А тут мы с трактором на мину наехали. Ухнуло здорово, но, слава богу, все остались целы.

– А в прошлом году у нас еще такой случай был... Возле речки Кересть – мы скоро выйдем на это место – остановились двое охотников на ночлег. Разожгли костер, ушицы сварили. Только собрались поесть – и тут как ахнет! Оказалось, в том месте был в земле неразорвавшийся снаряд. Постепенно прогрелся и рванул. Одного сразу убило...

Таких историй Николай знает множество. И хотя он предупредил меня, что пока дорога совершенно безопасна, каждый раз, когда нога натывается в густой траве на ржавую каску или обрывок колючей проволоки, я невольно весь напряживаюсь.

Но разве сравнить ту опасность, которой подвергаемся мы с Николаем, с тем, что происходило здесь четверть века назад!

«Не имея необходимых сил и средств для ведения наступления и не поддерживаемая активными действиями других армий, 2-я ударная армия оказалась в очень тяжелом положении. 19 марта в четырех километрах западнее Мясного Бора немцы отрезали армию от других соединений Волховского фронта. 27 марта удалось восстановить пути для транспорта с боеприпасами, продовольствием, фуражом. Так продолжалось до 24 апреля, до момента, когда противник снова закрыл прорыв и отрезал армию от фронта».

Еще до прихода сюда я ознакомился с литературой о трагических событиях на Волхове весной и летом 1942 года. Ее не так уж много. Но больше, чем официальные источники, дали мне письма и воспоминания непосредственных участников этих событий.

«Здравствуйте, уважаемый т. Кашшаф!

Я еще раз перечитал Ваше письмо и кое-что вспомнил.

Поскольку Муса Джалиль попал под Мясной Бор под конец боев, то Вас, конечно, будут интересовать последние этапы боев.

Еще зимой нам всем стало ясно, что если до весны останемся в этом клине, то нам придется поплавать в болотах. Из рассказов местных жителей мы имели представление об этих болотах. С наступлением весны наши предвидения сбылись. Растаял снег, кругом пошла вода, не только в низинах, но и на самых высоких отметках были речки, текущие в разных направлениях. С продуктами стало плохо, и мы стали голодать, давали только по 250 граммов сухарей.

23 мая наши дивизии, занимавшие оборону на самой вершине клина, получили приказ оставить позиции у деревни Коровий Ручей и по речке Тигода. Бои носили в этот период отступления характер коротких, но порой жестоких схваток.

Отход продолжался примерно до 1–3 июня. Особенно тяжело было артиллеристам. По колено в болоте они с большим трудом волокли на себе пушки по еле проходимым местам. Лошадей не было (они почти все подошли от голода). Машины не могли двигаться. Их маршруты были очень ограничены по настильным дорогам. Отходили до деревни Новая Кересть. Здесь на моих глазах налетели два немецких бомбардировщика и разбомбили склад снарядов. Это было примерно числа 29 мая. С трех выстрелов зенитчики оба самолета сбили. Один упал на дом, который загорелся (из него выбежал немецкий шпион с рацией – молодой немецкий солдат, который был тут же пойман). Снаряды рвались долго – около полутора-двух часов. После этого наступила острая нехватка снарядов и мин. Патронов же было много, и в них не было недостатка в течение всех боев.

Таким образом, к концу мая закончился отход, и мы все заняли оборону. Она не была

сплошной. По болотистой местности передовой не было. Вся 2-я ударная армия расположилась по обе стороны двух дорог – настильной и узкоколейной.

Я видел, проходя от деревни Глухая Кересть по настильной дороге, по обе стороны всю технику 2-й ударной армии: пушки, «катюши», автомашины и все тылы. Я сейчас не могу сказать точно, сколько километров длиной было это кольцо, но примерно так: длиной 12–15, а шириной – 3–4 км».

Тропинка выводит нас на полузаросшую лесную просеку. Идти сразу становится легче, так как под ногами прощупываются бревна настила.

– Бывшая фронтовая дорога Второй ударной армии, – поясняет Николай.

Удивительно, что за четверть века бревна в болотной воде почти не сгнили. Они доверху ушли в трясину, почернели и покрылись слизью, но, чувствуется, совсем еще крепкие.

Николай объяснил мне, что такова одна из особенностей здешних мест. Гниет то, что лежит на поверхности, а то, что уходит под воду, может сохраняться столетиями.

Через каждые десять – пятнадцать шагов приходится сворачивать в трясину – дорога разворочена воронками. Сколько их тут! Справа, слева, немного в стороне от дороги, прямо на полотне... Местами они тянутся непрерывной цепью, так что края одной смыкаются с краями другой. Все они доверху залиты водой, поросли осокой и остролистом. Но Николай с одного взгляда определяет: «Это от восьмидесятимиллиметровой мины», «А эта, пожалуй, от полутонной авиабомбы».

Танки, орудия и всю крупную военную технику отсюда давно уже вывезли на металлолом. Однако в кустах еще попадаются то покореженный орудийный ствол, то отброшенная взрывом башня от танка, то остовы сгоревших машин. В траве валяются насквозь проржавленные винтовочные стволы, позеленевшие гильзы, алюминиевые солдатские котелки, советские, немецкие и испанские каски (здесь воевала Голубая дивизия). Среди молодого, послевоенной посадки леса попадаются и старые деревья, свидетели гремевших здесь когда-то боев – обломанные, обугленные и измочаленные.

Николай подводит меня к одному из них. Не очень толстая сосна словно бы перекушена метрах в четырех от земли. Кора осыпалась, и ясно видны бесчисленные щербинки от пуль и осколков. Из рваных занозистых ран вытекли и застыли капельки смолы. Николай предлагает мне наложить ладонь так, чтобы не закрыть ни одной щербинки, но это невозможно. «Вот какая здесь была плотность огня!» – говорит он.

Это и есть Долина смерти.

«После окружения резко ухудшилось питание. Стали давать по 40–50 граммов сухарей в сутки и иногда по 100 граммов конского мяса с костями. Раньше были хоть дохлые лошади, а сейчас и их не стало – поели еще в апреле.

Немцы во что бы то ни стало пытались рассечь надвое нашу группировку, но все их попытки наталкивались на стойкую оборону. Начались ежедневные бомбежки. И куда бы ни сбрасывались бомбы – почти всегда они достигали цели. Ночью были особенно сильные обстрелы из орудий и минометов всех калибров. Иногда эти обстрелы напоминали сплошную канонаду. Ни на один час не стихали разрывы снарядов. Летели они почти со всех сторон. Потери мы несли большие, поскольку в земле нельзя было укрыться (весной все ямы, блиндажи затоплялись водой). Для укрытия делались простейшие срубы из бревен, в них и спасались. Ночью нам с самолетов сбрасывали сухари, но так как июньские ночи под Ленинградом очень короткие и светлые, самолеты часто сбивали истребители.

Напряжение было очень сильное, так как и ночью и днем мы ожидали где-нибудь прорыва. Спишь, бывало, сидя, а автомат у тебя в руках. Надежд на помощь извне было все меньше и меньше, поэтому больше полагались только на себя.

Когда из штаба полка я ходил в тыл, у меня было такое впечатление, что на этой окруженной территории нет ни одного необстрелянного метра. Всюду было одинаковое напряжение. Сведения о потерях в штаб поступали как с передовой, так и с тыла, причем в тылу иногда было больше потерь, чем на передовой.

Часто по утрам немцы через репродуктор призывали пееходить на их сторону, многое обещали, но их пропаганда никакого успеха не имела. Мы-то знали, что немцы уничтожают

пленных, морят голодом. Велика была ненависть к врагу. Я не знал ни одного случая перебежки на сторону врага.

После боев под Мясным Бором нас отвели на отдых и переформировку, а затем бросили в Синявинские болота. Как-то в минуты опасности я, спокойно закурив, улегся в кювете дороги и сказал ребятам: «Это, ребята, цветочки, а вот ягодки настоящие были у Мясного Бора». На это один из моих подчиненных заметил: «Если это цветочки, то не представляю, что у вас там был за кошмар».

Не зря один из офицеров сказал: «Такие бои можно выдержать только раз в жизни». С ним многие согласились. Какие это были стойкие солдаты! Мне казалось, там не было негероев. Даже видавшие виды солдаты 52-й армии удивлялись: откуда такие взялись, которым ничего не страшно. Во время бомбежки они стоят и курят, ничего не замечая. И это было не лихачество, а просто какое-то равнодушие и привычка к более тяжелым боям».

Николай рассказывает, что сразу после войны в этих местах пытались заготовливать лес. Но вскоре вынуждены были отказаться от этой затеи – в древесине было столько металла, что ломались зубья механических пил, выходили из строя пилорамы.

В 1944 году наши войска пошли в наступление в обход этих мест. Саперы пришли сюда не скоро – надо было очищать от мин города, деревни, дороги, пахотные земли. Да и сейчас работы по разминированию далеко не закончены. Вот почему даже местные жители обходят Долину смерти далеко стороной.

Мой спутник и провожатый Николай Орлов – один из немногих, кто может свободно ходить в этих местах.

Он родился и вырос в этом краю. С детства бегал в леса и болота за грибами и морошкой, ходил с отцом на охоту. Во время войны совсем еще мальчишкой эвакуировался с родными на Волгу, в город Куйбышев. Вернувшись после войны, стал работать путевым обходчиком на станции Подберезье (это у него потомственное – отец был дорожным мастером).

Тогда-то он и услышал впервые о Долине смерти. Идти туда никто не решался. Говорили, если кто туда забредет, живым уже не выйдет. Николай, хотя его и отговаривали, решил сходить, посмотреть своими глазами.

До сих пор он не может вспоминать без волнения об этом своем первом посещении. Он увидел поваленный, поломанный и опаленный лес почти без листьев и даже без сучьев, без единого целого деревца. Увидел дороги, забытые сожженными и покалеченными танками, орудиями, машинами... Землю, перепаханную воронками, перемешанную с глиной и торфом, на которой даже трава толком не росла. И почти всюду – человеческие скелеты с еще не успевшими истлеть до конца остатками амуниции. Увидев солдатский медальон, Николай решил подойти к нему. Сделал шаг в сторону от дороги. Только один шаг... Перед глазами сверкнула яркая вспышка. Звук взрыва он уже не расслышал.

Окровавленный, оглушенный, Николай еле-еле выполз из леса. Лежа в больнице, расспрашивал бывалых фронтовиков о технике обезвреживания мин, изучал наставления и инструкции по разминированию.

Едва выйдя из больницы, еще немного прихрамывая, снова пошел в лес, на этот раз вооруженный самодельным щупом.

Николай одним из первых прокладывал здесь дороги для сборщиков металлолома, колхозных механизаторов, лесных объездчиков. Бывали дни, когда он снимал до двухсот противопехотных мин. А сколько всего за послевоенные годы им обезврежено мин и снарядов – он давно уже и счет потерял.

Вот и сейчас, насадив на палку кусок толстой, заостренной на конце проволоки, Николай быстрыми привычными движениями «прощупывает» землю впереди себя. Я стараюсь ступать за ним след в след. Иногда щуп глухо звякает. Большею частью это либо крупный осколок, либо потемневшая снарядная гильза, либо погнутый и проржавленный ствол карабина. Но порой попадаются и неразорвавшиеся снаряды, и цинковые ящики с аккуратно перевязанными, маслянисто поблескивающими винтовочными патронами... Поковырявшись возле полуразрушенного, затопленного водой блиндажа, Николай вытаскивает из-под обломков тяжелый ящик с многочисленными ручками настройки и шкалой делений. Походная рация... Старательно обтерев рукавом, Николай относит ее на сухое место:

– Хороший будет экспонат для нашего школьного музея...

В эти труднопроходимые и далеко еще не безопасные топи меня привела судьба Мусы Джалиля.

Пятнадцать лет спустя после событий на реке Волхов журналисту Льву Шилову удалось найти несколько случайно сохранившихся номеров армейской газеты «Отвага» со стихами и заметками Мусы Джалиля. По номеру полевой почты он принялся искать оставшихся в живых сотрудников этой газеты. Большинство из них погибло под Волховом. Но несколько человек были живы. В их числе – корректор газеты «Отвага» Л. Обыдена.

6 апреля 1942 года Обыдена записала в своем дневнике, что накануне из М. Вишеры приехал Моисеев, привез нового сотрудника – М. Джалиля.

В памяти Л. Обыденной Муса остался скромным, простым, не очень разговорчивым человеком. Она вспоминает, что на нем был дубленый полушубок и сапоги. Муса, по словам Л. Обыденной, не сидел в редакции, он почти все время находился в частях и подразделениях Второй ударной армии, в гуще солдатской массы.

А вот еще одно свидетельство.

«Я хорошо запомнил эту ночь с 6 на 7 апреля 1942 года, – сырую, туманную. Промокшие до нитки, с головой зарываясь в подтаявший снег, мы вели жестокий бой южнее селения Мясной Бор с целью не дать фашистам замкнуть кольцо окружения. Потери мы несли большие, а фашисты бросали в бой все новые и новые силы. Люди были измотаны до предела, несколько суток не спали, не видели горячей пищи, промокли и замерзли.

Около трех часов ночи немцы после короткого артиллерийского обстрела предприняли очередную атаку. Мы подпустили их поближе и встретили шквальным пулеметным и автоматным огнем. Немцы не выдержали, дрогнули, залегли, затем повернули обратно.

И в этот момент я увидел невысокого человека в дубленом полушубке и солдатской шапке-ушанке. Он выскочил из снежного окопчика и, размахивая автоматом, закричал:

– Рота, слушай мою команду! Вперед, за Родину! Ура!

Человека этого я видел впервые. У меня мелькнула мысль, что вот-вот его настигнет пуля или осколок, потому что он бежал по заснеженному болоту совершенно один. Раздумывать было некогда. В этом бою был тяжело ранен наш командир взвода Матвеев, и командовать взводом стал я. Я вскочил на ноги и поднял взвод в контратаку. За нами поднялись и другие взводы (кто еще уцелел). И откуда силы взялись! Только что казалось, что не в силах уже двинуть ни рукой, ни ногой.

На плечах отступавшего противника мы прорвали первую и вторую линию обороны фрицев, захватили три артиллерийские батареи и продовольственный склад. Склад был довольно богатый. Помню, там оказались шоколад, водка. Были и сухие одеяла, чему мы особенно обрадовались.

Тут-то я и познакомился с человеком, поднявшим нас в атаку.

Откуда я узнал, что он Муса Джалиль? Он сам представился нам. Сказал, что только что прибыл из политотдела армии, что фамилия его Джалилов Муса, что он взял на себя командование, так как выбыл из строя командир роты. Дал указание занять оборону. Предупреждал бойцов, чтобы не спали, постоянно были начеку.

На следующее утро, как мы и ожидали, фрицы начали сильный минометный и артиллерийский обстрел. Видимо, немцы полагали, что прорыв был сделан крупными силами, потому что идти в атаку не решались. Обстрел продолжался часов до одиннадцати. Муса в это время еще командовал ротой. Помню его слова:

– Держаться, товарищи, держаться! Ни шагу назад! Скоро придет подкрепление.

Днем меня сильно контузило и ранило. Очнулся я уже в медпункте. Меня вывезли на Большую землю.

Когда позднее пошли разные толки и пересуды о судьбе Джалиля, я никак не мог относиться к ним равнодушно. Говорили, будто он добровольно сдался в плен и пошел на службу к немцам. Судя по его поведению в бою, это было абсолютно исключено. Фронт – не тыл, там не нужно много времени, чтобы узнать человека. Каждый как на ладони. А Мусу Джалиля видно было с первого взгляда – настоящий человек, настоящий политрук. Я верил в него всегда».

Сотрудник «Отваги» И.И. Голубев также припоминает этот случай. Джалиль отсутствовал несколько дней (за него уже начали беспокоиться) и привез очень интересный материал. Поэт не очень-то распространялся, как именно он добыл этот материал. В редакции узнали об этом только тогда, когда на очередном партийном собрании Джалилю объявили благодарность за мужество и боевую инициативу, проявленные в труднейших боевых условиях. О том, как Муса взял на себя командование ротой и поднял людей в атаку, написал в редакцию командир полка.

В апреле 1942 года составлен официальный акт о зверствах гитлеровцев на оккупированных землях Новгородской области. В расследовании принимали участие и сотрудники «Отваги». «Отвага» дала целую страницу под общим заголовком «Трагедия жителей деревни Червинская Лука». Муса также участвовал в сборе материала для полосы. Беседовал с уцелевшими жителями, видел ров с трупами замученных и расстрелянных. Особенно поразили его брустверы из трупов женщин и детей, облитых водой и превращенных в ледяные глыбы. В болотистой местности зарыться в землю было невозможно, и фашисты таким образом укрывались от пуль и осколков. Журналист Л. Шилов высказал вполне обоснованное предположение, что именно тогда у поэта зародился замысел стихотворения «Варварство», осуществленный много позднее, уже в Моабитской тюрьме.

История еще одного моабитского стихотворения проясняется, когда знакомишься с сохранившимися номерами «Отваги». В стихотворении «Лес», написанном в июле 1942 года, вскоре после того, как Джалиль попал в плен, поэт, глядя на окружающие его леса, размышляет:

Там, может, партизаны разожгли
Костер под вечер – пляшут ветки –
И «Дедушкины» смелые орлы
Сейчас вернулись из разведки.
Там на ночь, может быть, товарищ «Т»
Большое дело замышляет...

В номере «Отваги» от 21 апреля рассказывается о действиях партизанского отряда под руководством товарища «Т», прозванного, как это водилось у партизан, «Дедом». Отряд взорвал немецкий мост, имевший большое значение в системе гитлеровских коммуникаций.

Л.А. Моисеев пишет в своих воспоминаниях:

«Вечерами Джалиль вспоминал Москву, университет, говорил про постановку своей оперы в Казани, о ее успехе.

Писал Джалиль активно и много. Писал стихи и на русском языке. Возбужденно рассказывал, вернувшись из очередной командировки, как пришлось на передовой, в цепи, делать перебежки под обстрелом».

О себе поэт всегда говорил в юмористическом тоне, посмеиваясь над своими слабостями и умалчивая о том, что он рискует куда больше, чем следовало бы...

Одно из стихотворений, написанных Мусой по-русски, напечатано в номере «Отваги» 19 апреля. Называется оно «Весенние резервы Гитлера». История его такова.

На очередной летучке редактор «Отваги» Николай Румянцев поставил перед сотрудниками задачу – дать отпор утверждениям гитлеровской пропаганды, будто в зимних поражениях фашистской армии виноват «генерал Мороз», а с наступлением теплых весенних дней немецкая армия снова обретет инициативу. Муса, тут же загоревшись этой идеей, начал уже складывать в уме строки юмористического стихотворения. Но ведь он привык писать по-татарски, а кто переведет стихотворение на русский? Джалиль поделился своими сомнениями с ответсекретарем редакции Виктором Кузнецовым.

– Ты же отлично говоришь по-русски! – возразил тот. – И пишешь неплохо. Вот сам и переводи. – Увидев, что поэт колеблется, добавил ободряюще: – Пиши, пиши. Если что не так – поправим.

Прочитав стихотворение, Кузнецов удовлетворенно хмыкнул:

– Пойдет! Рифмы, правда, слабоваты, зато содержание – в самую точку.

Стихотворение Джалиля и в самом деле звучит по-русски не совсем уверенно:

Гитлер проклинал зиму,

На нее свалил вину.
Ветром, мол, зима дышала,
Наступать нам помешала...

Достаточно сравнить его с написанным в то же время стихотворением «В Европе весна», чтобы убедиться, насколько увереннее чувствует себя поэт в стихии родной речи. Но поэта заботили не столько поэтические красоты, сколько совсем иные задачи. Стихотворение «Весенние резервы Гитлера» в доходчивой форме высмеивало фашистов. А то, что смешно, – уже не страшно. Через несколько дней, 24 апреля, «Отвага» напечатала статью Б. Бархаша «Весенние солдаты Гитлера». Политработники армии взяли на вооружение при проведении чток и бесед оба эти материала.

28 апреля 1942 г. Обыдена записала:

«Деревня Огорелье, около 30 км от Любани. Мы все еще сидим здесь. Снег почти стаял. Поют птицы, кричат журавли. Вчера Муса принес маленький букетик весенних цветов. Чудный сиреневый цвет, а как называется – никто не знает. Джалиль научил добывать березовый сок, и мы заняли под него всю посуду. Готовим из него чай, кашу. Тихо, спокойно сегодня, как на даче. Затишье перед бурей?».

А вот запись, сделанная на следующий день:

«Вчера была тишина, а сегодня всю ночь и до полудня шла грозная артиллерийская канонада, ни на минуту не затихая... Вчера ночью, когда все спали, а я ожидала полосы с машины, вернулся с передовой Джалиль и зашел к нам в палатку. Тяжелые впечатления отогнали от него сон. Читал мне свои стихи, вначале по-татарски, а когда я сказала, что звучат они очень мелодично, но непонятно для меня, он тут же начал переводить их на русский язык. Стихи очень нежные, ласковые. В основном лирика. Потом рассказывал о своей жизни, которая в детстве была довольно-таки тяжелая, о своей первой любви, о горячо любимой дочери Чулпан».

Вскоре Обыдену по сокращению штатов перевели в Малую Вишеру, и она покинула редакцию «Отваги».

А вот одно из писем самого Джалиля. Двойной, пожелтевший от времени листок тетрадной бумаги. По нему, местами расходясь, местами наезжая друг на друга, бегут торопливые карандашные строки. Чувствуется, что они писались в неудобной позе, скорее всего на планшете или полевой сумке: под нажимом карандаша проступили швы пришитых ремней. А вот темное пятнышко – может быть, с крыши землянки капнула ржавая болотная капля. А может, разорвавшаяся неподалеку мина или снаряд швырнули сюда комочек грязи. Но слова читаются вполне отчетливо:

«Дорогой Кашшаф!

Сегодня получил твое письмо от 22.V и спешу ответить хотя бы коротеньким письмом. (Уже темнеет. А здесь в лесу ночью обычная жизнь прекращается и начинается другая, таинственно-боевая жизнь.)

...Я сейчас в подлинно боевой обстановке, часто бываю на передовых линиях. С автоматом в руках прохожу очень опасные леса и болота чуть ли не у самых огневых точек врага. Военкор – это далеко не мирное и спокойное занятие, приходится одновременно воевать и писать...

...Предстоят серьезные бои с опасным врагом.

Пока. Крепко обнимаю.

Муса».

За этими сдержанными строчками трудно угадать все нечеловеческое напряжение гремящих здесь боев.

Я приглядываюсь к своему спутнику Николаю Орлову. Красное, иссеченное ветром лицо. Глаза с упрямым прищуром. Белесые, выгоревшие на солнце брови и ресницы. Обыкновенное русское лицо – простое, открытое. Какую же надо было иметь силу духа, чтобы двадцать лет, день за днем, каждую свободную от дежурства минуту играть в прятки со смертью! За эти годы Николай научился разбираться в характере и повадках разного типа мин, безошибочно

распознавать всякие немецкие хитрости и ловушки. Впрочем, если бы он допустил хоть одну ошибку, его сегодня не было бы со мной.

Оправдан ли такой риск? Николай пожимает плечами. Вот совсем недалеко от этих мест мальчишки нашли неразорвавшийся снаряд. Решили посмотреть, как он грохнет. Разожгли костер, сунули туда снаряд, а сами спрятались в канаву. Ждали, ждали – не взрывается. Решили, что снаряд «испорченный». Только подошли к костру, и тут как рванет... Кого насмерть, кто остался калекой на всю жизнь. А сколько на минах подрывались... И если бы не двадцатилетний труд Николая, таких случаев было бы больше.

– И не страшно? – спрашиваю я.

– Вначале было, конечно, страшновато, но, когда знаешь, как подойти к mine, ничего особенного.

По-моему, он несколько даже бравирует своим умением обращаться с минами. В разговоре с ним я неосторожно намекнул, что хотелось бы, дескать, взглянуть хоть на одну настоящую мину.

– Это можно, – только и сказал Николай, скрываясь в лесу.

– Не надо, Николай, я пошутил! – крикнул я ему вслед, уже раскаиваясь в сказанном.

Николай не откликнулся. Минут через десять – пятнадцать он снова вынырнул из леса, держа в руках какой-то круглый черный предмет, похожий на тазик для белья. Николай без всякой почтительности швырнул свою ношу на землю. Я зажмурил глаза, но взрыва не последовало. Николай, еще более непочтительно пнув «тазик» ногой, объяснил:

– Да она без взрывателя! Это немцы повезли, хотели узкоколейку рвать при отступлении, да не успели. Их там в лесу целая куча...

Соседи называют его чудачком. И в самом деле – семья большая, семеро детей, старшая из которых только еще собирается поступать на работу, зарплата путевого обходчика не ахти какая, а он целыми днями пропадает в лесу. Еще хорошо, если не оставит детей сиротами. Другие откармливают борова, везут на рынок ранние овощи, а он таскает из леса какие-то проржавленные железки – для музея, мол, – водит за собой целые стайки мальчишек. Ну кому это нужно?

А нужно это, оказывается, многим. И не только ребятишкам, которые в Николае души не чают и которых он водит в походы по местам боевой славы, учит с уважением относиться к памяти отцов, приводить в порядок и ухаживать за братскими могилами, но и людям, находящимся отсюда за сотни и тысячи километров.

Накануне вечером я просматривал почту Николая. Ему пишут из Москвы и Ленинграда, с Украины и из Сибири, с Кубани и Крайнего Севера. Пишут люди, которым он помог найти потерянных без вести отцов, братьев, сыновей. Его называют самым родным и близким человеком, предлагают быть братом вместо погибшего брата и сыном вместо похороненного под Волховом сына. По пути в Долину, возле шоссе Ленинград–Москва, мы посетили небольшое кладбище. Сюда перенесены останки бойцов, убитых под Мясным Бором. Имена многих из них стали известны только благодаря Николаю...

Вот какой человек мой спутник – Николай Иванович Орлов!

О том, как Джалиль собирал материал для своих заметок и корреспонденций, как ему приходилось «одновременно воевать и писать», рассказывает бывший участник боев под Волховом Иннокентий Кудинов. Он работал тогда в политотделе Второй ударной армии, и ему поручили сопровождать старшего политрука Мусу Залилова на передовую. Джалиль собирался писать материал о командире роты политруке Войтинском, рота которого отличилась в боях за важный железнодорожный мост.

«Мы подошли к передовой. Оставалось пройти еще метров двести. За кустами показались желтоватые бугорки укрытий, замаскированные травой и ветками. Пригнувшись, короткими перебежками устремились к этим бугоркам.

Внезапно начался минометный обстрел. Мы поползли по мягкой, сочной траве. Мины рвались рядом. Взрывные волны обдавали жаром. Надо было выходить из-под огня. Муса поднялся и быстро пробежал метров десять. Потом еще столько же и со всего разбега бросился в окоп на склоне железнодорожной насыпи. За ним и я кубарем влетел в него. И тут же рядом грохнула мина. Потом вторая, третья... но мы уже были в менее уязвимом месте.

Бойцы в промокших гимнастерках, серые от пыли и копоти, оглушенные взрывами мин и невообразимой пулеметно-автоматной трескотней, не обратили на нас внимания. Воспаленные жарким боем, они короткими очередями строчили по фашистам, просочившимся из-за реки.

– Где комроты? – спросил Муса у пожилого бойца.

– Идите во-он туда, – показал рукой тот и снова ударил из автомата.

Узкой щелью мы прошли метров тридцать и нашли политрука Войтинского на командном пункте. Потный, возбужденный, в заляпанной глиной каске, Войтинский порывисто докладывал по телефону об обстановке.

Бросив трубку на аппарат, политрук увидел нас, повел плечами, – мол, сами видите, что здесь творится, взмахнул рукой и крикнул бойцам, ожидавшим его команды:

– Приготовиться к контратаке! – и в нашу сторону добавил: – Третий раз, гады, лезут!

Я смотрел на четкий профиль политрука. На его совсем еще молодом лице блестели капельки пота. На щеке я заметил продолговатую царапину, обрамленную засохшей кровью. Заметил это и Муса.

– Что у вас на щеке? – спросил он.

– Вражеская метка, – отмахнулся политрук, напряженно всматриваясь вперед.

Атака противника развивалась. Бойцы, сжимая винтовки и автоматы, ждали сигнала к контратаке. Танки, за которыми в серой дымке пыли мельтешили немцы в касках, были уже близко, но Войтинский выжидал удобный момент.

Вот один танк круто развернул башню и направил жерло пушки на КП комроты. Политрук только поближе подвинул связанные гранаты. Металлическое чудовище скрежетало рядом. Войтинский сорвал кольцо с гранаты, изогнулся и швырнул связку за бруствер. От взрыва вздрогнула земля, со стенок щели посыпалась супесь.

Муса, охваченный азартом боя, высунул голову за бруствер и крикнул:

– Танк гори-ит!

Вытянул шею за бруствер и Войтинский, держа на всякий случай гранату в руке. Увидев огненные змейки, ползущие по броне танка, тоже крикнул:

– Гори-и-ит, проклятый!

Танк охватило пламенем. По ветру жаром обдало нас.

– Сейчас полезут из машины фрицы, – сказал Джалиль, держа в руке пистолет. Открылась башня. Сквозь пелену дыма показалась голова в фуражке с высокой тульей.

Муса выстрелил. Толстый офицер перегнулся и медленно, мешком свалился на подмятые кусты.

И тут же из башни показалась вторая голова, с пылающей пилоткой и лопнувшими глазами.

Муса опустил пистолет и отвернулся. Не стал стрелять и Войтинский.

Из башни вырвался густой смрадный дым.

Тем временем бойцы роты подожгли еще одну машину, а третий танк, повернув назад, скрылся на той стороне.

Бой продолжался еще минут десять. Оставив много убитых и раненых, немцы отступили на противоположный берег.

Воцарилась тишина. Как будто и боя не было. Только раненые зывали о помощи. Воспользовавшись передышкой, я представил Мусу Джалиля Войтинскому, присевшему около телефона. Он устало взглянул на поэта:

– Видите, какая заваруха здесь творится. Третью атаку сегодня отбили. – Войтинский вытер рукавом пот со лба. Он хотел еще что-то сказать, но тут приблизился связной и впопыхах сообщил, что политрука срочно вызывает комбат. Войтинский извинился и вместе с посыльным скрылся за изгибом щели.

Вернулся Войтинский с приказом о подготовке к отражению новой атаки немцев.

Он подошел к Мусе:

– А вы где будете?

– С вами пойду, – решительно ответил Джалиль.

– Зачем же в пекло лезть!

– Так надо, – улыбнулся Джалиль.

Войтинский тоже улыбнулся:

– Ясно. Тогда запасайтесь винтовками со штыками, – посоветовал он и скрылся в лесу.

Среди раненых нам нетрудно было вооружиться. Мне Муса вручил обычную трехлинейку с расщепленной ложей. Себе же взял «симоновку» и, прикрепив штык, как бы оправдывая свой выбор, сказал:

– Удобное оружие для ближнего боя.

– Мне по душе трехлинейка, с граненым штыком, – признался я, рассматривая глубокий шрам на цевье.

Разомлев в глуши леса, мы присели к стволу дерева, чтобы немного отдохнуть и утолить жажду березовым соком из баклажки. Полуденное солнце щедро дарило тепло. Из поднебесной выси лилась трель жаворонка, а из леса – певчего дрозда. Такая благодать кругом, подумал я. И не хотелось верить, что вот-вот у этого моста снова начнется бой и, может быть, многие из бойцов никогда больше не услышат этого гомона птиц.

Очнувшись от грустных размышлений, я взглянул на Мусу. Он занимался привычным делом – записывал что-то в блокнот. Лицо его было сосредоточенное, волевое. Черные глаза-смородинки выражали волнение.

Основной удар фашисты сосредоточили на мелкий лес около моста, где ослабленная рота Войтинского отражала натиск целого батальона.

Многие погибли в этом бою. От роты, с которой Войтинский продолжал удерживать мост, не осталось и половины бойцов. На помощь к ним с боем пробился комбат Баранов с ротой воинов. И снова завязалась жаркая битва за мост.

Немцы не выдержали русского штыка и беспорядочно переправились на противоположный берег реки Тосно.

Батальон занимал боевые порядки. Окапывалась вдоль железнодорожного полотна и рота Войтинского.

Слышался шум разбуженного боем леса. Доносились вскрики и стоны раненых. Одни сами выползали с поля боя, других выносили санитары и бойцы. Пожилой военфельдшер с ершистой бородкой, усталый, перепачканный кровью, торопливо делал перевязки и лесной тропой отправлял раненых в санбат.

Долго искали Войтинского. Политрук погиб в последние минуты схватки. Его нашли у большого ракового куста, под цветущей вербой. Он с раскинутыми руками лежал на спине. Рядом с ним, согнувшись, валялся на боку немецкий офицер с пистолетом, зажатым в посиневших пальцах.

Тело любимого командира бойцы на руках вынесли с поля боя и положили на устланную болотными цветами траву.

Муса Джалиль пришел к Войтинскому, чтобы встретиться... Встретился, а поговорить как следует не пришлось».

22 июня окруженные пошли на штурм вражеской обороны. Натиск был до того отчаянным, что враг не выдержал, дрогнул. Была пробита брешь, через которую организованно выходили из окружения части Второй ударной армии, в первую очередь больные и раненые. В этот день из двадцати четырех оставшихся в живых работников газеты «Отвага», включая наборщиков, шоферов и двух бойцов охраны, вышло из окружения трое. Однако Мусы Джалиля с ними не было. К вечеру немцам снова удалось заделать брешь. Муса и его товарищи остались в «содрогающемся под бомбами, обреченном на гибель кольце»...

«Неблагоприятный исход любанской операции в значительной мере был определен трусостью и бездействием командующего 2-й Ударной армией генерал-майора А.А. Власова, который, боясь ответственности за поражение армии, изменил Родине и добровольно перешел к гитлеровцам».

...Двадцать лет спустя после битвы на Волхове по залам Государственного музея Татарии бродил уже немолодой, солидного вида посетитель, явно приезжий. Он с интересом рассматривал экспонаты периода Отечественной войны. Дойдя до портрета Мусы Джалиля в форме старшего политрука, он вдруг остановился и тихо произнес:

– Муса! Залилов!

На глазах его выступили слезы. Столпившимся вокруг него посетителям он объяснил, что воевал вместе с Джалилем на фронте. Он, конечно, и раньше слышал о поэте-герое Джалиле, но, пока не увидел портрет, ему как-то не приходило в голову, что политрук Залилов и поэт Джалиль – одно и то же лицо. Сотрудница музея тут же позвонила Гази Кашшафу.

Так нашелся один из сослуживцев Джалиля, Иван Павлович Паньков, позднее кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КПСС и научного коммунизма Приморского сельскохозяйственного института. Старший инструктор политотдела 59-й отдельной стрелковой бригады в составе Второй ударной армии, весной и летом 1942 года он находился на Волховском фронте.

Бывая по делам службы в штабе Второй ударной армии в селе Огорели, Паньков заходил в редакцию газеты «Отвага», приносил свои статьи и корреспонденции. В середине или в конце апреля 1942 года его познакомили с новым сотрудником – невысоким, подвижным и жизнерадостным политруком – татаринном Мусой Залиловым. Паньков родом из Чувашии, с Волги, поэтому они с Мусой считали себя земляками. Они часто встречались – то в редакции, то в штабе армии, то на передовой.

Обстановка на Волховском фронте осложнялась. Больше всего сказывались перебои с доставкой продовольствия. В конце мая 1942 года, когда армия была уже окружена, Паньков встретился с Мусой около села Горки. Муса похудел, осунулся, хотя по-прежнему был бодр и деловит. В разговоре с Паньковым он упомянул, что от голода и цинги у него начали чернеть и шататься зубы.

В ночь на 24 июня 59-я стрелковая бригада получила приказ пробиваться с боями в направлении деревни Теремец-Курляндский. Прорыв должен был возглавить третий батальон, за которым шли остальные подразделения. Ввиду важности задачи батальон усилили группой политработников и офицеров из штаба армии. В их числе был и Муса.

В одиннадцать ночи началась атака. Немцы ответили ураганным огнем. Батальон поднимался снова и снова, но немцы держались крепко. В первых рядах шли командиры и политработники. Когда батальон поднялся в очередную атаку (было уже около трех часов утра, начало светать), Панькова ранило в ногу.

– Муса, я ранен, в сапоге кровь, – сказал он Джалилю.

– Потерпи, – ответил тот. – Меня, кажется, тоже царапнуло.

Взвалив друга на плечи, Муса пополз правее, где кустарник казался гуще, а огонь – не таким губительным. В это время из кустов застрочил немецкий пулемет. Паньков остался здесь, а Муса пополз к пулемету. Через некоторое время сквозь грохот взрывов и пулеметную трескотню Паньков услышал чей-то крик. Ему показалось, что это кричит Муса. В следующее мгновение около него что-то рухнуло. Панькова завалило землей, оглушило, он потерял сознание. По мнению Панькова, именно в это утро, 24 июня, раненый Муса и попал в плен.

Рассказ Панькова Гази Кашшаф включил в свою книгу о Джалиле. Но не успела книга выйти в свет, как автору ее передали письмо бывшего рядового Второй ударной армии Аркадия Русских из Нижнего Тагила. Прочитав в журнале «Огонек», что обстоятельства пленения Мусы Джалиля остаются неизвестными, он решил поделиться тем, что знал.

Весной 1942 года А. Русских нес службу по охране штаба Второй ударной армии и знал политрука Мусу Джалиля, нередко бывавшего в штабе. Обычно Муса был с автоматом, в забрызганной грязью шинели, как и все приходившие с передовой.

В последних числах июня немцы окружили Новую Кереть, где располагался штаб.

Был отдан приказ – пробиваться из окружения в одиночку и мелкими группами.

«Все молча разошлись. Вначале я пошел один, но наткнулся на немцев. Мое счастье, что они не открыли огня, а стали махать мне рукой, чтобы я шел к ним. Но ведь это плен! Эта мысль подхлестнула меня, и я убежал. Благо, невредим. Что ж, на войне всякое бывает. Принимаю новое решение и иду лесом к узкоколейке. В пути я повстречал Мусу. Обменявшись несколькими словами, мы пошли вдвоем. Было туманное росистое утро. Прошли километра два, но миновать встречи с немцами нам не удалось. Утреннюю тишину нарушил треск немецких автоматов. Мы залегли в воронке. Тотчас кругом посыпались мелкие мины. Вероятность прямого попадания невелика, но между разрывами мин слышно, как

немцы картавят: «Рус, сдавайся!» Отсиживаться не пришлось. Кроме плена или пули, ничего не высидишь. Под разрывами своих мин немцы не решались высовываться. Мы воспользовались этим и не без риска, перебежками, проскочили это место. Минут через пять со всех сторон посыпались снаряды. Вокруг сплошной гул. Туман превратился в дым, ест глаза. Появилось несколько «юнкерсов», стали пикировать, включая сирену. Мы ползли на восток, к своим. Но вдруг снова немцы, опять автоматный огонь. Я перебежками стал отходить в укрытие, за маленький паровозик, валявшийся кверху колесами. Муса следовал за мной. Но когда я оглянулся, то увидел, что Муса упал, не иначе как его зацепило пулей. Вернуться к нему в эту минуту, на глазах у немцев, понятно, не было возможности. Снова посыпались мины. Невдалеке я заметил подбитый немецкий танк. Добравшись до него в несколько прыжков, я влез в машину, намереваясь пересидеть артиллерийский обстрел. Немцы, вероятно, не заметили, что я влез в танк, поэтому не пытались выкурить меня из него. Но узнать, что случилось с Мусой, я не мог. Обстрел продолжался, а из танка не видать.

Вечером, когда огонь стих, я вылез из танка и вернулся к месту, где упал Муса. Но его там уже не было. Значит, его не убило, иначе был бы труп. Значит, он был ранен и попал к немцам. Но что я мог поделать?»

Вскоре после получения этого письма в Союз писателей Татарии зашел участник Отечественной войны Салих Ганеев. Он рассказал, что осенью 1942 года встретился с Джалилем в одном из лагерей для военнопленных и Муса сам поведал ему о том, как попал в плен. Это произошло, по словам поэта, 26 июня. Все предыдущие попытки прорваться из окружения не удались. Решили пробиваться с колонной машин по настильной дороге. Муса ехал на редакционной машине. Но немцы обнаружили колонну и открыли огонь. Под колесами машины разорвалась мина. Большинство попутчиков Джалиля убило, сам он был ранен осколком в левое плечо и отброшен взрывной волной.

Когда он пришел в себя, вокруг уже были немцы. Джалиль ничего не сказал Ганееву о попытке покончить с собой, о чем он с такой горечью пишет в стихотворении «Прости, Родина». Но если поэт упал в болото, понятно, почему ему отказал «друг-пистолет».

Видимо, Муса и раньше думал о том, чтобы не попасть живым в руки врага. В одном из писем Гази Кашшафу он упоминает, что написал «Балладу о последнем патроне». Стихотворение это не дошло до нас, но, видимо, речь в нем шла о последней пуле, предназначенной для себя.

Ганеев перевязывал поэта и подробно рассказывает о его ранах. Осколок раздробил Мусе ключицу, и левая рука его висела на перевязи. На груди Джалиля был плохо зарубцевавшийся шрам пулевого ранения. Пуля ударила недалеко от сердца, но лишь царапнула рикошетом по ребрам. По просьбе Мусы Ганеев массировал багрово-вздувшийся рубец, чтобы он немного рассосался.

Работая с Гази Кашшафом над совместной книгой «Поиск продолжается», мы долго думали, на какой же из этих трех версий остановиться. В конце концов остановились на третьей, потому что она основывалась на словах самого поэта.

Но значило ли это, что первые две версии не соответствуют действительности? Для такого вывода у нас не было достаточных оснований.

В это время в «Литературной газете» появилась статья о путевом обходчике Николае Орлове. Узнав адрес, мы написали ему о наших сомнениях, просили включиться в поиск. Орлов откликнулся немедленно. Попросил прислать подробные воспоминания участников боев, их адреса. Через несколько месяцев коротко написал: «Приезжайте. Я, кажется, кое-что нашел».

Мы идем по местам бывших боев. Николай не отвергает ни одно свидетельство.

– Вот болото, описанное в письме Аркадия Русских, – говорит он, подводя меня к линии бывшей узкоколейки.

Детали, приведенные в письме Русских, сходятся все до одной. Мы нашли даже части того паровозика, о котором он упоминает. Нет только танка, в котором он прятался. Не было его и сразу после войны. Очевидно, танк был поврежден не очень сильно, и его еще тогда вывезли сами немцы.

– Видел он своими глазами, как Мусу Джалиля взяли в плен? – горячо говорит Николай. – Нет, не видел. Значит, им описан только один боевой эпизод из жизни поэта.

Таким же образом подтверждается и правота Ивана Павловича Панькова.

По словам Николая, как раз в направлении, описанном Паньковым, прошла после войны похоронная команда. На небольшом участке, где делались попытки прорыва, было обнаружено более пятисот останков наших солдат. Среди погибших, судя по амуниции (командирские ремни, португепя и т. д.), необычно много офицеров. У некоторых в том месте, где был нагрудный карман, нашли пачки цветных карандашей. По-видимому, это были те штабные работники, о которых упоминает Паньков.

Свидетельство Панькова раскрывает перед нами еще один момент фронтовой жизни Джалиля. Может быть, именно в ту ночь поэт получил пулевое ранение. Но это тоже был еще не плен. Когда я написал Панькову о рассказе Салиха Ганеева, он согласился, что так оно, наверное, и было, так как своими глазами он не видел, как схватили Мусу. Правда, ему до сих пор кажется, что кричал именно Джалиль. Но попробуйте в бою, среди грохота разрывов отличить, кто кричит...

Теперь о третьем свидетельстве.

Удалось уточнить, что 25 июня был отдан приказ – на завтра все уцелевшие машины двинуть на прорыв. Ночью саперы починили настильную дорогу, проложили новые гати. Но проскочить удалось лишь немногим. Большинство машин подверглось артобстрелу и застряло на рубеже между речками Глушица и Полисть.

Писатель Риза Ишмурат еще в 1943 году разговаривал с неким капитаном Черных, который ехал в одной машине с Джалилем. Во время короткой остановки перед последним броском Мусу послали куда-то с поручением. Прозвучала команда трогаться. Черных вскочил в машину, а Джалиль не успел подойти. Капитану Черных посчастливилось вырваться из окружения. Джалиля он больше не видел...

Николай Орлов нашел женщину, которая попала в плен как раз в районе разбитых машин 25 или 26 июня. Хотя она не была военнослужащей, ее погнали вместе с другими пленными в лагерь для военнопленных в деревне Сябренницы близ Чудово. В одной колонне с нею было немало раненых, захваченных фашистами возле машин.

С ее помощью Николай нашел эти места. Проржавленные, искореженные взрывами машины остались в лесу в семи-восьми километрах от Мясного Бора. Возле одной из них он обнаружил две отброшенные взрывом пишущие машинки и рассыпанный в траве типографский шрифт.

– Может быть, это та самая редакционная машина, на которой ехал Джалиль? – говорит он.

Мы подходим к машине. Она застряла метрах в тридцати от настильной дороги. Видимо, заехала сюда, спасаясь от обстрела и бомбежки. Взрывом у нее вырвало мотор, снесло кабину. Кузов и баллоны сторели. Вот и две ржавые, погнутые пишущие машинки, о которых говорил Николай. Правда, найти сейчас, в густой траве, типографский шрифт не так-то просто. Для этого надо приехать сюда ранней весной, когда трава еще не поднялась.

Я щелкаю фотоаппаратом. Затем долго молча стою у места, где, может быть, в болотной грязи, оглушенный, истекающий кровью, лежал поэт. И невольно вспоминаются его строки:

...Судьба посмеялась надо мной:
Смерть обошла – прошла стороной.
...Скорпион себя убивает жалом,
Орел разбивается о скалу.
Разве орлом я не был, чтобы
Умереть, как подобает орлу?
Поверь мне, Родина, был орлом я, –
Горела во мне орлиная страсть!
Уж я и крылья сложил, готовый
Камнем в бездну смерти упасть.
Что делать?
Отказался от слова,
От последнего слова друг-пистолет.
Враг мне сковал полумертвые руки,
Пыль занесла мой кровавый след...

«ПРОДОЛЖАЮ ПИСАТЬ СТИХИ И ПЕСНИ»

3 июня 1942 года Джалиль писал с Волховского фронта Гази Кашшафу:

«Я продолжаю писать стихи и песни. Но редко. Некогда, и обстановка другая. У нас сейчас кругом идут жестокие бои. Крепко деремся, не на жизнь, а на смерть... Поэтому поэма пока откладывается. Но я скоро вышлю 10–15 коротеньких песен и стихов и очень прошу планировать второй сборник. Очень прошу».

В то время, когда Джалиль писал это письмо – свое последнее письмо с фронта, – Вторая ударная армия была уже полностью окружена и отрезана от основных сил. Связь с Большой землей, хотя и не регулярная, поддерживалась самолетом до двадцатых чисел июня. Думается, поэт, не ждавший ниоткуда «ни спасенья, ни чуда», постарался отправить свои стихи в тыл. Но далеко не всем самолетам удавалось благополучно перелететь линию фронта.

Очевидцы рассказывают, что Муса все время носил в своей походной сумке толстую потрепанную тетрадь, в которую он записывал все сочиненное им. Там были, конечно, и наброски поэмы, и оригиналы других не дошедших до нас стихотворений Джалиля. Но где она, эта тетрадь, на дне каких болот?

25 марта, высылая Кашшафу несколько новых стихотворений, Муса писал:

«Это так, среднего уровня стихи, куда-нибудь пригодятся. Есть у меня две незаконченные баллады – «Баллада о последнем патроне» и «О двух глазах и двух сыновьях», но они еще в работе».

Неделю спустя Джалиль снова называет стихи, над которыми он работает в недолгие передышки между боями «Баллада о последнем патроне», «Сон», «Поход смерти», «Мать». Причем, как замечает Джалиль, все это наиболее интересные и объемистые стихи, рассчитанные для журнала «Совет эдэбияты» (ныне «Казан утлары»). Из них поэт успел закончить и переслать в Казань только стихотворение «Сон».

Судьба этих произведений, видимо, продолжала беспокоить Джалиля и в Моабите. Внимательный стилистический и идейно-художественный анализ Моабитских тетрадей убеждает в том, что некоторые из помещенных в тетрадь стихотворений написаны еще на Волховском фронте.

Например, стихотворение «Песня девушки». Написано от имени девушки, провожающей на фронт любимого:

Милый мой, радость жизни моей,
За отчизну уходит в поход.
Милый мой, солнце жизни моей,
Сердце друга с собой унесет.

Окончательно в этом убеждает дата, поставленная рукой Джалиля, – июнь 1942 года (а Муса, как мы знаем, попал в плен 26 июня). Такой же характер носит и стихотворение «Платочек». В нем рассказывается о подарке любимой – платке с вышитой каймою, которым раненый боец зажимает рану в бою:

Перед врагом колен не преклонял я,
Не отступил в сраженьях ни на пядь,
О том, как наше счастье отстоял я,
Платочек этот вправе рассказать.

Правда, под стихотворением стоит дата: июль 1942 года, но Джалиль, по-видимому, ошибся. Гази Кашшаф также пришел к выводу, что эти стихи написаны еще на Волховском фронте и входят в число тех коротеньких песен и стихов, которые он обещал, но так и не смог выслать.

К их числу можно отнести и стихотворение «Письмо» с подзаголовком «песня». Характерно уже начало «Письма»:

Я в затишье меж боями
Говорить задумал с вами...

Это – мысли воина, а не военнопленного.

Джалиль не указал даты создания этого стихотворения. Кашшаф полагает – сентябрь 1942 года. Но, на мой взгляд, логичнее предположить, что оно также написано еще в дни боев под Мясным Бором.

Как уже говорилось, Муса работал над балладой «О двух глазах и двух сыновьях». В Моабитских тетрадах есть большая, очень интересная баллада «Праздник матери». В ней речь идет о двух погибших на фронте сыновьях и ослепшей от горя матери. Вполне вероятно, что, упоминая в письме о стихотворении «Мать», Джалиль имел в виду ту же балладу. Правда, под «Праздником матери» стоит дата – сентябрь 1943 года. Тем не менее возможно, что она указывает время, когда Муса окончательно доработал и записал свое стихотворение.

В пользу этого соображения говорит хотя бы такой пример. Под другой балладой – «Соловей и родник», очень близкой по духу и настроению к «Празднику матери», – стоит дата: июль 1942 года. Однако Джалиль сам рассказывал Мидхату Сафарову, которого встретил в лагере, что написал ее на Волховском фронте, собирался напечатать на русском языке в газете «Отвага», но не успел. Следовательно, то, что в Моабитские тетради вошли стихи, написанные еще до плена, – не просто предположение, а неоспоримый факт. Вероятно, к их числу следует отнести и стихотворение «Красная ромашка». И по содержанию, и по своим стилистическим особенностям оно также примыкает к фронтовой лирике Джалиля.

Итак, из тех пятнадцати–двадцати лирических песен и эпических баллад, над которыми поэт работал на Волховском фронте, по крайней мере пять–шесть дошли до нас в Моабитских тетрадах поэта. Другие – в том числе «Баллада о последнем патроне», «Поход смерти» и около десяти стихотворений и песен, – видимо, утрачены навсегда.

Но есть и другое направление поиска.

Джалиль проработал в газете «Отвага» около трех месяцев. Вначале он печатал в газете только статьи и заметки, но впоследствии, освоившись, стал писать по-русски и стихи (или, скорее всего, автопереводы с татарского). По словам бывшего сотрудника «Отваги» скульптора Евгения Вучетича, в газете было напечатано около десяти стихотворений Джалиля. Пока из них найдено только одно – «Весенние резервы Гитлера».

«Отвага» продолжала выходить почти до последних дней окружения, но многие ее номера не дошли до нас. Убедившись, что вырваться из кольца не удастся, сотрудники зарыли полный комплект подшивки «Отваги» в лесу. После войны специальная комиссия дважды выезжала на поиски сейфа, но обе экспедиции закончились безуспешно. Причины неудачи понятны. Местность за истекшие годы сильно изменилась, и даже очевидцы не могут теперь точно сориентироваться. А кроме того, тяжелый сейф за это время, видимо, глубоко осел в болотистую почву.

ЗАРЯ НАД КОЛЮЧИМ ЗАБОРОМ

...Кончив уборку, Муса вышел из полутемного сырого барака и даже покачнулся от яркого сентябрьского солнца, ударившего в глаза. Свежий луговой ветер нес с собой запахи увядающих трав, палых листьев, чуть сладковатый дух осоки и тальника. Муса быстро оглянулся вокруг – нет ли вблизи конвоиров и полицаев? Они не терпели, чтобы кто-то хоть на минуту оставался без дела.

Прислонился к дверному косяку, закинул назад голову, прижмурил глаза. Тупая саднящая боль в переломленной и кое-как сросшейся ключице не давала забыть, напоминая о том, что хорошая погода установилась ненадолго, что вслед за ясными днями снова придут затяжные, изматывающие душу дожди. От голода кружилась голова, дрожали колени.

По пыльному щебенчатому плацу перед бараком, деловито чирикавая, прыгал воробей. Он топорилил лоснящиеся перышки, непрерывно вертел головой, требовательно поглядывал на Мусу, ожидая подачки. Муса вывернул карманы – ни крошки. Показал воробью пустую ладонь – извини, мол, друг, нечем тебя угостить...

Воробей отпрыгнул, затем подкакал поближе и сердито клюнул стоптанный сапог.

– Что, несъедобно? – усмехнулся Муса. – Лети-ка ты, дружок, отсюда, пока цел. Лети, лети, дурачок, у нас не разживешься...

Воробей, словно поняв Мусу, взлетел над бараком, сел на колючую проволоку, зачирикал.

Муса долго смотрел на него, потом, затылком почувствовав пристальный взгляд часового, взялся за метлу. Мести приходилось одной правой рукой, левая, висевшая на перевязи, только мешала. Но Муса уже приноровился. Равномерно махая метлой, он продолжал размышлять о пташке, о себе, о друзьях по несчастью:

Ты, пташка, не на этом пой заборе,
Ведь в лагерь наш опасно залетать.
Ты видела сама – тут кровь и горе,
Тут слезы заставляют нас глотать.
...Свободной песней пленного поэта
Спешу, моя крылатая, домой.
Пусть сам погибну на чужбине где-то,
Но будет песня жить в стране родной!

В июле 1942 года в Рождественском лагере у станции Сиверской Ленинградской области с Джалилем встретился Гариф Хафизов. В первом издании моей книги и во всех других источниках называется лагерь на станции Чусской той же области. Но когда я приехал под Ленинград и начал разыскивать месторасположение лагеря, выяснилось, что здесь нет такой станции. Были населенные пункты сходного названия, но лагерей для военнопленных там не было. Хафизов же стоял на своем: встреча произошла именно под Чусской. Обратились к его бумагам, и в одной из них обнаружили название Рождественского лагеря, расположенного в селе Рождествено в нескольких километрах от Сиверской.

Лагерь был устроен в бывших конюшнях. Вокруг были только пески, редкие чахлые деревца, вышки с пулеметами да ограда из колючей проволоки. Как и в других фашистских лагерях для военнопленных, люди здесь сотнями и тысячами гибли от голода и болезней. За несколько месяцев Хафизов совсем обессилел, не мог стоять даже в очереди за лагерной баландой. Однажды, когда он лежал на дощатых нарах, к нему подошел военнопленный средних лет с живыми, умными глазами под припухшими веками. Он обратился к Хафизову по-татарски. Хафизов, давно не слышавший родной речи, сразу оживился, приподнялся на нарах. Завязался разговор. Узнав, что Хафизов не в силах выходить из барака, гость достал из кармана аккуратно завернутый в тряпочку кусок хлеба, разломил пополам и протянул половину Хафизову. Так они познакомились. Новый знакомый назвался Мусой Гумеровым.

Хафизов рассказывает, что Муса был дружен с пожилым русским солдатом, старым питерским рабочим. Они подолгу о чем-то шептались вечерами и, как догадывался Хафизов, собирались бежать. Но пожилой солдат, обессиленный голодом, однажды слег и больше не поднялся. Гумеров тяжело переживал его смерть. Как-то Хафизов подошел к нему, стал утешать. «Раны болят, – пожаловался Муса. – А еще сильнее болит душа. – И, с тоской оглянувшись, добавил: – Мы для немцев хуже скота. Даже живем в конюшнях...»

По стихотворению «Прости, Родина», написанному в июле 1942 года, можно судить, что Муса не только думал о побеге, но и верил в его возможность:

Только одна у меня надежда:
Будет август. Во мгле ночной
Гнев мой к врагу и любовь к отчизне
Выйдут из плена вместе со мной.
Есть одна у меня надежда –
Сердце стремится к одному:
В ваших рядах идти на битву.
Дайте, товарищи, место ему!

В июле, особенно в первой половине, ночи под Ленинградом еще светлые. Не случайно поэтому в стихотворении говорится об августе.

Еще раньше Хафизов заметил, что у Гумерова есть самодельный блокнот, в который он записывает что-то арабскими буквами. Заинтересовавшись, он спросил, уж не учитель ли его новый знакомый. «Нет, – ответил тот, – но от тебя, браток, не скрою. Я поэт из Казани, моя настоящая фамилия Джалиль». Он протянул Хафизову листочек, на котором было записано стихотворение «За оградой из колючей проволоки»...

Бараков цепи и песок сыпучий

Колочкой огорожены кругом.
Как будто мы жуки в навозной куче:
Здесь копошимся. Здесь мы и живем.
Чужое солнце всходит над холмами,
Но почему нахмурилось оно?
Не греет, не ласкает нас лучами,
Безжизненное, бледное пятно...

Это стихотворение есть и в Моабитских тетрадах (называется «Пташка»).

Муса часто читал Хафизову свои новые стихи. В них говорилось о жгучем позоре плена, о тяжести неволи, о неистребимой тоске по свободе. Большинства из них, по словам Хафизова, нет в Моабитских тетрадах. Джалиль написал и стихотворение, посвященное Хафизову, – «Другу Гарифу». Его тоже нет в Моабитских тетрадах. К счастью, Хафизов знал его наизусть:

Если вернешься живым домой,
На Родину, из неволи,
Друг, не забудь, как когда-то
с тобой
Делили радость и горе.
Мы искренни были в беде
до конца,
Одно нам сияло солнце.
Знаю – нам болью сдавит
сердца,
Когда расставаться придется.
Если вернешься живым домой,
Где мать тоскует о сыне,
А я останусь в земле сырой,
Кормить червей на чужбине, –
Друзьям передай мой последний
привет,
Родному народу поведай
О том, как погиб в неволе поэт,
Но Родины милой не предал.

В сентябре 1942 года военнопленных перегнали в лагерь под Двинском. Здесь, видимо, предчувствуя, что они скоро расстанутся, Муса отдал Хафизову блокнот со стихами. «Если останешься жив, – сказал Муса, – перешли стихи в Казань, в редакцию любой газеты или журнала». Когда однажды вечером Хафизов вернулся в барак после работы (Муса из-за ранения не мог выполнять тяжелую работу), Джалиля уже не было. Его куда-то перевели.

Примерно через месяц немцы устроили в бараке тщательный обыск. Хафизов не успел спрятать блокнот. Конвоир вырвал блокнот у него из рук и бросил в горящую печь. Хафизову удалось спасти только три листка с написанными рукой поэта стихотворениями: «Если б ласточкой я был», «За оградой из колючей проволоки» и «Дремучий лес». Все они есть в Моабитских тетрадах (первое названо «Лишь была бы волюшка», а последнее – «Лес»). Выполняя волю друга, Хафизов после войны послал эти листки в редакцию газеты «Советская Татария». Но ответа не получил. Эти листки не найдены до сих пор.

В окрестностях Двинска было несколько лагерей для военнопленных. Джалиля, как выяснилось, перевели в предполье старинной Двинской крепости. Место лагеря помогли установить юные следопыты Первой восьмилетней школы г. Даугавпилса, организовавшие в своей школе Клуб интернациональной дружбы. Весной 1970 года, в дни двадцатипятилетия Великой Победы, я побывал в местах, где когда-то томился пленный Джалиль.

Ребята водят меня по бывшей территории лагеря.

Болотистая, в кочках, низменность. Бесконечные ряды продолговатых, заросших травой ям. На горизонте темнеет густой ельник. А под ногами – стоит только приглядеться внимательнее – ржавые колючки, позеленевшие и помятые патронные гильзы, изъеденные коррозией пуговицы от гимнастеров, погнутые обломки самодельных алюминиевых ложек... У края поля, где начинаются ряды землянок, кучей свалены мотки бурой колючей проволоки.

До войны здесь были старые, заброшенные овощехранилища. Крыши давно прогнили, сквозь них виднелись звезды. В дождливую погоду ямы по щиколотку заливало вонючей

жижей... У самого рва располагался «лазарет». Немецкий доктор отбирал больных сам: задирали рубашку и смотрел, есть ли на теле татуировка. Нередко забирал и здоровых. Живым из «лазарета», как правило, никто не выходил. Только много позднее стало известно «хобби» доктора: он изготавливал из человеческой кожи абажуры, сумки, перчатки и прочие «сувениры», имевшие в Германии большой спрос.

Только на одном братском кладбище неподалеку от лагеря похоронено 45 тысяч военнопленных, а всего в лагерях под Двинском фашисты замучили, расстреляли, уморили голодом и болезнями более 125 тысяч советских военнопленных.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ САЛИХА ГАНЕЕВА

«...Серое сентябрьское небо над Двинском. Идет второй год войны. Еще дают знать раны, но меня уже гоняют на работу. К вечеру возвращаюсь в свою полуземлянку, ищу хоть клочок свободного места. Уже не замечаю ни этой грязи, ни плесени, стараюсь лишь сесть поудобнее, чтобы капля с потолка не попадала на лицо. К этому привык. Только мучительно думаю, ищу способ выбраться отсюда. Перед глазами вышки, ряды колючей проволоки, еще ряд вокруг каждого барака. На ночь нас запирают, и мы слышим шаги часового.

Полная темнота, но я ясно вижу громадный плакат над входом – палка и надпись: «Вот твой господин». Этот «господин» каждый день гулял по нашим спинам. Сон не идет, а спать нужно, чтобы завтра суметь выстоять полную смену. «Завтра» будут похожи на многие другие. Утром ни глотка воды, потом баланда из картофельных очистков с немецкой кухни, с песком и грязью пополам, кусочек хлеба с опилками. Давились, но ели, иначе – смерть.

Я еще недолго в этом лагере, но уже чувствую чью-то незримую руку, которая заставляет нас, военнопленных, быть крепче, мужественнее переносить пытки и страдания. Это какой-то глухой отпор насилию и злу.

Однажды прихожу в барак. Встречает товарищ, бывший военный корреспондент Хасанов. Тихо спрашивает:

– Ты знаешь Мусу Джалиля?

Знаю ли я нашего Мусу?! Мальчишками, потом уже взрослыми мы носили его стихи в своих записных книжках, декламировали на диспутах. Память мгновенно переносит в Москву. Я студент педагогического института им. К. Либкнехта. Хожу в литературный кружок при татарском клубе.

На одном из первых занятий к нам в гости пришел Муса Джалиль.

Он поднялся на сцену, держа маленький блокнотик. Не подходя к трибуне, начал свою речь. Он говорил о новаторстве советской поэзии, о месте ее в революции. Речь захватывала, привлекала. Слушали его как зачарованные, старались ничего не пропустить, запомнить.

Разве могу я забыть Мусу?! Все это очень кратко рассказываю товарищу. Он берет меня за руку и подводит к человеку, который сидел на другом конце скамейки. Полумрак. Но я мгновенно узнаю знакомые черты лица. Все тот же – глаза, улыбка, но только изможденный, худой, в ушанке, рваной телогрейке. Я порывисто бросаюсь к нему:

– Здравствуйте, дорогой товарищ!

– Здравствуй. Садись, друг.

В ту ночь мы почти не спали. Мысленно переносились в родную Татарию, бродили по Москве.

Вспоминали о прошлом и снова возвращались к тем горестным дням, когда оба оказались в плену. Мусу взяли на три дня позже меня. Оглушенного, потерявшего сознание при взрыве мины. И сейчас раны его еще не зажили.

Мы старались помочь ему как могли. Незаметно подливали ему в котелок часть своей баланды, прятали от немцев, чтобы не гнали его на работу. Муса обижался на нас. Мы шуткой просили прощения, но на следующий день все повторялось снова.

Кто Муса на самом деле – знали только несколько человек. Уже вскоре вокруг него объединилась группа людей, которая решила «и в плену не сдаваться фашистам». Это слова Мусы. По ночам он читал нам свои стихи. Мы видели их записанными в толстую замусоленную тетрадь. Не знаю, может быть, и отсюда перекочевали стихи в его легендарную «Моабитскую тетрадь». Писал Муса арабским шрифтом, тщательно прятал тетрадь, старался

говорить иносказательно: фашизм называл «нечистью», Советскую родину просто «отечеством». Он не раз повторял: «Зачем обязательно писать «Советская родина»? Она ведь у нас одна».

Его слова о ненависти, о борьбе, героизме давали нам новые силы, укрепляли веру в победу.

Наша дружба с Мусой крепла. Мы ели из одного котелка. Стелили его телогрейку, укрывались моей шинелью и мечтали, строили планы побега. Только не суждено им было сбыться. В октябре 1942 года немцы собрали очередной этап. Мы с Мусой оказались вместе. Товарищи, работавшие на кухне, сумели передать нам через проволоку немного хлеба, картошки, даже требухи. Охранники принесли одежду – бельгийскую, французскую, старую латышскую форму. Муса усмехнулся:

– Всю Европу ограбили, гады...

Джалилю досталась длинная, чуть не до пят, лягушачьего цвета шинель, громадные ссохшиеся ботинки. Шагнул – о полы спотыкается. Принялись подгонять шинель по росту. Наточили о камень алюминиевую ложку и пошли кромсать. Вместо пуговиц проволоку приспособили.

В сопровождении автоматчиков и овчарок нас уводили на запад, мимо сожженных деревень и сел. Гнев и слезы душили нас. Муса мрачнел с каждым километром.

В Ригу пришли окончательно истощенные, избитые. Всю дорогу несли двух больных тифом. Менялись по очереди. Стоило замешкаться – окрик, приклад по спине, Мусу старались освободить от ноши, он и так еле держался. На улицах нашу колонну провожали молчаливые толпы жителей. Украдкой кидали хлеб, табак. Помню, бежит за нами женщина, ее конвоиры бьют, а она поднимается и снова догоняет нас. Муса оживился:

– Смотри, смотри, Салих! Народ за нас. Немцам у нас долго не продержаться.

Джалиль воспрянул духом, выпрямился, зашагал бодрее.

Нас разместили на территории бывшего пивоваренного завода. Тут же обшарили все углы и закоулки в поисках чего-нибудь съестного. Нам повезло. Под половицами обнаружили немного полусгнившей картошки. Вечером я принес Мусе картошку, сваренную в мундире. Это была наша лучшая пища со дня плена.

А вскоре новый этап. Каунас. Форпост № 6, расположенный на окраине города. Такие же казармы. Грязь, голод. Мы с Мусой по-прежнему неразлучны. Однажды его неожиданно вызвали за зону. Сердце защемило – не к добру это. На всякий случай прощаемся. Крепко обнимаемся, клянемся, если кто останется в живых, рассказать правду друг о друге. Но Муса вернулся. Злой, расстроенный. «Журналисту Гумерову предложили сотрудничать с немцами».

– Разве они могут понять советского человека, – возмутился и негодовал Муса. – Пойти к ним – значит отказаться от своей Родины, идей, отказаться от всей жизни, от самого себя.

Через несколько дней Мусу вызвали снова. На этот раз он уже не вернулся в барак».

КРЕПОСТЬ ДЕМБЛИН

В последних числах октября или самом начале ноября 1942 года Мусу Джалиля привезли в польскую крепость Демблин.

Крепость была построена во времена Екатерины II в качестве опорного пункта самодержавия на Висле. Первоначально она называлась Иван-город. Крепость представляла собой целую систему каменных фортов, высоких валов и глубоких рвов, заполненных водой. К массивным стенам примыкали двухэтажные казематы с узкими бойницами. В центре находился огромный каменный собор, казармы, различные кирпичные и деревянные строения.

Фашисты обнесли крепость несколькими рядами колючей проволоки, установили сторожевые посты с пулеметами и прожекторами. В 1941–1942 годах здесь содержалось одновременно от 120 до 150 тысяч советских военнопленных.

Вот как описывает местная жительница, польская крестьянка Р. Бонкала прибытие очередной партии военнопленных:

«Вид у всех был ужасный. Очень худые, в лохмотьях, некоторые не имели никакой обуви.

Многие не могли сами двигаться. Таких немцы убивали выстрелами из винтовок или ударами прикладов по голове. После того как военнопленные прошли по шоссе от станции до крепости (около трех километров), вся дорога была покрыта трупами».

Прибывших загоняли в нетопленные крепостные казематы – без нар, без постелей, даже без соломенной подстилки. Люди спали вповалку друг на друге. Многим приходилось проводить ночь под открытым небом. А морозы в ноябре достигали 10–15 градусов... Каждое утро похоронная «капут-команда» подбирала 300–500 окоченевших трупов.

Днем и ночью в лагере раздавались выстрелы. Немецкие часовые стреляли в тех, кто подходил слишком близко к ограде, в тех, кто пытался залезть в помойную яму в поисках пищи, стреляли в пленных и просто так – для развлечения.

В этой крепости с Джалилем встретился фельдшер Н.В. Толкачев.

«В лазарет прибыла очередная партия пленных из лагеря Хелм, – вспоминает он. – Вновь прибывшие поступали непосредственно в карантин. Среди больных был и Гумеров. Он страдал конъюнктивитом, фурункулезом и, конечно, полным истощением. Я оказал ему первую помощь. Человек этот сразу мне как-то понравился.

Когда я закончил переливание крови и вышел в коридор, ко мне подошел пожилой субъект из пленных и ехидно спросил:

– Фельдшер, а вы знаете, кого вы сейчас лечили?

– Человека, – осторожно ответил я.

Субъект зло усмехнулся.

– Вы лечили кого не надо... Это – политрук, татарский поэт Муса Джалиль. Я его знаю...

Где шеф лазарета?

Я ответил, что шефа сейчас нет, он в комендатуре, а ходить туда разрешается только медицинскому персоналу. Чтобы отвлечь внимание негодяя, добавил, что обо всем доложу сам...

Джалиля раньше я никогда не встречал и не знал его в лицо. Прежде всего следовало узнать, действительно ли это известный советский поэт. Я стал осторожно допытываться у военнопленных, кто такой Гумеров. Один из них открыл мне истину. Тогда я немедленно перевел доносчика в другое помещение и предупредил фельдшера, чтобы никуда его не выпускали. Потом я вызвал Мусу и рассказал обо всем. Он протянул руку:

– Я так и знал, что попал к своим. Спасибо!..

Так мы познакомились. Узнав, что я родом из Уральска, Муса воскликнул:

– О, да мы вдобавок еще и земляки!..

Едва начав выздоравливать, он попросил меня помочь ему пройти по крепости. Меня это встревожило. Ведь его могли опознать и выдать. Но Джалиль стоял на своем. Я дал Мусе санитарную сумку, повязал ему повязку с красным крестом, и мы пошли по баракам.

Мы ходили из блока в блок, делая вид, что проверяем санитарное состояние помещений. А Джалиль все искал кого-то. Наконец он встретил земляков-офицеров и о чем-то оживленно говорил с ними. В лазарет вернулся в приподнятом настроении и тут же попросил выписать его. Я пробовал отговорить Мусу, но он горячо возразил:

– Тесно мне, понимаешь, тесно!.. Я должен быть там...»

«Земляк-офицер» – это, скорее всего, Абдулла Баттал, брат известного татарского поэта Салиха Баттала. Он ходил в офицерском обмундировании, выдавая себя за лейтенанта Красной Армии (так записано и в его карточке о казни), хотя в армии был рядовым. Муса хорошо знал Абдуллу по Казани. В его барак он и перешел.

Один из военнопленных, находившихся осенью 1942 года в крепости Демблин, рассказал об интересном эпизоде.

В ночь на седьмое ноября пленных начали будить осторожным потряхиванием за плечо.

– Поднимайтесь, сейчас будет торжественное собрание!

Собрание? В фашистском плену?.. Это показалось неуместной шуткой.

Но тут заговорил какой-то невысокий человек, судя по голосу, не очень молодой. В темноте трудно было рассмотреть его лицо, но по еле заметному акценту чувствовалось, что

он не русский. Он говорил о том, что завтра – праздник Великого Октября, который отмечает весь советский народ. «Наши родные и друзья там, на Родине, – говорил он, – встречают праздник – бьют фашистов в хвост и в гриву. Не забывают и нас, вспоминают, плачут. И пусть мы находимся на чужой земле, мы тоже отметим революционный праздник. Главное – не падать духом. Нам надо выбраться отсюда организованно и, какое бы тяжелое время мы ни переживали, не забывать Родины».

Оратор не назвал себя. Но по блоку из уст в уста прошел слух, что это – татарский журналист Муса Гумеров.

Подробнее о встречах с Джалилем рассказывает ветеринарный врач из города Ош Рушат Хисамутдинов. Осенью 1942 года он попал в крепость Демблин. Здоровый, плечистый, восьмидесятипятикилограммовый мужчина, за несколько месяцев он похудел почти вдвое. Руки обвисли, кости выпирали так, что, казалось, вот-вот проткнут серую, хрупкую, как пергамент, кожу. В этом страшном лагере Хисамутдинов узнал цену настоящей солдатской дружбы. Лежать бы ему на дне глинистого рва, если бы не его новый друг Гайнан Курмаш. Курмаш работал на кухне и, несмотря на обыски, каждый день ухитрялся принести с собой то кусок сырой картофелины, то несколько свекольных листков, то оберточную бумагу из-под маргарина. Эти «трофеи» помогали поддерживать слабеющие силы.

Как-то Курмаш позвал к себе Хисамутдинова и кивнул в сторону невысокого смуглолицего человека в старой солдатской шинели, выгоревшей пилотке и деревянных башмаках. Через его плечо была перекинута санитарная сумка. Он был худ, изможден и походил на тяжелобольного туберкулезника. Под усталыми глазами набрякли отечные мешки...

– Это Муса Джалиль, поэт, – шепнул Курмаш.

Хисамутдинов попросил познакомить его с ним. Курмаш окликнул Мусу и представил ему друга. Пожимая протянутую руку, Хисамутдинов назвал себя.

– Гумеров, – ответил поэт.

С этого дня они часто бывали вместе. Джалиль рассказывал о Казани, охотно читал свои стихи. Пленные переписывали эти стихи, заучивали наизусть. Стихи помогали сохранить веру в победу, переносить самые невероятные лишения. В память Хисамутдинова на всю жизнь врезались строки из стихотворения «Пташка». Запомнилось ему и стихотворение «К Висле» (в Моабитские тетради оно вошло в несколько измененном виде под названием «К Двине»).

Фашисты вели демагогическую пропаганду, пытались внушить военнопленным, что, мол, Родина от вас отказалась, у вас, мол, нет пути назад. Шли на самую беззащитную ложь, рассчитывая сломить людей морально, подорвать их волю к борьбе. Вот почему стихи Джалиля о Родине, о верности солдатскому долгу пленные принимали так близко к сердцу.

Почти в каждом стихотворении Джалиля этого периода звучит мотив Родины. Потерять Родину, отчизну – самое страшное, что может случиться в жизни человека:

Я вырос без родителей. И все же
Не чувствовал себя я сиротой.
Но то, что было для меня дороже,
Я потерял: отчизну, край родной!
В стране врагов я раб тут,
я невольник,
Без родины, без воли – сирота...

Боль, гнев, отчаяние переполняют сердце поэта. Но в стихах его нет даже малейших ноток смирения и безнадежности. Поэт готов всю жизнь до последнего вздоха отдать «святой борьбе за волю, за свободу». Р. Хисамутдинов говорит, что именно стихи Джалиля помогли ему сохранить в себе веру в человека.

А вот как рассказывает о встрече с Джалилем участник войны Гараф Фахрутдинов (он работал бригадиром строителей-монтажников в Ташкенте):

«Демблин... «Капут-команда» из ста человек ежедневно таскает трупы. Когда-нибудь дойдет очередь и до нас...

Мы тоскуем по Родине, гнев и боль от бессилия перед врагом сжигают нас, сердце разрывается при виде потухших взглядов голодных и больных людей, валяющихся на

каменном полу.

Когда-то я мечтал стать певцом. И хотя много горя хлебнул в плену, голос сохранился. Однажды я запел, отчаянно, громко. Когда кончил петь, с нар спустился невысокий человек и спросил:

– А еще какие песни ты знаешь? Повеселее? Если не знаешь слов, я тебе напишу.

Он стал давать мне написанные на листочке тексты песен. Среди них были и народные, и песни татарских композиторов, и, как я вскоре понял, написанные им самим. Тогда я еще не знал, что это поэт Муса Джалиль. Его называли Гумеровым.

Теперь мы часто пели по вечерам после работы.

Еще до войны я слышал, что перо можно приравнять к штыку. Здесь, в Демблине, убедился: перо острее штыка. Когда Муса читал свои стихи, все татарские военнопленные собирались вокруг нас и слушали, боясь пропустить хотя бы слово. Как загорались их глаза, сжимались кулаки! В Демблине Муса продиктовал мне стихи «К Висле» и «Поэт». Позднее я встретил их в Моабитских тетрадах. Диктовал он мне и много других стихов, которых нет в Моабитских тетрадах. Некоторые из них я заучил наизусть и после возвращения на Родину восстановил по памяти. Но написал ли их сам Джалиль или кто-либо другой – не знаю. Ко мне нередко подходили пленные и просили разрешения переписать стихи и песни. Я никому не отказывал».

Постепенно вокруг Джалиля и Курмаша сколачивалась группа наиболее надежных, проверенных людей. Теперь мы знаем, что Гайнан Курмаш был одним из руководителей подпольной организации в Демблине. Подпольщики поддерживали связь с центральным органом, находящимся в лагере Седльце, через Яна Габдуллина. Но об этом в то время не знали даже ближайшие друзья Гайнана.

В группу, помимо Курмаша, Джалиля, Хисамутдинова и Фахрутдинова, входило еще несколько человек.

Бывший заведующий колхозным клубом, жизнерадостный, неунывающий Абдулла Баттал – страстный любитель литературы, музыки, сцены. Он хранил в памяти огромное количество стихов и охотно, с подлинным артистизмом читал их. Многие военнопленные принимали его за поэта, путая с братом, Салихом Батталом.

Товаровед Зиннат Хасанов, горячий, темпераментный, люто ненавидевший немцев. Когда впоследствии зашла речь о том, чтобы пойти для вида на службу к гитлеровцам, Зиннат долго отказывался: «Вы же знаете мой характер. Не удержусь, двину какого-нибудь фрица по физиономии и подведу остальных...»

Все-таки его уговорили пойти «артистом» в музыкальную капеллу.

Немногословный, аккуратный до педантичности экономист Фуат Сайфельмулюков.

Совсем еще юный, скромный, незаметный, но готовый в любую минуту отдать жизнь за товарищей учитель Фарит Султанбеков...

В группе насчитывалось десять–пятнадцать человек.

Вечерами думали о том, каким путем вырваться из фашистской неволи. Узник не может не мечтать о воле! Но побег из лагеря были невероятно трудны. С трех сторон крепость омывала Висла, с четвертой был прорыт глубокий ров, заполненный водой. До линии фронта – тысячи километров. Рано или поздно фашисты все равно поймут. Немало таких беглецов немцы расстреляли перед строем... Нельзя действовать в одиночку, надо выступать организованно, только в подобном случае можно рассчитывать на успех – эту мысль Курмаш и Джалиль постоянно внушали своим товарищам.

СТРАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

К концу ноября 1942 года в лагере Демблин наступили перемены. Баланда не стала гуще, но ее, по крайней мере, стали давать регулярнее, без перерывов в два, три, а то и больше дней, как нередко случалось прежде. Пайка липкого, как мыло, эрзац-хлеба не стала больше, но тем, кто мог выходить на работу, стали давать еще по одной-две печеных картофелины или брюквы. Конвоиры, как и прежде, размахивали автоматами и орали на пленных, но дубинка

гуляла по спинам и головам чуть реже. И уж совсем неслыханное дело – раз в десять дней военнопленных начали водить в баню. Собственно, это был ледяной душ на каменном полу. Но при этом выдавалось по небольшому кусочку мыла, так что вконец обовшивевшие люди получили возможность смыть многомесячную грязь.

«К чему бы это?» – недоумевали пленные.

В тех перемещениях, которые постоянно происходили в лагерях, стала проступать определенная закономерность. Военнопленных начали сортировать по национальностям. Русских, украинцев, грузин, армян и других развозили по «своим» лагерям. В Демблин же собирали в основном военнопленных национальностей Поволжья и Приуралья: татар, башкир, чувашей, марийцев, мордвин, удмуртов. Среди вновь прибывших все чаще попадались земляки, а нередко и старые знакомые. Когда прибывала новая партия военнопленных, все, кто был свободен от работы и мог передвигаться без посторонней помощи, собирались к крепостным воротам. Слышались радостно удивленные возгласы, начинались похлопывания по плечу, обмен новостями...

Прежде в лагере было три зоны: приемная, санитарная и общая. Теперь общую зону разделили колючей проволокой надвое. В одной – ее называли рабочей зоной – по-прежнему в сырых, неотапливаемых казематах, в страшной тесноте ютились военнопленные. Вторую – строевую зону – очистили от пленных и спешно начали приводить в порядок: вставляли стекла, белили стены и потолки, ремонтировали отопление, строили нары.

Как-то хмурым ноябрьским утром военнопленных выгнали на плац. С неба сыпала мелкая колючая крупа. Пленные зябко ежились, теснее прижимались друг к другу и согревали душу солеными ругательствами по адресу тех, кто придумал эту затею.

После получасового ожидания на трибуну из нескольких ящиков вскарабкался какой-то тщедушный человек в очках, в долгополом пальто и черной фетровой шляпе. Лагерный переводчик представил его собравшимся как «известного татарского деятеля, доктора Ахмета Темира».

«Доктор» привычно вскинул руку в нацистском приветствии и начал что-то выкрикивать. Присутствующие не сразу поняли, что говорил он по-татарски, так как в произношении «доктора» проступал турецкий акцент. К тому же речь его была густо пересыпана арабскими и персидскими словами, непонятными большинству присутствующих. Можно было разобрать лишь отдельные слова и фразы: «братья-мусульмане»... «под игом русских большевиков»... «свободное независимое татарское государство»... «под зеленым знаменем пророка»... «кровь Чингиза и Батые, текущая в наших жилах»...

– О какой это крови он толкует? – недоуменно спросил кто-то Мусу.

– О нашей с тобой, о чьей же еще, – ответил стоявший рядом Абдулла Баттал. – Батый с Чингизом давно сгнили, уж кости в труху превратились.

Чаще же в речи выступавшего слышалось неведомое прежде название: государство «Идель-Урал», комитет «Идель-Урал», легион «Идель-Урал», газета «Идель-Урал»...

Свою речь «доктор» закончил бодрым призывом записываться в легион.

Вечером вокруг Мусы плотной кучкой собрались друзья.

– Объясни, пожалуйста, что такое «Идель-Урал»? И с чего это немцам приспичило «заботиться» о независимости татар?

«НАДЕТЬ ВРАЖЕСКИЙ МУНДИР? НИКОГДА!»

Еще на заре своей карьеры наци номер один Адольф Гитлер цинично заявлял: «Вы спрашиваете меня, не хочу ли я истребить целые нации. Да, примерно так. Природа жестока, поэтому и мы должны быть жестокими. Если я могу бросить цвет германской нации в ад войны, не испытывая никакой жалости перед пролитием драгоценной германской крови, тем более я имею право устранить миллионы представителей низшей расы, которые размножаются, как паразиты».

Это и другие не менее бесчеловечные положения фашистского фюрера легли в основу так называемой «восточной политики». Согласно гитлеровской доктрине, всю Восточную Европу вплоть до Уральского хребта предполагалось «очистить» от значительной части местного населения и заселить немецкими колонистами. Те же немногие, которым хозяева «милостиво»

даровали бы жизнь, обязаны были бы работать лишь в качестве «сельскохозяйственных и промышленных рабочих», то есть новых рабов.

Согласно документам, обнаруженным после разгрома гитлеровской Германии, территорию между Волгой и Уралом предполагалось разделить на несколько рейхскомиссариатов и колонизировать.

Ни о какой «независимости» населяющих этот район малых народов не могло быть и речи. Более того, готовя войну против СССР, гитлеровское командование разработало секретный «приказ о комиссарах». Согласно этому приказу, предусматривалось немедленное физическое уничтожение «всех захваченных в плен комиссаров, а также евреев и азиатов».

Идеологи гитлеровской партии не раз высокомерно заявляли, что азиаты являются «неполноценными», что они, подобно евреям и славянам, могут служить лишь для удобрения почвы, на которой расцветет высшая арийская раса. Для обозначения людей «низших» рас был изобретен даже специальный термин – «унтерменш».

Но где-то к середине 1942 года геббельсовская пропаганда заметно меняет тон. Газеты начинают твердить, будто фашизм призван «освободить» азиатов, «угнетенных большевиками, нью-йоркскими жидами и лондонскими банкирами». Вот тогда-то и вытаскиваются на свет всевозможные националистические прожекты и планы, в том числе и не осуществленная в свое время идея татарского идеолога Гаяза Исхаки о создании между Волгой и Уралом государства «Идель-Урал».

Смена курса официозной фашистской пропаганды, разумеется, не была случайной. Провал планов «молниеносной войны» и сокрушительный разгром фашистских полчищ под Москвой привели к тому, что немецкая армия стала ощущать острый недостаток в живой силе. По мере того как на Восточном фронте одна за другой перемалывались отборные немецкие дивизии, этот недостаток чувствовался все более остро, являя собой грозное предзнаменование неизбежного поражения нацизма. Приспешники Гитлера начинают лихорадочные поиски новых порций пушечного мяса. Именно тогда рейхсминистр оккупированных территорий Востока Альфред Розенберг предложил свой план: вбить клин между народами России, натравить одни нации на другие и использовать военнопленных разных национальностей для борьбы против собственной родины.

Идея Розенберга одобрялась далеко не всеми. Сам Гитлер был вначале решительным противником создания вооруженных отрядов из военнопленных. 16 июля 1941 года в беседе с Ламмерсом, Кейтелем и Герингом, на которой присутствовал и барон фон Розенберг, Адольф Гитлер самоуверенно поучал:

«Нашим железным принципом является и всегда должно оставаться непоколебимое правило: никогда не допускать, чтобы кто-либо иной, кроме немцев, носил оружие». Он повторил свою мысль несколько раз: «Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казах и не украинец».

Сокрушительные удары Красной Армии заставили Гитлера отказаться от этого «железного принципа». В марте 1942 года фюрер подписал приказ о создании из военнопленных кавказских национальностей грузинского, армянского и азербайджанского легионов, из военнопленных народностей Средней Азии – туркестанского и народностей Дагестана – горского легионов. Приказ о создании Волго-татарского, или, как предпочитали называть его эмигранты, легиона «Идель-Урал», был подписан немного позднее, в августе 1942 года. Представителем германского командования при национальных легионах был назначен генерал-майор Хейкендорф, отозванный с Восточного фронта вместе с остатками своей дивизии, основательно потрепанной в боях. Личный состав этой дивизии занял все командные посты в формируемых легионах.

Подпольной организации Демблинского лагеря надлежало выработать свою тактику в отношении легионов. Вначале единодушно было решено бойкотировать легионы и вести среди пленных усиленную агитацию против вступления в них.

Фельдшер Н.В. Толкачев рассказывает, как однажды в перевязочной лагерного госпиталя в его присутствии старший врач Аркадий Львович Лев завел с Джалилем разговор об отношении к легионам. Они хорошо знали друг друга, поэтому говорили откровенно, не таясь. Муса высказал свое резко отрицательное отношение к этим фашистским формированиям. Он видел только один выход – любой ценой бежать из лагеря. Аркадий Львович придерживался

другого мнения. Он считал, что надо воспользоваться этой возможностью, чтобы сохранить людей и переправить их на сторону Советской Армии. «Даже если перейти к своим не удастся,— говорил он,— смерть с оружием в руках куда почетнее и полезнее для Родины, чем бессмысленная гибель от голода и тифа». Аркадий Львович предложил Мусе самому пойти в легион, так как, по его словам, «бросить командиру солдат на произвол судьбы равносильно дезертирству».

– Надеть вражеский мундир? – вспыхнул Джалиль.— Никогда!

Фашисты в спешном порядке начали сколачивать из военнопленных воинские подразделения. В лагере работала медицинская комиссия, которая сортировала людей в зависимости от состояния здоровья. Тех, кто посильнее и помоложе, брали в строевую зону, а пожилых, больных и обессиленных – в рабочую. Попавших в строевую зону (или полулегион, как его еще называли) уже не гоняли на работу. Здесь и кормили намного лучше, и чистое белье выдавали, и медицинскую помощь оказывали. Затем отобранных грузили в эшелоны и отвозили на станцию Едлино, где располагались части татарского легиона.

Бывший переводчик и преподаватель немецкого языка Волго-татарского легиона Фридрих Биддер рассказывает:

«Люди прибывали к нам физически совершенно истощенные, измученные. Лишь немногие, преимущественно из числа тех, кто попал в плен в последнее время, сохраняли какое-то подобие военной выправки. Мало у кого из них было подлинное желание воевать на стороне германской армии. По истечении карантинного срока физически наиболее крепких отбирали в полевые команды. Остальных направляли в рабочие роты легиона».

Как видим, сортировка проводилась не один раз. В легион попадали разные люди. Среди них были и явные предатели, шкурники, трусы. Были и люди слабые, неустойчивые. Но большинство составляли честные люди. Они рассуждали так: воспользоваться случаем, набраться сил, получить в руки оружие, а там... Может, удастся бежать, а может быть, посчастливится перейти к партизанам... Подпольщикам приходилось учитывать эти настроения.

«О ЧЕМ ВСЮ НОЧЬ СЛАГАЛ СТИХИ ПОЭТ?»

Немногие реки могут соперничать по красоте с Белой – башкирской Агиделью. Она течет могуче, вольно, неудержимо среди скалистых берегов, поросших вековым бором. Сверху течение Белой почти незаметно. Кажется, река уснула, пригретая косыми лучами августовского солнца. И лишь по тому, как с трудом выгребает лодочник против течения и как далеко относит его лодку, виден ее стремительный разбег.

Мы сидим на огромном валуне, покрытом зеленым мхом.

– Судьба Джалиля – это часть общенародной судьбы,— задумчиво говорит мой собеседник Николай Иванович Лешкин.— Попробуйте отделить воды вон той речушки,— он кивает в сторону безымянного ручья, впадающего в Белую,— от всей реки. Ничего не выйдет... Так и судьба поэта.

Лешкин, юрист по образованию, в течение нескольких лет собирал материалы о Джалиле и джалильцах. Он взял за правило не принимать на веру ни одного свидетельства, если оно не подтверждается из других источников. Такой чисто следовательский подход помог выявить ряд противоречий и несоответствий в рассказах некоторых очевидцев, отбросить ложные версии, полнее прояснить истину. Несколько лет я переписывался с Николаем Ивановичем. В одном из последних писем он написал мне, что ему удалось обнаружить новое свидетельство о демблинском периоде жизни Джалиля. И я приехал в Уфу.

Все, с кем встречался Муса в Демблинском лагере, единодушно утверждают, что где-то в самом конце ноября или начале декабря 1942 года Джалиль внезапно исчез. Предполагалось, что фашисты куда-то увезли поэта. Но куда? В начале января 1943 года Джалиля привезли в лагерь Вустрау под Берлином. А период с начала декабря 1942 года по начало января 1943 года оставался белым пятном в биографии Джалиля.

– Я наткнулся на это свидетельство,— говорит Николай Иванович,— просматривая дела тех,

кто был в плену и в лагере. Баязитов М.К., уроженец деревни Ахуново Буздякского района в Башкирии, в первые месяцы войны попал в плен, был в лагере Демблин, встречался с Мусой Джалилем. Позднее ему удалось бежать из лагеря. Он пишет, что осенью 1942 года его вызвал к себе старший полицай лагеря Демблин и предложил легкую работу: обслуживать татарских писателей, изолированных от других военнопленных.

Николай Иванович протянул мне несколько листочков, исписанных четким наклонным почерком.

«Как я узнал позднее, это были Муса Джалиль, Гайнан Курмаш и Салих Баттал. Курмаш и Джалиль были в гражданском, Баттал носил советскую военную форму. Они жили в небольшой камере в цитадели размером примерно в 15 м. Здесь были три железные койки, стол и скамейки. Около двух месяцев я носил им баланду, мыл миски и прибирал в их комнате. Питались они как и все военнопленные. Баланда была из общего котла. Выходить из комнаты им не разрешалось. На прогулку их выводили полицаи, а на ночь комнату запирали. Все они были сильно истощены, но старались сохранять аккуратный внешний вид. Часто бывая в их комнате, я видел, что они пишут стихи и еще что-то. Больше всех писал Джалиль, остальные ему подсказывали. Помню название одного стихотворения – «Сандугач» («Соловей»), но содержание его не помню. Написанное они намеревались передать работавшим на кухне пленным, но сделали ли они это – я не знаю. Они просили меня связаться с поляками и попросить их вынести стихи на волю. Но сделать этого я не смог. Самим им поддерживать связь с другими военнопленными категорически запрещалось. Помню, как однажды вызвали куда-то Джалиля. По возвращении он сказал, чтобы я вел агитацию против лагеря. Потом их увели всех троих».

– Насколько достоверно это свидетельство?

– Я разыскал Баязитова. Он живет в Костромской области. Ему сейчас около пятидесяти лет. К сожалению, он почти ничего не смог добавить к рассказанному ранее, так как многое забыл. Но надо помнить, что это свидетельство записано сразу после войны, причем Баязитов тогда ничего не знал ни о дальнейшей судьбе Джалиля, ни о его месте в татарской литературе. Таким образом, искажение истины во имя какой-то личной выгоды исключается... Однако это не означает, что на него можно полагаться полностью. Человек малограмотный, он многое понимал по-своему. Что стоит, например, его замечание о том, что Джалилю «подсказывали»...

– Я сразу обратил внимание, что Баязитов спутал Абдуллу Баттала с братом, поэтом Салихом Батталом.

– Видимо, так полагали и сами немцы, раз изолировали его вместе с Джалилем и Курмашем, – соглашается Николай Иванович. – Сомнительно и то, что он носил им баланду около двух месяцев. Речь может идти максимум о трех-четыре недели... Такие смещения в памяти вполне естественны. Было бы странно, если бы их не было. Зато такие детали, как одежда и питание пленных, попытка связаться с поляками (в Демблине действительно работали вольнонаемные польские граждане), и многие другие, не противоречат тому, что мы уже знаем.

– Но зачем надо было изолировать людей, которые и без того находятся за несколькими рядами колючей проволоки, под дулом автоматов? Судя по описанию, камера, в которой они сидели, не похожа на карцер. Да и к заключению в карцер в лагерях для военнопленных почти не прибегали.

– Именно это меня и смущает, – соглашается Николай Иванович. – Но факт есть факт. Надо осмыслить его, найти его место в общей цепи событий и в биографии поэта.

В течение года после возвращения из Уфы я безуспешно пытался найти подтверждение свидетельству Баязитова, пока не наткнулся на аналогичный случай.

Начав формировать легионы, гитлеровцы почувствовали нужду не только в пушечном мясе, но и в людях, способных повести за собой других. Причем если у рядовых не спрашивали согласия вступать в легион, то с людьми образованными, которых они хотели использовать в своих целях, немцы поступали иначе. Осведомители донесли им, что в одном из лагерей для военнопленных томится бывший командир полка, полковник Советской Армии Хайретдин Музай. Татарские читатели знают Музая и как писателя, автора ряда рассказов и

интересных военных мемуаров. Его вызвали для беседы в комендатуру и без обиняков предложили крупный пост в легионе «Идель-Урал». Хайретдин Музай наотрез отказался. Тогда его вместе с несколькими другими советскими офицерами изолировали от других в специальном блоке. Условия содержания, по рассказам очевидцев, были примерно такими же: баланда из общего котла, прогулка под конвоем и полная изоляция от внешнего мира.

В конце концов, так и не сломив волю Музая, фашисты отправили его в Дахау и сожгли в крематории.

Удалось выяснить, что гитлеровцы не раз прибегали к подобному приему и в других лагерях. Это давало им возможность, во-первых, оказать психологическое давление на нужного им человека, а во-вторых, лишить его возможности как-то воздействовать на остальных.

Нечто подобное, по-видимому, произошло с Джалилем и его товарищами. Убедившись, что они не желают сотрудничать с ними, фашисты посадили их под замок. Но песни Джалиля вырывались и отсюда.

Фельдшер Толкачев рассказывает, что однажды он получил через верного человека несколько листочков со стихами поэта. Посыльный передал его просьбу: сохранить листочки и вынести их на волю. Толкачев спрятал стихи в надежном месте. Но сберечь их не сумел: его внезапно перевели в другой лагерь, а стихи остались в тайнике. Толкачев запомнил названия некоторых из них – «Поэт», «Расставание», «Лекарство», «Путь джигита».

В стихотворении «Поэт» (октябрь 1942 г.) нет, казалось бы, ни малейшего намека на окружающую Мусу лагерную действительность. Поэт всю ночь слагает стихи. В душе лирического героя бушует буря, на белый лист падают «живые молнии созвучий». И эта буря как бы перекликается с грозой, которая бушует за окном. Утром поэт сжигает все написанное. И никто не узнает, «о чем всю ночь слагал стихи поэт? Что в этом сердце бушевало?».

Но если вдуматься, настроение стихотворения и его основная мысль рождены реальной обстановкой. Джалиль мучается от сознания, что его стихи, созданные в бурю войны и наполненные бурей чувств, не дойдут до Родины, что никто не узнает о том, какие мысли владели им...

В стихотворении «Расставание», также написанном в октябре 1942 года, говорится о тяжести расставания с друзьями, с любимой, разлуке, особенно тягостной, когда «у тебя всего-то и богатства – одна лишь эта дружба да любовь!».

Как много было у меня когда-то
Товарищей любимых и друзей!
Теперь я одиночек... Но все их слезы
Не высыхают на щеке моей.

Можно предположить, что стихотворение это написано в тот период, когда Муса расстался с Салихом Ганеевым, но еще не встретился с Гайнаном Курмашем и другими единомышленниками. Со дня пленения прошло четыре месяца. Они кажутся поэту длиннее долгих лет:

Не дни, не месяцы, а годы горя
Лежат горою на моей груди...

Под стихотворением «Лекарство» рукой Джалиля поставлена дата: октябрь–ноябрь 1942 года. Судя по всему, оно написано в те дни, когда больной Джалиль лежал в лагерном лазарете, нуждаясь не столько в лекарствах, сколько в тепле и ласке. Именно в это время ему вспоминается случай из собственной жизни.

В 1940 году после долгого отсутствия он вернулся в Казань. Амина еще в передней шепнула, что Чулпан больна, у нее высокая температура, не помогают никакие лекарства. Муса, едва сбросив пальто, кинулся к дочери. Чулпан, вскрикнув от радости, протянула к отцу худые ручонки. Весь вечер Муса не спускал ее с рук, читал стихи, рассказывал сказки. Она так и уснула, положив голову на папино плечо и крепко обхватив его за шею.

А ночью жар спал, девочка задышала ровнее, глубже. К утру она впервые за несколько недель встала с постели и начала играть с куклами. Вот об этом чудесном лекарстве, называемом любовью, и пишет Джалиль в своем стихотворении.

Свидетельство Толкачева помогает прояснить также историю стихотворения «Путь

джигита». В Моабитских тетрадах оно датировано сентябрем 1943 года. Но, по словам Толкачева, стихотворение написано на год раньше. Анализ текста подтверждает это. Ведь в нем говорится о храбром джигите, которому путь домой преграждают не реки и не горы, а орды врага.

Многочисленные свидетельства убеждают, что Джалиль написал в Демблине не только эти четыре стихотворения, а гораздо больше. Но большинство из них не вернулось на Родину.

НАХОДКА В ПАРТИЙНОМ АРХИВЕ

19 сентября 1943 года в районе города Прилуки Черниговской области на сторону наших войск перешел бежавший из фашистского плена офицер Ян Габдуллин. Он сообщил, что является членом подпольной организации, направленным для связи с советским командованием. Габдуллина накормили, дали возможность выспаться, помыться (за недели скитания по немецким тылам он оброс, исхудал и буквально валился с ног от усталости). Едва придя в себя, Габдуллин попросил ручку и бумагу, чтобы изложить известные ему факты.

«Если ЦК ВКП(б) до сих пор не осведомлен о существующей подпольной организации,— писал он,— то я, как первый член этой организации, сумевший выбраться из плена, считаю своим партийным долгом поставить Вас об этом в известность и убедительно прошу в кратчайший срок доложить об этом в ЦК ВКП(б)».

После беседы в особом отделе части и тщательной проверки фактов (насколько это было возможно в тех условиях) Габдуллину предложили дожидаться ответа из ЦК. Но он рвался в бой, ему не терпелось отомстить гитлеровцам за пережитые унижения и страдания. В конце концов, уступив его настойчивым просьбам, Габдуллину доверили командование стрелковым подразделением. Когда пришел вызов в Москву, Габдуллин уже воевал далеко на западе. Его долго не могли отыскать. А потом выяснилось, что 5 марта 1944 года Габдуллин пал смертью храбрых в бою у села Сосновка Гришковского района Хмельницкой области.

После войны работники политотдела не раз пытались установить личность Габдуллина. Но их смутило польское имя – Ян. Его искали среди бывших польских партизан. Там было немало героических Янов, но ни один из них не носил фамилию Габдуллин. Лишь много позднее выяснилось, что Габдуллин еще в дни комсомольской юности выбросил «муллу» из своего башкирского имени Муллаян. Так донесение Габдуллина надолго осело в архиве. И лишь чекисты Татарии М. Миннуллин и М. Аминов снова разыскали этот важный документ и смогли выяснить биографию связанного подпольной организации.

Габдуллин – ровесник Джалиля. Он родился в 1906 году в деревне Ново-Арсланбеково Кадринского района Башкирии в семье крестьянина-бедняка. В их судьбе также немало общего. В 1921 году пятнадцатилетний Муллаян вступил в комсомол. Был одним из вожakov сельской молодежи. Учился в Белебеевском педучилище, работал учителем, секретарем Ток-Чуранского волкома комсомола, заведующим роно. В 1929 году Габдуллин стал коммунистом. Служил в армии, получил звание лейтенанта, был парторгом части, избирался членом горкома. После демобилизации до самой войны был председателем Кадринского райисполкома.

29 августа 1941 года Ян Габдуллин ушел на фронт добровольцем. Воевал под Москвой, затем попал на Волховский фронт, где командовал десантной ротой лыжников. 29 июня 1942 года раненый Ян Габдуллин попал в плен. Был в Нарвских лагерях для военнопленных, в лагере для комсостава в местечке Кальвария на границе Литвы и Восточной Пруссии, в Седльце и, наконец, в октябре–ноябре 1942 года попал в крепость Демблин.

Ян Габдуллин пишет в своем донесении, что с первых дней плена он задумывался об организованной борьбе. Приглядывался к людям, выяснял, кто является членом партии, узнавал их настроение. В Нарвских лагерях создать подпольную группу не удалось. Зато в лагере Кальвария он встретил единомышленников – полкового комиссара Вдовенко и генерал-майора Данилова, которые еще до его прибытия вели подпольную работу среди военнопленных.

Подпольщики воспользовались тем, что лагерное начальство сохранило воинскую структуру, разделив пленных на батальоны, роты и взводы. Во главе всей подпольной

организации лагеря стояла пятерка. Членов пятерки никто из рядовых подпольщиков не знал. Знали только, что существует такая пятерка и что решения ее подлежат беспрекословному выполнению.

Каждый член пятерки был прикреплен к батальонным тройкам. Члены тройки батальона, в свою очередь, распределялись поротно. Секретарь ротной парторганизации знал в лицо только одного члена батальонной тройки. Рядовой член организации подчинялся только секретарю и не знал других руководителей и членов организации, не должен был даже интересоваться ими.

«Строгая конспирация, – пишет Габдуллин, – требовалась потому, что встречались такие, которые предавали лучших людей нашей Родины за килограмм хлеба или несколько сигарет».

Интересно отметить, что эта структура совпадает в основных чертах с той, которая позднее существовала в легионах и о которой рассказывают оставшиеся в живых члены подпольных групп: Р. Хисамутдинов, Г. Фахрутдинов, Ф. Султанбеков и другие.

Когда в лагерях Седльце и Демблин началась вербовка в легионы, подпольщики решили бойкотировать их и организовать коллективный отказ от принятия присяги. Но эту задачу, как пишет Ян Габдуллин, выполнить не удалось. Выяснилось, что подпольная организация еще слишком немногочисленна, прибывшие из разных лагерей военнопленные плохо знали друг друга. Отказ отдельных пленных служить в легионе привел бы лишь к тому, что гитлеровцы изолировали бы их от остальных и расправились с ними.

Решено было идти в легионы, чтобы взорвать их изнутри, повернуть оружие против фашистов. Подпольный штаб поставил задачу «разъяснять легионерам и военнопленным, как освободиться из фашистского плена, разъяснять всю ложь и клевету фашистов на СССР. Организовано переходить на сторону своей Родины в случае подвоза к прифронтовой полосе. В случае приближения фронта выступать организованно и, присоединившись к местным польским организациям, отрезать пути отхода немецких войск, уничтожать связь, дороги, склады».

Ян Габдуллин попал в Крушино, где формировались рабочие батальоны Волго-татарского легиона. Своих людей удалось поставить на многих командных постах в первом батальоне.

Имя Джалиля в донесении не упоминается. Но в том разделе, где называются руководители подпольных организаций, говорится, в частности, что «член ВКП(б) Курмашев из парторганизации Демблинского лагеря организовал подпольную группу в Едлино и при редакции «Идель-Урал» в Берлине».

Из донесения видно, что группа джалильцев представляла из себя неразрывное звено в общей сети подпольных организаций советских военнопленных, действия ее направлялись подпольным центральным органом, который был в лагере на станции Милосно. Не случайно листовки, издававшиеся группой в Берлине, подписывались «IV комитет».

Еще до того, как было найдено донесение Габдуллина, о Яне подробно рассказал в своих воспоминаниях Фарит Султанбеков. Его познакомил с Габдуллиным Гайнан Курмаш летом 1943 года. «Это наш человек», – многозначительно сказал Курмаш, представляя Габдуллина Султанбекову. По тому, с каким уважением Курмаш говорил со своим знакомым, Султанбеков понял, что это – крупная фигура. Потом они говорили наедине, а Султанбеков охранял их. О чем они говорили, он не знает – не спрашивал.

В дальнейшем связь с Габдуллиным поддерживалась через связных. Султанбеков, в частности, знает, что Курмаш передал Габдуллину листовки для распространения в третьем батальоне. Султанбеков припоминает также, что Курмаш отдал Габдуллину список членов подпольной организации, чтобы передать его советскому командованию. Габдуллин тоже упоминает о таком списке и пишет, что уничтожил его при аресте 20 мая 1943 года. Очевидно, немцы по чьему-то доносу арестовали Габдуллина, но впоследствии выпустили. В составе одной из рабочих рот легиона Габдуллин приехал на Украину и отсюда бежал к своим.

ВУСТРАУ – ОСОБЫЙ ЛАГЕРЬ

8 февраля 1945 года части Второй механизированной армии, преследуя отступавших гитлеровцев, ворвались на улицы небольшого немецкого поселка Вустрау в 64 километрах

юго-восточнее Берлина. На окраине поселка внимание советских бойцов привлек необычный лагерь. Собственно, здесь было два лагеря, расположенных в нескольких километрах друг от друга.

Первый мало чем отличался от других лагерей для военнопленных: вышки с пулеметами, ряды колючей проволоки, низкие бараки. Удивляли лишь его небольшие размеры: от силы на несколько сот человек.

Во втором лагере не было ни вышек, ни колючей проволоки. Чистенькие, выкрашенные масляной краской одноэтажные дома, зеленые газоны, клумбы с цветами, посыпанные песком дорожки... Просторный клуб, уютная столовая, богатая библиотека с книгами на разных языках народов СССР...

Среди захваченных трофейных документов оказался список лиц, подавших прошение о выдаче паспорта иностранца (этот документ давал право на жительство в Германии). В списке 680 фамилий. В их числе:

«Гумеров Муса, 1906 года рождения, Оренбург, вне подданства. Служащий Министерства оккупированных восточных областей. Женат».

В Вустрау из числа военнопленных отбирали почти исключительно лиц с высшим образованием: учителей, врачей, инженеров и т.д. Им говорили, что собираются использовать их для работы по специальности у себя на родине. На самом же деле перед «Вустрауской империей» была поставлена задача готовить административный и пропагандистский аппарат для оккупированных территорий. Ненадежных, а также тех, кто слишком назойливо выдавал себя за врага Советской власти, в лагерь обычно не брали – боялись проникновения вражеской агентуры.

Прибывших размещали вначале на территории закрытого лагеря. Здесь было почти то же довольствие, что и в других лагерях, иногда гоняли на тяжелые работы. Отличие было лишь в том, что здесь существовали шуленглейтеры – учебные руководители. Они ежедневно проводили занятия, на которых пичкали антисоветчиной, а главное – прощупывали и отбирали людей.

Из закрытого лагеря после тщательной проверки переводили в открытый лагерь Вустрау (для этого требовалось подписать соответствующую бумагу). Шуленглейтеры демонстративно не обращали внимания на прошлое человека (хотя окольными путями наводили о каждом самые подробные справки).

В открытом лагере пленных встречал начальник лагеря оберштурмфюрер Френцель:

– Вы переступили порог нашего лагеря. Это значит, что все вы – враги большевизма. Я надеюсь...

Затем вели в столовую, где ожидал сытный обед с дорогими сигаретами и марочным вином, в баню, после которой выдавали чистое белье, гражданскую одежду.

Размещали в бараках строго по национальному признаку. Татары занимали тупиковую часть последнего барака. Их было немного – не более десяти человек одновременно. Всего же через Вустрау с осени 1941 по февраль 1945 года прошло около двух тысяч пленных разных национальностей.

Занятия проводились по особой программе, рассчитанной на два месяца. Изучали государственную структуру третьего рейха, его законы, программу и устав нацистской партии. Проводились занятия по немецкому языку. Для военнопленных-татар читались лекции по истории «Идель-Урала». Для всех мусульман обязательным считалось изучение ислама. Окончившим курсы выдавали деньги, гражданский паспорт и другие документы и направляли на работу по распределению министерства оккупированных восточных областей.

В Вустрау обычно везли через Берлин. Именно этим путем доставили сюда в начале января 1943 года бывших военнопленных Назифа Надеева и Усмана Халитова. В Берлине их поместили в подвале бывшей солдатской казармы. Очевидно, это была перевалочная база: здесь можно было встретить военнопленных со всей Европы – чехов, поляков, французов, итальянцев. Стены подвала были испещрены надписями на всех языках. Рассматривая надписи, Назиф Надеев наткнулся на знакомую фамилию. В верхнем углу чем-то острым было нацарапано по-русски:

Муса Джалиль. Казань, Галактионовская, 17, кв.28. Москва, Столешников пер., 11.

Надеев хорошо знал Джалиля еще по Оренбургу (его отец был учителем Мусы). Не удивительно, что он постарался запомнить эту надпись слово в слово. У. Халитов утверждает, что под надписью стояла дата «2 января 1943 года», но Надеев этой подробности не запомнил.

В Вустрау их привезли 13 января и поместили сразу в открытый лагерь. Они ожидали увидеть здесь и Джалиля, но его не было. Только позднее от тех, кто перешел сюда из закрытого лагеря, они узнали, что Муса находится там. Через полтора-два месяца Надеева и Халитова перевели в Берлин. Джалиль все еще оставался в закрытом лагере.

В первой половине января в закрытом лагере Вустрау с Джалилем встретился бывший военнопленный М. Гафаров. По словам Гафарова, Джалиль выглядел неважно: худой, изможденный. С Гафаровым он разговаривал очень дружелюбно, приветливо, постарался ввести его в курс дела, познакомить с лагерными порядками. Улучив момент, когда вблизи никого не было, Муса сунул Гафарову записку, в которой было десять вопросов. «Если отвечаешь положительно, поставь знак +, если отрицательно –», – сказал он при этом. Дословно эти вопросы Гафаров не помнит, помнит только, что они касались верности Родине, воинской клятве и готовности вести борьбу с фашистами.

Ответы Гафарова, кажется, не удовлетворили Джалиля. Когда Муса стал расспрашивать его о настроении и планах, Гафаров не скрыл от него, что мечтает попасть в хозяйство какого-нибудь немецкого бауэра, «отсидеться» там до конца войны.

– Унавоживать фашистские поля? – вспыхнул Муса. – Какую же пользу ты принесешь этим Родине?

Муса говорил о том, что оказаться в плену – это страшный позор, что смыть это клеймо можно только борьбой, и, если человек хотя бы полгода активно боролся с фашизмом, Родина не будет считать его предателем.

Муса ни словом не обмолвился Гафарову о существовании подпольной организации. Но Гафаров видел, что у Джалиля есть в лагере близкие друзья и единомышленники. В частности, он видел его вместе с бывшим журналистом Рахимом Саттаром. Чувствовалось, что они во всем доверяют друг другу.

Свидетельство Гафарова помогает глубже понять стихотворение «Раб», написанное как раз в это время, в январе 1943 года:

Поднял руки он, бросив винтовку,
В смертном ужасе перед врагом.
Враг скрутил ему руки веревкой
И погнал его в тыл под бичом.
...Смело бейся за правое дело.
В битве жизни своей не жалея.
Быть героем – нет выше удела!
Быть рабом – нет позора черней!

В феврале 1943 года в том же лагере у Джалиля произошла неожиданная и потому особенно радостная встреча с Салихом Ганеевым. В первый же день, как рассказывает Ганеев, Муса отозвал его в сторону и подробно рассказал, что это за лагерь, с какой целью создан, чего от них добиваются гитлеровцы. Предупредил, кого следует остерегаться, на кого можно положиться. Ганеев понял, что здесь создано боевое ядро подпольщиков. В группу, кроме самого Мусы, входили журналист Рахим Саттар, детский писатель Абдулла Алиш, инженер Фуат Булатов, экономист из Средней Азии Гариф Шабаев. Они для вида согласились сотрудничать с немцами, чтобы сорвать их планы и, по выражению Мусы, «взорвать легионы изнутри». Ганееву Муса посоветовал не напрашиваться, но, если гитлеровцы предложат, согласиться работать в Татарском комитете в Берлине или в редакции газеты «Идель-Урал». Джалиль сообщил также, с кем ему надо будет поддерживать связь. Правда, Ганееву не довелось практически участвовать в работе подпольной организации – после Вустрау его отправили в Познань, на заводы татарского фабриканта Искандера Яушева.

Согласиться «сотрудничать» с немцами Джалилю и его товарищам было нелегко. Об этом можно судить хотя бы по стихотворению Джалиля «Не верь!»:

Коль обо мне тебе весть принесут,

Скажут: «Изменник он! Родину предал»,—
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину-мать.
Тебе изменить? И отчизне своей?
Да что же останется в жизни моей?

В феврале все друзья Джалиля – Алиш, Саттар, Булатов и Шабаев – перешли в открытый лагерь. Затем их перевели в Берлин. Муса же до последних чисел февраля оставался в лагере. Видимо, он приглядывался к прибывающим в Вустрау, вербовал новых членов организации, инструктировал их.

А вот еще одно свидетельство. Певец Афзал Фатхуллин в начале марта 1943 года прибыл в Вустрау для выступления перед пленными. Ахмет Симаев, встретившийся с Фатхуллиным в Берлине, попросил его передать Джалилю хлеб и другие продукты. Фатхуллин взял передачу, но, приехав в Вустрау, убедился, что Джалиль уже не нуждается в ней, так как его перевели в открытый лагерь. Здесь Джалиль пробыл недолго – всего несколько дней – и, получив паспорт иностранца, уехал в Берлин.

Запись в упоминавшемся списке лагеря Вустрау дает представление об официальном статусе Джалиля. Как и остальные сотрудники Татарского комитета, он числился служащим Восточного министерства. По словам того же Фатхуллина, Муса никакой должности в комитете не занимал, выполнял отдельные поручения, преимущественно по культурно-просветительной работе среди военнопленных. Документ выписан на имя Гумерова (хотя немцы, очевидно, уже знали, что Гумеров и Муса Джалиль – одно лицо. Очевидно, они полагали, что одна из фамилий – псевдоним). В документах о казни указываются обе фамилии: Гумеров-Джалиль. Заслуживает внимания и оскорбительная приписка, «вне подданства». Нет, Джалиль всегда оставался сыном своей отчизны. Он доказал это всей своей жизнью.

ТРИ СИГНАЛЬНЫЕ РАКЕТЫ

В конце февраля 1943 года в лагере Вустрау распространилась весть: первый (по немецким документам 825-й) батальон Волго-татарского легиона, отправленный на Восточный фронт, перебил немецких офицеров и перешел к белорусским партизанам. Прибывшие из Едлино рассказывали, что из тысячи отправленных на фронт легионеров через две недели вернулось человек семьдесят, а из сотни немецких офицеров в живых осталось всего несколько человек.

Вскоре в Едлино приехал, как его представили легионерам, руководитель Татарского комитета, будущий «президент» «Идель-Урала» Шафи Алмас.

Брызгая слюной, он говорил, что «после позорного для нас случая» правители Германии будто бы распорядились разогнать Волго-татарский легион, а всех военнопленных татар отправить в концлагерь. Якобы он, Шафи Алмас, хлопотал лично перед самим фюрером, обещал ему, что «больше такого позора не будет», и добился, чтобы Волго-татарский легион продолжал свое существование.

Подробностей перехода в то время никто не знал, но несомненно было одно: восстание в первом батальоне показало правомерность тактики подпольщиков.

За долгие годы поисков Гази Кашшафу удалось найти только одного участника этого восстания – Габдельхака Шакирова. Он был рядовым легионером, не знал всего размаха деятельности подпольщиков. Кроме того, Шакиров уже не помнил многих имен и дат, так как в свое время не придавал им особого значения.

Зимой 1967 года в Казань приехал бывший начальник Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Выступая с лекциями о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, он рассказал и о той роли, которую сыграл переход 825-го батальона на сторону партизан.

Я встретился с Пантелеймоном Кондратьевичем, и он сообщил мне имена и адреса тех, кто принимал непосредственное участие во встрече 825-го батальона: бывшего командира

Первой витебской партизанской бригады Михаила Федоровича Бирюлина, комиссара этой же бригады Владимира Андреевича Хабарова, начальника штаба бригады Льва Павловича Корнеева, командира партизанской бригады имени Ленинского комсомола Даниила Федотовича Райцева и других. Большинство из них жили и работали в Витебске и Витебской области.

Списавшись с ними, я выехал в Белоруссию. Встречался с бывшими партизанами, расспрашивал, записывал, уточнял детали, работал в архивах. И постепенно перед моими глазами встала довольно полная картина событий военных лет.

– Немцы пришли!

Деревня затаилась, притихла. Ни лая собак, ни мычания коров, ни петушиного крика. Почти весь скот спрятан в лесу. Все, кто мог держать в руках оружие, ушли с партизанами. В деревне остались только женщины, старики и дети.

Это были странные немцы. Они никого не трогали, не вешали, не жгли, не расстреливали. За каждую миску картошки и кринку молока расплачивались немецкими марками. Между собой говорили не по-немецки, а на каком-то странном, непонятном наречии. И песни у них были особенные – длинные, тягучие. Почти все хорошо говорили по-русски.

Один из них, одетый в форму немецкого офицера, зашел в стоявшую на отшибе избу Буйниченко. Поздоровался по-русски, снял шапку и остановился на пороге. Встретившая его пожилая женщина, не отвечая на приветствие, продолжала громыхать ухватом. Вошедший, не обращая внимания на хмурый вид хозяйки, начал расспрашивать о житье-бытье, поинтересовался, не обижают ли их немцы. Женщина спросила:

– А ты сам из каких будешь? Уж не наш ли, случаем?

– Наш, наш, – радостно закивал головой офицер. – Жуков моя фамилия. А зовут Григорий... Тут все из военнопленных...

– Что-то выговор у тебя не похож на русский...

– Да я не русский, я чуваш... С Волги.

– С Волги, говоришь? – Женщина повернулась к нему, опершись на ухват. – Как же ты говоришь «наш», а сам форму фашистскую надел? В своих, значит, стрелять будешь? Гад ты, и больше никто...

Муж Буйниченко умер от ран, полученных еще в первую германскую, а два ее сына воевали на фронте. Всякое повидала она на своем веку, но чтобы свои надели немецкую форму – это она видела впервые.

– Да, гад я, сам понимаю, что гад. Но я не предатель, мамаша. И большинство наших не предатели. Не по своей воле надели мы эти шинели. Да и стрелять в своих никто не собирается. Слышали мы, что у вас в деревне были партизаны. Может, подскажешь нам, мамаша, как связаться с ними?

Женщина с минуту внимательно разглядывала вошедшего. Потом отрезала:

– Не знаю я никаких партизан...

– Да ты не смотри, что мы в форме. Мы и сами рады бы скинуть ее, да не знаем, как это сделать...

– Как сумели надеть, так и сымайте...

И хозяйка, повернувшись спиной, снова загремела ухватом.

Когда Жуков ушел, из-за печи вылезла спрятавшаяся там восемнадцатилетняя дочь хозяйки Нина. Перед войной она закончила десятилетку, была комсомолкой. Партизаны оставили девушку в деревне связной.

– Может, мамо, и вправду не врет он?

– Да ведь кто их разберет, доченька. Кто раз пошел на предательство, от того всего можно ожидать...

– Нет, мамо, похоже, эти и в самом деле не хотят воевать против своих. Надо известить командира отряда...

В жарко натопленной штабной землянке Первой витебской партизанской бригады душно, накурено. Собравшиеся на совещание командиры и комиссары партизанских отрядов, побросав в кучу отсыревшие за дни и ночи непрерывных боев ватники и полушубки, сгрудились над длинным дощатым столом. Прибыли представители и из соседних бригад. В

тусклом свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы, с трудом угадывались усталые, обросшие лица. Докладывал начальник разведки бирюлинской бригады Яков Ефимович Анащенко.

Три дня назад на помощь немецкой дивизии, ведущей карательную экспедицию против витебских партизан, прибыло свежее пополнение. Партизанская разведка уточнила, что это 825-й батальон легиона «Идель-Урал». В составе батальона свыше тысячи солдат, хорошо вооруженных и специально обученных для борьбы с партизанами. На всех командных должностях, в штабе и в отделе разведки – немцы. Их около ста человек.

Половина батальона расположилась в деревне Сеньково, в двенадцати километрах к северу от Витебска. Остальные остановились в деревнях Гралево и Сувары. Как сообщили партизанские связные, прибывшие неохотно подчинялись приказам немецкого командования. По отношению к местному населению никаких зверств не замечено. Наоборот, с первого же дня наблюдались попытки установить контакт с партизанами.

Анащенко рассказал, что военврач батальона Жуков не раз бывал в доме партизанской связной Буйниченко. Посоветовавшись с командиром отряда Сысоевым, она предложила ему выделить для переговоров с партизанами четырех парламентаров. Вместо пароля Нина дала им свою красную косынку.

Парламентаров в условленном месте встретила партизанская засада. Они рассказали, что действуют по заданию подпольной организации, созданной еще на месте формирования батальона в местечке Едлино. Во главе этой организации, по их словам, стоит какой-то татарский поэт, оставшийся в Германии. Парламентары заявили, что не позднее этой ночи батальон должен перейти к партизанам, иначе завтра будет поздно.

После доклада Анащенко в землянке воцарилось молчание.

– Да, – задумчиво сказал командир бригады Бирюлин, поигрывая карандашом. – А вдруг это троянский конь?

– Пусти козла в огород... – поддержал его кто-то.

Все понимали, насколько это рискованно: пустить в тыл столь крупное воинское соединение. Судя по всему, на этот раз фашисты решили одним ударом покончить с Витебским партизанским районом. С фронта отозваны отборные воинские части. За неделю кровопролитных боев немцам удалось окружить партизан с трех сторон и захватить их в клещи, готовые вот-вот сомкнуться. Начало завершающего этапа операции назначено на ближайшие дни. А вдруг фашисты задумали провокацию?

– Что привлекает – так это боеприпасы, – бросил реплику командир первого отряда Сысоев. – Тут каждый патрон на счету, дрожишь над каждым снарядом, а у них с собой целый обоз боеприпасов...

– А может, согласимся для виду принять их, выберем удобное место и... ликвидируем – предложил кто-то. – Все равно предатели...

Но это предложение отвергли. Михаил Федорович Бирюлин подчеркнул, что легионеры, по имеющимся данным, в боях участия не принимали. А если им отказать в переходе к партизанам, у них не останется иного выхода, кроме как воевать на стороне немцев.

– Мы должны принять необходимые меры предосторожности, быть начеку, но мы не можем забывать и того, что удачный исход этой операции сразу изменит соотношение сил в нашу пользу.

Бирюлина поддержали и представители соседних бригад.

Пригласили парламентаров и договорились об условиях перехода. Первое и самое главное условие – перебить немецких офицеров, убрать предателей и уничтожить немецкие гарнизоны, расположенные в деревнях Сеньково, Гралево и Сувары. Второе – переходить к партизанам не всем сразу, а тремя группами, погарнизонно. И третье – вывезти с собой все орудия, минометы, пулеметы и обоз с боеприпасами и сразу же после перехода сдать оружие.

Для большей безопасности батальон решили расформировать, а людей распределить между партизанскими бригадами. Место для перехода выбрали на высоком западном берегу Двины, где удобно было замаскировать пулеметные расчеты, а переходящие, в случае провокации, оказались бы на открытом льду реки как на ладони.

Парламентары приняли все условия. Совместно с ними штаб бригады тщательно разработал план операции. Начало вооруженного выступления батальона было назначено на

полночь 22 февраля 1943 года. Сигнал к восстанию – взрыв немецкого штаба в Сенькове. После уничтожения немецкого гарнизона восставшие выпускают три сигнальные ракеты. Это будет означать: «Задание выполнено, к переходу готовы». Затем батальон движется к Двине. Выйдя на берег, восставшие подают сигнал карманным фонариком – сначала белый свет, потом красный и зеленый. Это будет означать: начинаем переход через реку. Встречайте.

Двух парламентаров партизаны оставили у себя заложниками, двух других проводили обратно в Сеньково.

Комиссар первого партизанского отряда Исаак Георгиевич Григорьев раздвинул заснеженные лапы сосны и долго вглядывался в белесую мглу. Слегка вьюжило. Где-то за низкими неплотными тучами светила луна, и в ее зыбком свете еле угадывался противоположный берег. Григорьев с беспокойством посмотрел на часы. Уже пятнадцать минут первого. А со стороны Сенькова не доносится ни звука, незаметно никакого движения.

Подошел командир отряда Сысоев:

– Наши наблюдатели на подступах к Сенькову передают, что в назначенный час выступление не началось.

Григорьев молча кивнул.

– Ребята третий час лежат в снегу, замерзли, – продолжал Сысоев. – А завтра утром – в бой.

– Надо ждать, – коротко бросил Григорьев, не отрывая глаз от противоположного берега.

Он явно не был расположен разговаривать.

– Я велел усилить наблюдение за тылом и флангами, выдвинул туда несколько пулеметов, – продолжал Сысоев. – Не нравится мне что-то эта задержка.

Не дождавшись ответа, он немного потоптался на месте и ушел.

Григорьев, на которого была возложена ответственность за проведение операции, перебирал все возможные варианты. Неужели обманули? Григорьев вспомнил, как один из парламентаров по фамилия Фахрутдинов, невысокий, скуластый, черноволосый, с мягким акцентом говорил: «Наша Родина – здесь, наша мать – здесь, наше сердце – здесь, как мы можем быть с немцами?»

Нет, обмана быть не должно!

Вдруг со стороны Сенькова донеслись глухие взрывы. Григорьев даже вздрогнул от неожиданности, хотя давно с нетерпением ждал этой минуты. Над деревней вспыхнуло зарево. Затрещали автоматные очереди.

Подбежал связной:

– Началось, товарищ комиссар! Штаб в Сенькове взорван!

Перестрелка все усиливалась и скоро перешла в сплошной гул. Минут через десять – пятнадцать все стихло. Только на северной окраине деревни некоторое время еще раздавались одиночные хлопки. А затем в центре села в воздух взлетели три сигнальные ракеты.

Через полчаса на том берегу зашевелились тени, заморгал условный сигнал: белый, красный, зеленый. Григорьев начал спускаться по крутому откосу. Сысоев на минуту задержал его.

– Может, кого другого пошлем, Исаак? Все-таки комиссар у нас один...

– С парламентарями я вел переговоры. Они знают меня в лицо, а я – их. Не волнуйся, все будет в порядке.

На середине реки ветер задувал сильнее. Григорьев еще издали заметил идущую ему навстречу цепочку людей в серо-зеленых бушлатах, вооруженных автоматами. Ездовые осторожно спускали по крутому откосу упирающихся лошадей, запряженных в тяжело груженные сани. Другие на руках катили орудия по глубокому снегу. Когда до цепочки осталось несколько шагов, Григорьев узнал идущего первым Фахрутдинова. Шел он как-то странно – пошатываясь, припадая на одну ногу. Фахрутдинов тоже узнал Григорьева и, не доходя двух шагов, остановился:

– Товарищ комиссар партизанского отряда! Задание выполнено. Немецкий штаб в Сенькове взорван. Гарнизон уничтожен.

Он вдруг покачнулся и осел в снег. Григорьев кинулся к нему:

– Что с тобой?

– Я ранен, товарищ комиссар, – с трудом проговорил Фахрутдинов. – Принимайте людей...

Все они... с чистым сердцем...

Встреча с партизанами произошла на берегу. По знаку Григорьева они вышли навстречу. Что тут началось! Объятия, слезы. Легионеры бросали оружие в стоявшие у берега сани, срывали с себя фашистские погоны, целовали мерзлую землю на откосе. Сам собой возник митинг. Григорьев, встав на пенек, поздравил бывших легионеров с успехом операции. Он сказал, что теперь они на своей земле – земле, которая не покорилась фашистам и никогда не покорится. Выступавшие легионеры клялись отомстить за муки и страдания, которые они перенесли в фашистском плену, за кровь товарищей, слезы матерей. Один из выступавших прочел какие-то стихи на татарском языке. Партизаны ничего не поняли, но им объяснили, что это хорошие, патриотические стихи. Их написал оказавшийся в плену известный татарский поэт.

Позднее командир бригады устроил Григорьеву разнос за этот стихийный митинг.

– А если бы немцы пошли вдогонку? Несколько залпов из миномета – и от вас осталось бы мокрое место. Надо знать, где митинговать и когда!

– Понимаете, Михаил Федорович, – оправдывался Григорьев, – у людей было такое настроение... Они ж действительно к нам с открытым сердцем... Если бы вы там были, тоже бы не удержались, сказали несколько слов... Ну, а наблюдатели и пулеметные расчеты оставались на своих местах, так что случайностей быть не могло...

Для гостей в партизанской столовой устроили товарищеский ужин. Партизаны постарались на совесть. Спирту, правда, раздобыть не удалось, но зато на столе были наваристые щи, пахучие ломти ржаного домашнего хлеба, свежая баранина. В столовой светило электричество – в освобожденном от немцев районе работала своя электростанция. Гостям раздали небольшие, размером с тетрадный листок, номера только что вышедшей партизанской газеты «За Родину». Ее печатали в лесу, в походной типографии. По рукам пошли и свежие номера «Правды», доставленные самолетами. Гости с жадностью накинулись на газеты – сколько лет они их не читали!

А на рассвете, разбившись по отрядам, «гости» уже отбивали натиск карателей.

В ту же ночь перешла к партизанам и остальная часть батальона, расположенная в деревнях Сувары и Гралево...

Всего из фашистской неволи вырвалось более 800 человек, которые принесли с собой до тысячи винтовок, автоматов и пистолетов, двенадцать станковых и более ста ручных пулеметов, доставили несколько орудий и минометов, грузовую автомашину и двадцать шесть подвод с боеприпасами, амуницией и продовольствием.

Выяснилась и причина задержки с выступлением батальона.

После возвращения парламентариев подпольщики провели заседание. Распределили обязанности, наметили, кто оповещает подразделения, ликвидирует связь с Витебском, окружает и забрасывает гранатами штаб. Договорились, кого из немецких ставленников и предателей следует «убрать» до начала выступления. Но среди легионеров оказался провокатор (предполагали, что это Худояров, личный шофер командира батальона). Когда до начала выступления оставалось несколько часов, немцы арестовали руководителей подпольной организации – военврача Григория Жукова (настоящая фамилия его, как выяснилось впоследствии, Григорий Волков), батальонного адъютанта Рашида Таджиева, начальника хозяйственной части батальона Рахимова и других.

Арестованных после короткого допроса отправили в тыл. После жестоких пыток всех их расстреляли на Юрьевой горке в Витебске.

Но гитлеровцы не учли, что сеть подпольной организации была достаточно разветвленной. После ареста руководителей инициативу взял в свои руки один из членов подпольного комитета Хусаин Мухаметов.

Арест руководителей подполья задержал начало выступления, но не смог предотвратить его. Патриоты начали восстание раньше, чем подоспели вызванные из Витебска немецкие части. На следующий день на улицах деревни подобрали семьдесят четыре трупа немецких солдат и офицеров. Командиру батальона майору Цеку удалось уйти от возмездия. Его увез на машине предатель Худояров.

Если о переходе 825-го батальона удалось узнать немало, то о деятельности подпольной организации, особенно о ее связи с руководящим центром в Берлине и Вустрау, известны пока

лишь скудные, отрывочные сведения.

– Татары много рассказывали мне о работе своей подпольной группы, – вспоминает Бирюлин. – Говорили, что они готовились к предстоящему восстанию еще в Едлине и сами просили, чтобы их направили на Восточный фронт. У них там дело поставлено было основательно. Среди пленных распространялись листовки с призывом повернуть оружие против фашистов. Лагерная самодеятельность устраивала вечера для военнопленных, где исполнялись народные песни, читались стихи. Причем делалось все так, чтобы не вызвать подозрений у немцев. Даже молитвы использовались для антигитлеровской пропаганды. Об этом мне рассказывал бывший мулла батальона; фамилии его я не помню. Он говорил, что руководство осуществлял какой-то поэт, назвал его имя. Но в то время имя это мне ни о чем не говорило. Лишь спустя несколько лет, когда в печати появилось имя Мусы Джалиля, я понял, что речь шла о нем.

Нина Федоровна Буйниченко (позднее она жила в одном из городов Прибалтики) также припоминает, что Григорий Жуков рассказывал ей о связи с берлинским подпольем и о поэте Мусе Джалиле, осуществлявшем общее руководство сетью подпольной организации.

Поиски в трофейных немецких архивах полностью подтвердили рассказы участников перехода. Удалось найти ряд донесений отдела один-це Волго-татарского легиона, свидетельствующих о подпольной антифашистской деятельности в батальоне. В одном из них говорится, что в ночь на 5 декабря 1942 года патрульные задержали «на месте преступления» 20 легионеров из первого батальона, расклеивавших написанные от руки листовки. Содержание листовок не приводится. Говорится только, что они имели «пробольшевистский характер» и были выпущены в честь Дня Советской Конституции.

В другом донесении упоминается о «превентивных мерах», проведенных накануне отправки батальона на Восточный фронт: по доносу провокатора арестовали несколько «ненадежных легионеров», возможно, имевших какое-то отношение к подпольной организации. Дальнейшие события показали, что гитлеровцы явно недооценили патриотические настроения военнопленных и силу подпольной организации.

Переход батальона оказал заметное влияние на ход событий в лесах Витебщины. Вместе с татарским батальоном фашисты двинули против партизан и несколько соединений, сформированных из донских казаков, но после восстания в первом батальоне, испугавшись новых эксцессов, спешно отозвали их обратно.

Широко задуманная февральская кампания «по полному уничтожению витебских партизан» закончилась провалом. Потеряв на одном только участке бригады Бирюлина 880 убитых и свыше тысячи раненых, немцы вынуждены были уйти ни с чем.

Бывшие легионеры сражались бок о бок с белорусскими партизанами вплоть до подхода советских войск. Многие сложили головы в белорусских лесах. Немало раненых вывезли на самолетах на Большую землю. Оставшиеся в живых влились в состав регулярных частей Советской Армии, чтобы с оружием в руках гнать фашистов с родной земли.

ВСТРЕЧА С РОЗЕНБЕРГОМ

В фильме «Моабитская тетрадь» есть такой эпизод:

Мусу Джалиля прямо из лагеря для военнопленных вызывают в кабинет рейхсминистра оккупированных территорий Востока Альфреда Розенберга. Лицом к лицу встречаются матерый фашист и советский поэт... Что и говорить, сцена эта очень выигрышна в кинематографическом плане. Но насколько она соответствует действительности?

В самом деле, в ряде монографий (например, в книге Ю. Королькова «Через сорок смертей», исследовании Гази Кашшафа «Муса Джалиль» и др.) говорится о подобной встрече. Авторы этих книг, основываясь на слухах, которые были широко распространены среди пленных, подробно излагают даже то, о чем они говорили. Но не являются ли эти слухи обычной легендой?

Знакомство с порядками в Восточном министерстве Розенберга убеждает, что бюрократическая субординация соблюдалась здесь очень строго. Так, шеф Татарского комитета адвокат Унгляубе нередко не мог попасть на прием даже к своему непосредственному начальнику профессору фон Менде. А уж к Розенбергу имели доступ

только самые высокопоставленные чиновники или, на худой конец, кандидаты в «президенты» или «главы правительств» будущих «независимых» государств. А Джалиль, как мы знаем, был рядовым работником Татарского комитета и в этом отношении особого интереса для Розенберга не представлял. Вот почему я не включил этот эпизод в первое издание своей книги.

Но попытки как-то прояснить этот момент предпринимал неоднократно. Прежде всего я еще раз встретился или списался со всеми, кто рассказывал об этом эпизоде. Свидетельства были очень разноречивыми, что еще больше укрепило мои сомнения. Все ссылались на рассказ какой-то переводчицы-татарки, присутствовавшей во время приема, но никто из тех, кого мне удалось разыскать, не видел ее и не говорил с ней. Все пользовались сведениями из вторых и третьих рук.

Что же это за переводчица?

Отбрасывая все недостоверное, отвергая позднейшие домыслы и предположения, я стал, как сквозь сито, просеивать факты о ней. Выяснилось, что это была жена одного видного татарского деятеля, приехавшего в Германию, кажется, из Турции, врач по образованию. Окружающие называли ее «доктор-ханум». Работала она в министерстве пропаганды кем-то вроде цензора передач на татарском языке.

Действительно, в министерстве пропаганды Геббельса была сотрудница-татарка по имени Шамсия Идриси. В особо ответственных случаях ее приглашали в качестве переводчицы. Но что с ней стало после войны? Где она может быть? Жива ли сейчас? Эти вопросы долгие годы оставались без ответа.

Шамсию Идриси удалось разыскать лишь в сентябре 1972 года. Но тут выяснилось, что Шамсия тяжело больна и ни о каком свидании с нею не может быть и речи. Только что найденная нить поиска снова оборвалась...

Но ведь каждая задача имеет несколько решений. Знакомясь с архивными материалами о лагере Вустрау, я встретил упоминание, что лагерь неоднократно посещал Альфред Розенберг. В частности, рейхсминистр посетил Вустрау в конце февраля 1943 года, именно в те дни, когда там находился Муса Джалиль. Если учесть, что лагерь Вустрау был небольшим и Розенберг имел обыкновение лично беседовать с теми, кого отбирали для работы в Германии и на оккупированных территориях, то такая встреча становится вполне вероятной.

Пока это было не больше чем предположение, но путь поиска был уже намечен. Я принялся разыскивать и спрашивать тех, кто прошел когда-то через этот лагерь. В конце концов удалось найти прямое подтверждение тому, что встреча Джалиля с Розенбергом состоялась именно в лагере Вустрау.

Зиннур Мухаммадеев попал в закрытый лагерь Вустрау в самом конце 1942 или начале 1943 года. Он оказался в одной секции с Джалилем. Здесь же были детский писатель Абдулла Алиш и инженер Фуат Булатов, но Мухаммадеев не был с ними близко знаком. Вот показания З. Мухаммадеева, записанные в 1945 году:

«На уроках немецкого языка нам давали немного бумаги. Муса сшил себе тетрадку и записывал стихи. Иногда по вечерам он читал их пленным. Должен сказать, что эти стихотворения были патриотическими по своему содержанию. И в разговорах среди нас, военнопленных-татар, в частности в моем присутствии, Муса Джалиль высказывал суждения о неизбежности поражения фашистской Германии».

По словам З. Мухаммадеева, где-то в последних числах февраля 1943 года в лагере начались лихорадочные приготовления: ремонтировали и подкрашивали бараки, дорожки посыпали свежим песком, белили кирпичные строения.

Тем, кто был в лохмотьях, выдали трофейное французское обмундирование: ядовито-желтый берет, такие же желтые брюки и кожаные светло-желтые ботинки вместо деревянных колодок. Ночью устроили внезапный обыск. Во время обыска немецкий часовой наткнулся на блокнот Джалиля, спрятанный в железной печке, и тут же сжег его.

На следующее утро (З. Мухаммадееву запомнилось это тихое ясное утро, когда по-весеннему пригревало солнце и пахло тополиными почками) к лагерю подкатило несколько сверкающих черным лаком лимузинов. Из одной машины вышел высокий человек в

генеральской шинели с шелковыми отворотами. У него было надменное лицо арийца и серые студенистые глаза. Это был Альфред Розенберг. Его сопровождала многочисленная свита. Розенберг прошел по лагерю, заглянул в бараки и классные комнаты. Затем к нему по одному стали вызывать военнопленных. Вызвали и Джалиля. О содержании разговора Мухаммадеев ничего не знает, так как вскоре они с Мусой расстались. Поэта перевели в открытый лагерь, а затем увезли в Берлин.

Таким образом, рассказ переводчицы имел вполне реальную основу. Кстати, для чего понадобилась переводчица? Ведь Розенберг отлично говорил по-русски, к тому же Муса неплохо изъяснялся по-немецки. Очевидно, это был своего рода заранее продуманный психологический трюк: вот, мол, Розенберг пожелал говорить с татарским поэтом на его родном языке. Это ли не радетель о судьбах наций!

Еще одно обстоятельство. Со слов пленных, ссылающихся на ту же переводчицу, мы знаем, что Розенберг заранее, еще в Берлине, приготовился к встрече с поэтом. Профессор-тюрколог фон Менде подобрал книги Джалиля и материалы о нем вплоть до вырезок из центральных и местных газет. Можно себе представить, как был взволнован поэт, увидев на столе Розенберга, впервые после многомесячного скитания по лагерям, сборники своих стихов! Но желаемого эффекта Розенбергу добиться не удалось. Джалиль держался с достоинством, отвечал дерзко, даже вызывающе. Розенберг предложил Джалилю пост ответственного редактора газеты «Идель-Урал». Муса отказался. По словам переводчицы, она ожидала, что Розенберг, взбешенный отказом, распорядится отправить поэта в концлагерь. Но рейхсминистр, очевидно, решил проявить терпимость, даже отпустил какую-то шутку об упрямстве поэтов, далеких от понимания земных дел.

Может быть, где-нибудь в архивах Восточного министерства еще удастся обнаружить протокольную запись этой беседы.

Какие-то отголоски этой встречи слышатся в стихотворении Джалиля «Волки», написанном в марте 1943 года. Муса проводит параллель между волками и двуногими хищниками. Матерый волк, вожак волчьей стаи, опьяненный запахом крови, наткнулся на поле боя на раненого советского бойца. Остановился, обнюхал его, но не причинил никакого вреда. А люди...

Люди в тело загнали сперва
Раскаленные шомпола,
А потом на березе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла.

Джалиль ни разу не употребляет слова «фашисты», но ясно, что речь идет именно о них. В стихотворении разоблачается звериная сущность фашизма:

Что там волки! Ужасней и злей –
Стая хищных двуногих зверей.

ЧТО ЖЕ ДВИГАЛО ДЖАЛИЛЕМ?

Со дня героической гибели Мусы Джалиля и его боевых товарищей прошло более полувека. Но какие-то новые факты, свидетельства продолжают обнаруживаться до сих пор.

Одним из таких документов являются воспоминания Шигаба Нигмати, которого на родине знали как Шигабутдина Нигматуллоевича Нигматуллина, а на Западе – как турецкого подданного Акзама Юсуф оглы.

Что нам известно об авторе?

Ш. Нигмати родился в декабре 1913 года в деревне Речник Омской области. Работал учителем в родных краях, затем служил в рядах Советской Армии, дослужился до звания младшего командира (т.е. младшего лейтенанта). С первых дней Отечественной войны участвовал в боях с захватчиками в качестве командира стрелкового взвода.

4 ноября 1941 года во время тяжелых боев под Волховом попал в плен. В этом его судьба мало чем отличается от судьбы миллионов советских военнопленных. (К концу 1941 г., по неполным данным, их было около трех с половиной миллионов.) Отличие разве что в том, что большинство исчезло бесследно, подобно брошенному в воду камню. Что же касается Ш.

Нигмати, то мы благодаря трофейным документам из немецких военных архивов имеем возможность проследить его судьбу довольно подробно.

Сохранился протокол первого допроса военнопленного Ш. Нигматуллина (впервые документ был опубликован в газете «Советская Татария», 1971, 8 окт.). Судя по нему, Нигмати заявил, что сдался в плен добровольно, «по политическим мотивам», и что он, если ему поверят, готов быть «верным слугой» нового порядка. Любопытно, что военнопленный сознательно искажал некоторые факты своей биографии. Так, он приписывал себе высшее образование (однако до войны он в вузах вообще не учился), ответил, что работал директором школы (хотя был рядовым учителем), имел воинское звание «старший лейтенант». Мелкие неточности? Или стремление как-то набить себе цену, обрести дополнительный вес в глазах новых хозяев?

Поначалу немецкое командование не придавало особого значения ни этим «высоким качествам», ни явному желанию военнопленного верой и правдой служить рейху. Его направляют в обычный лагерь для советских военнопленных, где люди ежедневно сотнями и тысячами гибли от голода, тифа, дизентерии, других заразных болезней. И только в начале 1942 года, после сокрушительного поражения под Москвой, когда стало ясно, что блицкриг не удался, фашистские вербовщики начинают искать среди военнопленных тех, кого можно было использовать в интересах рейха.

Так, Ш. Нигмати попадает сначала в специальный лагерь для высших офицеров Офлаг-3, а оттуда – в лагерь Вустрау, находившийся в 60 километрах южнее Берлина. В трофейном досье на Ш. Нигмати говорится, что это произошло 11 сентября 1942 года и что к этому времени ему выдали гражданский паспорт с пометкой «вне подданства», дающий право свободного передвижения по всей Германии (протокол № 337). Так что Ш. Нигмати, в отличие от М. Джалиля, Р. Саттара и других, приезжает в Вустрау не в качестве рядового военнопленного, а в качестве руководителя татарской группы, получавшего за свою службу определенную плату от немецкого Восточного министерства.

После Вустрау Ш. Нигмати переезжает в Берлин, работает в так называемом Татарском посредничестве (Татарише Миттельштелле), который сами его работники предпочитали громко именовать «Комитетом Идель-Урал». Он считался заместителем одного из руководящих работников Комитета Гарифа Султана. Выступал в газете «Идель-Урал» с пропагандистскими статьями, здесь же печатал и свои стихи. Редактировал журнал «Корреспонденция», издававшийся в Берлине на татарском и немецком языках. Выступал с лекциями перед татарскими легионерами и военнопленными.

Один из высших чинов СС Райнер Ольцша, взятый в плен нашими войсками, называет Шигаба Нигмати в числе особо доверенных лиц из татарских перебежчиков, заслуживших особое расположение вермахта. «Он должен был стать редактором татарского издания газеты для восточно-тюркских соединений при главном управлении СС и получил звание оберштурмфюрера».

Итак, Ш. Нигмати, который в своих воспоминаниях пишет, что еще в лагере Офлаг-3 отказался от службы в рядах вермахта, на самом деле имел звание оберштурмфюрера СС (что примерно соответствует званию старшего лейтенанта КГБ), носил эсэсовский мундир и входил в так называемые восточно-тюркские соединения войск СС. Гитлеровское командование создало их в 1944 году из особо доверенных лиц восточных национальностей (узбеков, казахов, киргизов, татар и др.), когда легионы окончательно доказали свою небоеспособность. Именно эти соединения, в частности, потопили в крови Варшавское восстание.

О непосредственном участии Ш. Нигмати в боевых действиях нам ничего не известно. Но, думается, вовсе не случайно, что сразу после войны он сменил не только имя и фамилию, но и подданство и постарался избежать репатриации на Родину (хотя там оставались его жена и трое детей).

В послевоенной Германии жизнь Ш. Нигмати поначалу складывалась не очень гладко. В свое время, 6 ноября 1971 года, газета «Советская Башкирия» писала, что он несколько раз привлекался западногерманским судом за уголовные преступления. В 1948 году – за мошенничество (подделывал продовольственные карточки и спекулировал ими на «черном» рынке). В 1951 году – за подлог (его задержали при попытке реализовать крупную партию

фальшивых западногерманских марок). Хотя ему грозили немалые сроки тюремного заключения, оба раза его выручал немецкий профессор-тюрколог фон Менде, в свое время ведавший делами Татарского посредничества и лично знавший Ш. Нигмати.

Только много позднее, когда при содействии того же фон Менде Ш. Нигмати стал работать на радиостанции «Азатлык», его положение несколько упрочилось. Он смог издать в Мюнхене даже книжку собственных стихов на татарском языке. (Об этой книжке в свое время уже писалось в печати нашей республики. Отзывы, конечно, были самые нелестные. Но даже если отрешиться от идеологических штампов, эти оценки вряд ли изменятся, поскольку стихи действительно были очень слабыми, корявыми, лишенными таланта. В связи с этим у меня возникло даже подозрение: не является ли явно предвзятое, недоброжелательное отношение к Джалилю проявлением элементарной зависти, что нередко бывает у бездарных поэтов по отношению к более удачливым коллегам?)

Естественно, может возникнуть вопрос: стоит ли публиковать воспоминания такого человека?

В застойные времена ответ был бы безусловно отрицательным. Но сегодня, слава богу, мы уже не боимся «идеологической ереси». Не боимся и взгляда «с другой стороны», позволяющего зачастую более объемно, выпукло представить истину. Да, воспоминания Ш. Нигмати – это взгляд человека, изменившего Родине и сознательно перешедшего на службу к гитлеровцам. Понятно, что ему было нечего опасаться, и он мог сколь душе угодно рассуждать о «благах нации» и о «происках большевиков». Именно на этом строилась гитлеровская пропаганда среди малых народов в годы войны.

А вот М. Джалилю было чего опасаться. Он вынужден был скрывать свои подлинные мысли. Нет, это была не трусость, как пишет Ш. Нигмати, а элементарная осторожность. Хотя в словах Рахима Саттара есть немалая доля истины, поэт не мог с первой же встречи раскрыться перед едва знакомым человеком. (Вспомним, что Муса и узнал-то Р. Саттара с трудом, не сразу.)

Ш. Нигмати не может примириться с мыслью, что Джалилем и его товарищами двигали высокие побуждения: любовь к Родине, чувство патриотизма, верность воинской клятве. Именно поэтому, вероятно, ему и не понравилась моя книга «По следам поэта-героя». Правда, он не приводит ни одного конкретного факта или довода, опровергающего мою концепцию, поэтому и спорить тут не о чем.

И все же воспоминания Ш. Нигмати, как и любого человека, так или иначе сталкивавшегося с М. Джалилем, особенно в немецком тылу, проливают некоторый свет на судьбу поэта и его товарищей.

Да, прошлое нельзя упрощать, как нельзя искусственно выпрямлять творческую судьбу поэта. Джалиль любил свою Родину, хотя не мог принимать и одобрять все, что происходило в тридцатые годы. Он верил в коммунистические идеалы, но видел и оборотные стороны «реального социализма», понимаемые им лишь как «издержки», «ошибки» и «перегибы». Воспоминания Ш. Нигмати дают возможность представить всю сложность и противоречивость чувств поэта, оказавшегося на стыке двух тоталитарных систем – фашизма и социализма. Но они не позволяют зачеркнуть все то светлое, героическое, что связано с этим образом в сознании нашего народа. Джалиль как был поэтом-героем, поэтом-патриотом, который мужественно принял смерть от рук фашистских палачей, так им и остался. Мы можем пересмотреть некоторые оценки, по-новому осмыслить иные высказывания, но по-прежнему преклоняемся перед подвигом Мусы Джалиля и его друзей в фашистском плену.

Далее приводятся воспоминания Ш. Нигмати о встречах с Мусой Джалилем, присланные им в 1991 году в редакцию журнала «Татарстан».

О Мусе Джалиле

Мои настоящие имя и фамилия – Шигаб Нигмати (Шигабутдин Нигматуллин). После Великой Отечественной войны остался в Германии и во избежание насильственной депортации принял имя Акзама Юсуфа оглы.

В 1941 году миллионы советских военнослужащих попали в германский плен. В январе 1942 года меня перевели из одного из лагерей на территории СССР в лагерь офицеров

ОФЛАГ-3, что неподалеку от Берлина в городе Луккенвальд. Питание, условия жизни и вообще обхождение с нами в этом лагере были неплохими, и мы, до этого испытывавшие крайнюю нужду, голод, болезни, наблюдавшие повальные смерти, не могли не удивляться этому. Когда я очутился в этом лагере, там было около ста человек, некоторые из них убывали, некоторые прибывали. Меня поместили в комнату вместе с русским майором. Генералы жили в бараке за лагерем, окруженном колючей проволокой. Среди них также был один полковник-татарин, и поэтому я часто заходил в «привилегированный» барак, благо, что у нашего лагеря, несмотря на его колючую проволоку, не было охраны.

Однажды меня вызвали в бюро. Оказалось, что из Берлина прибыла какая-то комиссия. Один из ее членов разговаривал по-русски. Мне сказали, чтобы я приготовился отвечать на некоторые вопросы, и просили не бояться, а говорить, что думаю. Меня спросили: «Хотели бы вы пойти на службу офицером в Татаро-башкирский легион?» Я об этом еще не слышал, порасспрашивал других и ответил, что не хочу. «Что ж, это ваше дело», – сказали мне и определили как годного на гражданскую службу. Кажется, в июне 1942 года (точно не помню), мне вручили справку, железнодорожный билет и отправили в Вустрау, в специальный лагерь Восточного министерства. Там меня встретил молодой человек в гражданской одежде, с виду немец, и проводил в барак, где меня ожидала комната. В этом бараке жили татары и башкиры. Человеком, встретившим меня, оказался татарин, пленный инженер Гумер Исмагилов. Часть Вустрауского лагеря была «закрытой», то есть охраняемой, другая часть – «открытой», то есть свободной.

Гумер Исмагилов руководил татаро-башкирскими группами обеих частей лагеря. На другой день он повел меня в «открытый» лагерь, где жил сам и находилось бюро, и записал меня переводчиком и «старшим» в татаро-башкирской группе «закрытого» лагеря. После этого меня вызвал начальник лагеря – немец по имени Френцель. Он хорошо говорил по-русски: в детстве он с родителями эмигрировал из Российской империи. Френцель оказался хорошим человеком, он по возможности помогал каждому. Он даже не боялся записывать прибывавших в лагерь евреев то грузинами, то армянами, то татарами и подыскивал для них сносную работу.

Кажется, в январе 1943 года начальник бюро «закрытого» лагеря сообщил мне, что прибыл еще один татарин. На вопрос: «Почему его не привели сюда?» – начальник ответил, что его поместили вместе с другими, вновь прибывшими. В комнате находились трое: русский полковник, чуваш в звании капитана и некий Гумеров. Немного посидев с ними, я повел Гумерова в татарский барак. Едва я познакомил ребят с новичком, как Рахим Саттаров вскочил с кровати и воскликнул: «Муса!», обнялся и поцеловался с Гумеровым. Муса сначала не узнал его, но потом вспомнил.

Ребята угостили Мусу тем, что у них было. Весь вечер прошел за разговорами о событиях и жизни в плену.

На другой день Муса снова пришел к нам. Саттар не преминул подчеркнуть, что пишет стихи. Более того, и на меня указал, говоря: «Он тоже поэт». В ответ я сказал, что по роду занятий я вовсе не поэт, а так, любитель. На что Саттар резонно заметил: «Ну, и хорошо, что так, ведь тебя все равно не посчитают поэтом, если не назовешь нашу дрянную жизнь цветущей и не похвалишь партию и Сталина... Писать правду самоубийственно, ее бы нигде не опубликовали».

После этой тирады Саттар перевел взгляд на Мусу и взволнованно продолжил: «Погубили же классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова, расправились же с такими талантами и правдолюбцами, как Хасан Туфан! Дважды меняли наш алфавит, нанеся тем самым непоправимый урон литературе, но и на этом не остановились, преследовали, травили, уничтожали писателей, разрушили нашу культуру. А вы, татарские активисты, служили орудием для совершения этого преступления...»

Остальные поддержали Саттара: «Да, мы знаем чьих это рук дело. Вы, подручные, стали оружием режима».

Муса растерялся, не зная, что сказать, и потом, оправдываясь, проронил: «Я тут ни при чем, я приехал в Казань после смерти Галимджана Ибрагимова».

Саттар спросил в лоб: «Почему ты говоришь «после смерти», а не «после того, как его убили»?»

Муса ответил: «Но он же болел, я думаю, он умер от болезни в тюрьме, больше ничего не знаю».

Саттар посмотрел ему в глаза: «Ты ведь знаешь, в чем его обвиняли... Хотя ты жил в Москве, но был хорошо знаком с жизнью татарской писательской организации, тебя ведь в председатели Союза писателей Татарии не татары выбирали, а Москва назначила».

Муса проронил: «Я знаю лишь, что Галимджана Ибрагимова обвинили в буржуазном национализме, и это правда».

После обеда по просьбе Мусы я повел его в деревню. Зашли в сельское кафе. И тут Муса сказал: «Знаешь, я хочу тебе сказать, что Саттар кое в чем прав».

– Почему же ты этого ему самому не сказал? – удивился я.

– Там... разные люди были. Да и Саттарову я не совсем доверяю – слишком горячий, – сказал Муса.

– Но ведь все они татары, – возразил я. – Кому и что они будут говорить? Немцам? Думаешь, немцев интересует наше прошлое? Больно нужно им это... У нас нет ни с кем связи. Хочешь и мне ничего не говори, меня не интересуют ваши казанские дела.

– Нет, – поспешил поправиться Муса, – я хочу сказать, что в этом деле за мной вины нет. Я знаю лишь, что Галимджана Ибрагимова обвинили в буржуазном национализме за активное участие в уфимском Милли меджлисе, в объявлении штата Идель-Урал, за сопротивление переходу на яналиф (латинский алфавит – *Ред.*) и за то, что ратовал за сохранение старой интеллигенции.

Тогда-то я понял, что Муса – боязливый, трусливый человек, не способный на большие свершения. И я сказал ему: «Ты меня не бойся... Да, я – националист. Много наших прекрасных людей принесли себя в жертву интересам своей нации, своего народа, у которого такая трагическая история. Возможно, что и я, пусть и не такая уж величина, стану скромной жертвой, лишь бы это пошло на пользу народу».

Выслушав меня, Муса рассказал одну историю:

«Поехал я как-то по делам в Москву. Зашел к Фадееву. Там один русский, поздоровавшись, спросил: «Ну, как там татары? Конину едят?» На что Фадеев вдруг быстро среагировал и сказал: «Татары сейчас конину не едят, они друг друга едят, а вот их ножи для разделки», – и он кивнул на груды писем-доносов, лежавших у него на столе... После я понял, что это были доносы на меня. Фадеев в общем-то любил татар, но и он должен был выполнять указания свыше».

Примерно в конце марта или начале апреля 1943 года Муса Джалиль под фамилией Гумеров поступил на работу в Милли комитет (Национальный комитет), образованный для политического представительства Татаро-башкирского легиона в Берлине. Как руководитель татаро-башкирской группы специального лагеря Вустрада Восточного министерства я написал Мусе хорошую характеристику. Подчеркиваю, и это важно: Гумеров (Муса Джалиль) по своей воле, никем не понуждаемый, пошел работать в Национальный комитет, поменяв таким образом плен на гражданскую жизнь.

В Вустрадауском лагере, где собралось немало представителей татаро-башкирской интеллигенции, открыто обсуждали вопрос нашей дальнейшей ориентации: что делать нам, татарам, в условиях столкновения двух тоталитарных держав, когда другие пленные из числа других национальностей перешли на сторону вермахта в надежде восстановить свои государства? Большинство из нас склонялось к мнению, что сложившуюся историческую обстановку нужно использовать для образования государства Идель-Урал. Тех, кто не был согласен с этим, немцы отправили обратно в лагерь для военнопленных, но не подвергли никаким наказаниям или репрессиям.

В начале 1943 года руководитель татаро-башкиро-чувашской группы «открытого» лагеря Вустрада инженер Г. Исагилов поступил на работу по специальности на какую-то фабрику (по-моему, от фирмы Сименс) и стал окончательно свободным, получив паспорт, квартиру. На его месте остался я.

Прошло немного времени, и Вустрадауский лагерь закрыли, потому что почти все бывшие военнопленные нашли работу по специальности и стали трудиться на немецких заводах, в научных организациях или поступили на службу в различные национальные легионы, политические и военные организации, работавшие с «власовцами». Остальных отправили

обратно в лагерь для военнопленных, не подвергая никого наказаниям. Что касается меня, то я устроился в Берлинский комитет Идель-Урал.

Из «вустрауских» к Берлинскому комитету Идель-Урал примкнули еще Г. Султан, Рахим Саттар, чуваш Паймук и Гумеров (Джалиль).

Некоторые утверждения в книге Р. Мустафина «По следам поэта-героя» не соответствуют действительности. Мустафин дает неверные сведения, исходя из встреч и бесед с людьми, не участвовавшими в нашем национальном движении и не имевшими о нем правильного представления. Вообще, многое в книге Мустафина исходит из предположений, то есть из тенденции выдать предположение за действительность. И эта ошибочная тенденция продолжается до сих пор, но об этом можно написать отдельно.

Шигаб Нигмати
17 сентября 1990 г.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Если кровь твоя за Родину лилась,
Ты в народе не умрешь, джигит.
Кровь предателя струится в грязь,
Кровь отважного в сердцах горит.
Муса Джалиль. «О героизме»

Итак, где-то в начале или середине марта 1943 года Джалиль приезжает в Берлин и начинает работать в учреждении, которое называлось довольно неопределенно – «Татарише Миттельштелле», то есть Татарское посредничество.

Что это было за учреждение? С кем здесь пришлось столкнуться поэту?
Перелистаем страницы истории.

Май 1942 года

(Джалиль в эти дни еще воюет на Волховском фронте.)

В берлинском отеле «Франкишенхоф» собралась кучка эмигрантов. Перед ними висит большая – во всю стену – карта несуществующего государства – штатов «Идель-Урал». Территория «штатов» включает в себя Татарскую, Башкирскую, Чувашскую, Марийскую, Мордовскую и Удмуртскую автономные республики, Пермскую, Куйбышевскую, Ульяновскую, Пензенскую, Челябинскую, Оренбургскую и солидную часть других областей. Она протянулась от Москвы до Уральского хребта и от Березников до Астрахани и степей Казахстана. На карте помечены месторождения руд, угля, нефти и других полезных ископаемых этого обширного и богатого края.

Собравшиеся заняты увлекательным, хотя и малоперспективным делом – делят шкуру неубитого медведя. Речь идет о руководящих постах и министерских портфелях в будущем «правительстве».

Больше всех суетится невзрачный человек лет тридцати, с глубокими залысинами, в больших роговых очках, придающих ему глубокомысленный и ученый вид. Ему явно льстит, что присутствующие обращаются к нему почтительно «герр доктор». Это Ахмет Темир, тот самый, которого Джалилю довелось видеть в Демблинском лагере. Сын муллы из села Альметьево (ныне город Альметьевск), он с детских лет ненавидел большевиков и советскую власть. В конце двадцатых годов он бежал в Турцию, затем перебрался в Германию.

Когда гитлеровская ставка решила создать Татарский комитет, потребовался послушный и исполнительный «шеф», он же будущий «президент» «Идель-Урала». Выбор – за неимением лучшего – пал на Ахмета Темира...

Вот почему «герр доктор», опьяненный неожиданно свалившейся властью и радужными перспективами, говорит так самозабвенно, торопливо, глотая окончания фраз, упиваясь собственным красноречием...

Слушателей немного.

Подавшись вперед, словно гончая, готовая по первому знаку кинуться по следу, сидит Раис Самат, дальний родственник Темира и его преданный слуга.

Важно развалился в кресле немолодой, обрюзгший господин в темном костюме из тонкого

английского сукна.

Это крупный промышленник Искандер Яушев, эмигрант, выходец из города Троицка Оренбургской области, член нацистской партии с 1933 года. Яушев слушает рассеянно, слегка снисходительно. Только что ему удалось получить крупный заказ на производство деталей для подводных лодок, запалов к минам и радиоаппаратуры для самолетов, и он в уме подсчитывает барыши.

(Спустя три года фабрикант Яушев – трясущийся от страха, переодетый в лохмотья, в которые зашиты золото и бриллианты, – будет задержан на улицах Берлина советской разведкой и предстанет перед судом военного трибунала.)

Хитро щурится узенькими щелками черных глаз полный мужчина лет пятидесяти, с лицом, изъеденным оспой, и крупными веснушками на красном носу. Это Шафи Алмас, человек, которому предстоит сыграть роковую роль в судьбе Джалиля, а пока – скромный служащий, рядовой переводчик в Восточном министерстве Розенберга.

Рядом с ним уютно пристроилась на диване супружеская чета – сухонький седой старичок с коротко подстриженными английскими усиками и его молодящаяся жена. На вид ей не больше тридцати, красива, модно и со вкусом одета. Это Галимджан и Шамсия Идриси, татары, выехавшие из России еще до революции и обосновавшиеся в Германии.

В сторонке с показным равнодушием рассматривает ногти рыжий длинноногий немец лет сорока в спортивном костюме и белых теннисных туфлях. Он старается держаться в тени, но по тому, как заискивающе поглядывает на него Ахмет Темир, как то и дело вопросительно косятся остальные, нетрудно догадаться, что он здесь – главная фигура. Это берлинский адвокат Генрих Унгляубе, на которого Восточное министерство возложило создание Татарского комитета и руководство им. Адвокат украдкой позевывает: все инструкции даны заранее, роли распределены, ничего неожиданного не будет.

Заседание заканчивается поздно вечером, приняв решение создать в Берлине «татарский центр по борьбе с большевизмом». В состав «центра» вошли все участники этой встречи.

Июль 1942 года

(Джалиль находится в лагере для военнопленных неподалеку от Двинска.)

Заведующий отделом Восточного министерства профессор фон Менде вызывает адвоката Унгляубе и устраивает ему разнос.

– Под Сталинградом идут тяжелые бои, – говорит он, – вермахт остро нуждается в живой силе, а формирование легиона «Идель-Урал» даже не начато, в комитет не привлечено ни одного нового деятеля. Где люди, способные вести пропаганду среди военнопленных? – гремит он. – Где журналисты, которые могли бы выпускать газету нужного нам направления? Где кадры, способные командовать подразделениями легиона?

Унгляубе пытается возразить, что ему не на кого опереться, что татарская эмиграция слишком немногочисленна и слаба, чтобы быстро наладить столь сложное дело, а военнопленные сплошь отравлены большевистской заразой, но фон Менде раздраженно перебивает его:

– Ищите. Организуйте. Наладьте. Если в течение месяца положение не изменится, пеняйте на себя.

После долгих поисков Унгляубе находит в лагере близ г. Острова подходящую кандидатуру – бывшего студента Уфимского пединститута Гарифа Султана. Студент неплохо знает немецкий язык и настолько благодарен Унгляубе за спасение от голодной смерти (он уже не рассчитывал выбраться живым из лагеря), что Унгляубе решает сделать его своим личным адъютантом.

И не ошибается. Султан не жалеет сил, чтобы оправдать «доверие». Отобранные по его рекомендации первые татарские «деятели», преимущественно из числа бывших полицейских и перебежчиков, приезжают в Берлин и Вуэстрау.

Август 1942 года.

На станцию Едлино (Польша) начинают прибывать первые партии военнопленных национальностей Поволжья – татар, башкир, чувашей, марийцев, мордвинцев и удмуртов. Для них выстроен специальный лагерь в трех километрах от железнодорожной станции и в

двенадцати километрах от города Радом.

5 сентября 1942 года, когда было сформировано первое подразделение легионеров, позднее было объявлено днем рождения Волго-татарского легиона.

Сентябрь–ноябрь 1942 года

(Джалиль все еще кочует по лагерям для военнопленных.)

Главный претендент на роль «президента» «Идель-Урала» – Ахмет Темир развивает бурную деятельность: ездит по лагерям, выступает с речами, вербует предателей.

Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Одних штатов «Идель-Урала» «правителю» показалось мало. Тайком от немцев Ахмет Темир обратился к главе Туркестанского комитета Вэли Каюм-хану: давайте, мол, объединимся и создадим мощное тюркское государство. Оно будет сильнее не только армянского и грузинского, но со временем даже русского. (Ахмет Темир всерьез воспринял лицемерную игру гитлеровцев в «государства» и «правительства».)

Но Вэли Каюм-хан засомневался: вдруг в результате такого объединения он вылетит из президентского кресла – и отказался поддержать идею Ахмета Темира.

Тогда татарский «правитель» в обход Вэли Каюм-хана начал переговоры с казахами из Туркестанского комитета: у нас, мол, с вами общего больше, чем между вами и узбеками, давайте, мол, объединимся с вами. Пошли интриги, подсиживания, склоки...

Хотя эти переговоры велись на антисоветской основе, фашисты вовсе не хотели получить в результате победы над Россией сильное тюркское государство. Их тайный девиз сводился к извечному лозунгу всех колонизаторов «Разделяй и властвуй!».

Ахмет Темир послал своего родственника Раиса Самата в Варшаву к муфтию. Муфтий стоял за объединение усилий разных национальных комитетов на мусульманской основе, что позволило бы возвыситься ему самому. Он ласково принял Раиса Самата и, кажется, готов был поддержать татарского «правителя».

Но увлеченный интригами Ахмет Темир сам оказался жертвой интриги. Другой член комитета, Шафи Алмас, сориентировался быстрее. На словах он поддерживал своего шефа, даже подзуживал его на новые склоки. А сам настроил тайный донос. Раиса Самата по его доносу немцы арестовали в Варшаве и едва не засадили в концлагерь, Ахмета Темира отстранили от руководства. Так во главе Татарского комитета оказался Шафи Алмас.

Именно он первым встретил Джалиля в Берлине, отечески хлопал поэта по плечу, журил за «строптивость». В одной из комнат его шестиэтажного дома Мусе пришлось прожить несколько месяцев. Думается, нелишне будет рассказать о «президенте» подробнее.

Абдрахман Шафеев (имя «Шафи Алмас» он придумал для большей звучности и веса) – бывший казанский купец, уроженец села Дубьязы в Татарии. Он торговал мануфактурой, ездил с красным товаром по всей России.

Во время гражданской войны Шафи Алмас воевал в рядах белой армии. После разгрома белогвардейщины эмигрировал в Турцию. Через несколько лет он появился в СССР – в качестве третьестепенного сотрудника турецкого посольства. Однако вскоре был выдворен из нашей страны. В конце концов Шафи нашел себе прибежище в Германии. Маклерствовал, торговал, завел дело, нажил себе многоэтажный дом в центре Берлина, в котором, как он нередко любил хвастаться, было 248 комнат.

За годы скитаний изучил турецкий, французский и немецкий языки (русский он знал и прежде), и его привлекли к работе в Восточном министерстве в качестве переводчика.

Ноябрь 1942 года

В Берлине по адресу Ноенбургштрассе, 14 начинает издаваться еженедельная газета «Идель-Урал» – орган Татарского посредничества. Газета издается на татарском языке (четыре страницы малого формата) и подчиняется отделу пропаганды вермахта. Редактором газеты назначается Шафи Алмас.

Так в общих чертах обстояли дела в Татарском посредничестве, когда сюда приехал Муса Джалиль.

ЗВАНЫЙ УЖИН

В судьбе Джалиля произошел головокружительно резкий перелом.

После лагерных нар, кишаших вшами, где даже соломенная подстилка считалась роскошью, он попал в дом Шафи Алмаса, обставленный по-купечески претенциозно и аляповато. Ковры на мраморных лестницах, ковры на полах, дорогие французские гобелены на стенах (Шафи Алмас, используя свои связи с Турцией и через нее с Ближним Востоком, прибыльно торговал персидскими и турецкими коврами и считался большим знатоком в этой области). Тяжелые бронзовые светильники в виде целующихся амуров и купидонов. Огромные, причудливой формы зеркала в золоченых рамах. Мебель красного дерева...

После жидкой баланды и эрзац-хлеба пополам с опилками, которыми Муса питался более 250 долгих лагерных дней, он попал на званый ужин, устроенный Шафи Алмасом в честь своих высоких покровителей.

На ужин пригласили почти всех членов Татарского комитета в Берлине. Здесь был шеф комитета Генрих Унгляубе, его референт и переводчик Гариф Султан, бывший военнопленный, а ныне исполняющий обязанности редактора газеты «Идель-Урал» Киям Галеев, заведующий типографией Раис Самат, заведующий канцелярией комитета Сабит Кунафин, профессор Галимджан Идриси с супругой (в ней Муса с некоторым удивлением узнал переводчицу, которая присутствовала при его аудиенции у Розенберга). Хотя давно все были в сборе, за стол не садились. Обещал приехать, хотя бы ненадолго, сам фон Менде, ведавший, как уже успели шепнуть на ухо Мусе, национальной политикой азиатских народов в Восточном министерстве.

Переводчица узнала Мусу, радостно закивала ему еще издали, пристроив к группе эмигрантов своего старого чопорного мужа, подошла к нему и по-женски участливо заговорила о том, как она перепугалась тогда за поэта.

– Вы знаете, они так не любят, когда им возражают... И как он вас не засадил в концлагерь?

Джалиль не стал рассказывать ей о пяти сутках строгого ареста в тесном и вонючем карцере, отшутился – он, мол, не привык ни перед кем угодничать, даже перед самим господом богом. Шамсия Идриси согласно кивнула: «Конечно, у вас другие порядки, другое воспитание». И тут же заохала, Муса, мол, очень плохо выглядит. Муса и в самом деле похудел так, что из-под костюма выпирали плечи и лопатки. Резче обозначились отечные мешки под глазами. На висках густо засеребрилась седина. Даже взгляд стал иным – в нем потухли веселые искорки и где-то в темной глубине глаз таилась боль... «Отдохнуть бы вам надо, отдохнуть», – причитала Шамсия. Чтобы покончить с этой темой, Муса сказал, что на днях выезжает на две недели в Семпенский пансионат легиона, где надеется немного набраться сил.

Шамсия стала спрашивать поэта о Казани, о Волге, о Татарии. В начале двадцатых годов она приехала в Германию учиться вместе с группой студентов из Советской России. Ее заметил, а впоследствии сделал предложение профессор Идриси, который показался ей таким умным, таким многообещающим. Она согласилась... Потом не раз жалела о своем опрометчивом поступке, тосковала по Родине, по родному языку, татарской музыке. Но что делать? Родились дети, надо было жить...

О Шамсии Мусе рассказывал и Ахмет Симаев. Она возглавляла «Волго-татарскую студию» радиостанции «Винета». По словам Ахмета, с нею можно было ладить – она не придиралась по пустякам, не очень-то скрывала свою неприязнь к фашистам, хотя не решалась открыто сочувствовать большевикам.

Появился фон Менде – высокий, светловолосый, лобастый мужчина лет сорока, с энергичными и порывистыми движениями. Щеголяя эрудицией, он произнес несколько приветственных фраз на татарском, но тут же перешел на немецкий. Из уважения к столь высокому гостю все также говорили только по-немецки.

В лагере Вустрау Муса читал книги и статьи фон Менде, хорошо знал его «теорию» о «недочеловеках», способных быть лишь удобрием для произрастания и расцвета «высшей расы», поэтому со смешанным чувством любопытства и брезгливости приглядывался к нему. Деловито взглянув на часы, фон Менде проществовал на указанное ему место во главе стола

и, дождавшись, пока все усядутся, провозгласил первый тост – «за процветание великой татарской нации и будущее суверенное государство «Идель-Урал» (Муса еще не знал тогда, что как раз в эти дни фон Менде составлял докладную записку, в которой, в случае победы, намечалось разделить территорию между Волгой и Уралом на четыре рейхскомиссариата. Ни о каких «независимых» государствах в ней, понятно, не упоминалось).

Когда фон Менде ушел, все почувствовали себя свободнее. Задвигались, заговорили по-татарски, попросив предварительно разрешения у шефа. Генрих Унгляубе не возражал, тем более что у него был переводчик – Гариф Султан. Султан сидел по левую руку от шефа. То и дело, доверительно наклонившись, что-то шептал ему.

Султан был высоким, статным парнем лет двадцати. Его можно бы назвать даже красивым, если бы не высокомерное, фальшиво значительное выражение лица. Джалиль познакомился с ним еще в лагере Демблин, когда он вместе с Ахметом Темиром приезжал вербовать военнопленных. С Мусой Султан держал себя предупредительно, многозначительно намекал, что пошел в посредничество лишь «в интересах нашего общего дела, чтобы быть полезным своим». Набивался в приятели. Но Мусе претила его назойливость, и он держался осторожно.

В агентурной характеристике на Гарифа Султана, составленной в лагере Вуэтрау и попавшей к нам в числе других трофейных документов, говорится: «Дает хорошие донесения. Предан фюреру. Готов на все. Пригоден для больших и важных дел».

Он был интеллигентнее других агентов, обладал способностью входить в доверие, владел немецким, а самое главное – был уже «закреплен» изменой. Султан сдался в плен добровольно, метнув гранату в своих. После перехода сообщил все, что знал, о расположении советских войск. И был очень удивлен, когда вместо благодарности его сунули в общий лагерь умирать от голода и тифа.

Вытащивший его из этого лагеря Унгляубе позднее докладывал фон Менде: «Он больший нацист, чем мы с вами».

Ужин был в самом разгаре. Кто-то уже успел изрядно «набраться». Кто-то произносил очередной напыщенный спич: «Наша основная задача – освободить исконную территорию татаро-башкирской нации «Идель-Урал» от засилья русских большевиков». Султан подошел к Мусе. Может быть, он заметил скептическую улыбку, блуждавшую на губах Джалиля, и, стараясь попасть в тон, заговорил доверительно, понизив голос:

– Искренне рад, Муса эфенди, видеть вас здесь. Вы знаете, в чем наша основная беда? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Нет авторитета. Ну скажите, за кем идти порядочным людям? За этим полуграмотным купчишкой, который никогда не думал не гадал, что судьба вознесет его в президенты? Или за этим бывшим полицаем? – он кивнул в сторону Кунафина.

Договорить ему не дали. Все поднялись, чтобы идти в гостиную, где должен был состояться импровизированный концерт. Здесь в Мусу прочно вцепился Шафи Алмас. Усадил рядом, зататарил на дубьязском диалекте. Муса слушал его рассеянно. И без того ясно, что хвастает. Шафи Алмас рассказывал, как он, начав с разъездного торговца мануфактурой, «собственным горбом» нажил богатство. Магазин в Казани, магазин в Оренбурге и Уфе... Солидная сумма на текущем счету... Собственный каменный дом с садом и фонтаном, где по дорожкам, распутив многоцветный хвост, важно расхаживал павлин. Лакированная пролетка с надувными шинами...

И вот в одночасье все рухнуло. «Все потерял, все отобрали проклятые большевики, нищим по миру пустили («Как же, так я тебе и поверил... А кто с золотом и бриллиантами бежал в Турцию?»). И все же – не пропал. Видишь, браток, как живу. Кто из ваших может похвастаться, что живет лучше меня?»

Мусе было тоскливо и неудобно. Снова заныло сердце – а не зря ли дал согласие идти в это осиное гнездо? Тут друг с другом грызутся, как пауки в банке, а уж чужого слопают – будь здоров.

ПРИЗНАНИЯ ЭСЭСОВЦА

В последние дни войны был захвачен в плен один из крупных фигур гитлеровского рейха, гауптштурмфюрер СС Райнер Ольцша. Он ведал национальной политикой в ведомстве

Гимmlера, имел доступ к секретным документам, не раз бывал на приеме у Гитлера.

Это был высокий шатен в роговых очках, с зачесанными на косой пробор волосами, холодным взглядом немигающих серых глаз и шрамом на подбородке. По образованию Ольцша – профессор-тюрколог. Член нацистской партии с 1933 года, кадровый разведчик, пользовавшийся безусловным доверием и немалым влиянием в высших сферах.

Откровенные и довольно подробные показания Р. Ольцши помогли прояснить многие стороны политики гитлеровцев в отношении легионов и, в частности, Татарского комитета.

По его словам, в отношении к национальным легионам между ведомством Розенберга и Гимmlера существовали серьезные разногласия.

СС всячески стремилось укреплять власовскую армию как наиболее реальный и осязаемый резерв живой силы. Розенберг возражал на это, что лозунг власовцев – «единая неделимая Россия» – производит неблагоприятное впечатление на национальные комитеты. Он делал ставку на национальную рознь, упирая на то, что половину населения Советского Союза составляют нерусские народности. «Наша сила – в их слабости, – конфиденциально разглагольствовал он. – Россию необходимо раздробить на части, натравливая одни народы на другие. Только в таком случае можно управлять ее громадными просторами, эксплуатировать ее несметные богатства».

Гимmlер же полагал, что не стоит принимать всерьез обещания о «независимых государствах». Ведь речь шла всего лишь о пропагандистском трюке! Главное, считал он, победить в войне, а после победы никакие национальные комитеты, скорее всего, просто не понадобятся. Армия Власова в военном отношении представлялась Гимmlеру и его окружению неизмеримо важнее «всего этого хлама», как они презрительно называли национальные формирования.

– А вы не допускаете такой возможности, что русские с развернутыми знаменами перейдут на сторону красных, а нерусские народности, возмущенные той двойной игрой которая ведется вокруг них, вообще откажутся воевать? – отстаивал свою точку зрения Розенберг. Его воззрения разделяли и другие сотрудники Восточного министерства и штаба добровольческих соединений.

После перехода на сторону советских войск первого батальона Волго-татарского легиона и ряда других национальных соединений ходили слухи, что легионы и национальные комитеты будут распущены. В одной из стенограмм конфиденциальных бесед в «Волчьем логове» сохранилась раздраженная реплика Гитлера, что он больше всего не доверяет волжским татарам и армянам. Р. Ольцша также отметил, что, как это было известно в Главном управлении СС, «волжские татары были поголовно отравлены большевистской заразой». Но уже была проделана большая работа: созданы национальные комитеты, подобраны «правительства», организованы редакции и печатные органы на национальных языках. Поэтому решили комитеты пока сохранить как резерв на будущее. Фашисты беззастенчиво вели двойную игру: власовцам обещали «единую неделимую Россию», а национальным комитетам – создание на той же территории отдельных «самостоятельных» государств.

Джалиль, конечно, не был в курсе всей этой сложной политической игры. Но он о многом догадывался. Известно, например, что он поддерживал намерение казахских националистов выйти из состава Туркестанского комитета. Это, во-первых, ослабляло Туркестанский комитет, во-вторых, усиливало обстановку нервозности склок, взаимных распрей. В то же время главную ставку поэт делал на работу подпольной организации, подтачивающую легионы изнутри. Подпольщикам удалось установить связи с патриотами из расположенного по соседству Армянского легиона. В случае успеха вооруженного выступления в Едлино армяне должны были присоединиться к восставшим.

УЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ КОНСПИРАЦИИ...

Методы вербовки в легион были разнообразными. Гитлеровцы хорошо понимали, что одним лишь насилием и принуждением под страхом голодной смерти или физической расправы – не добиться многого. В ход шла и религиозная пропаганда, и идеологическая обработка в националистическом духе, и всевозможные провокационные приемы. Наглядный

тому пример – судьба сотрудника редакции «Идель-Урал» Галима Бахтикова.

В первые дни Отечественной войны часть, в которой он служил, попала в окружение. Под дулом наведенных автоматов Бахтиков поднял руки... До декабря 1941 года он содержался в Тильзитском лагере для военнопленных в Восточной Пруссии.

Однажды Бахтикова вызвали в лагерную комендатуру. Немецкий офицер принялся расспрашивать, действительно ли Бахтиков имеет высшее образование, как указано в его анкете, затем предложил пойти в какую-то школу. Бахтиков, отупевший от голода, плохо понимал, о чем идет речь. Офицер с улыбкой пододвинул чашечку ароматного кофе, положил перед ним пару галет.

Ощувив во рту вкус пищи, Бахтиков наконец пришел в себя. «Жить, жить, выжить во что бы то ни стало!» – вот единственная мысль, которая болезненно стучала в голове. Из слов офицера он понял только, что его обещают кормить три раза в день, а хлеба будут давать досыта.

Так Бахтиков оказался в школе фашистских пропагандистов, расположенной в специальном лагере Вульгайде под Берлином.

Некоторое время Бахтиков пытался под разными предлогами уклоняться от выполнения заданий учебных руководителей (составление антисоветских листовок, вербовка военнопленных в легионы и т.д.). Тогда гитлеровцы пошли на прямую провокацию.

Как-то ему, якобы для проверки знаний по немецкому языку, дали «учебное задание»: перевести на татарский статью из официальной фашистской газеты. Бахтиков выполнил задание. Вскоре из Берлина приехал эмигрантский деятель Ахмет Темир. Собрав слушателей школы (татар и башкир), он прочел лекцию о положении на фронтах. Потом беседовал с каждым из слушателей в отдельности. Бахтикову он предложил работу в редакции газеты «Идель-Урал». Тот отказался, ссылаясь на плохое здоровье и слабое знание языка. И вот тут Ахмет Темир предъявил ему его перевод. «Теперь пути для отступления у тебя отрезаны, – сказал он. – Если будешь противиться, немцы найдут способ довести эти листочки до сведения большевиков, и тогда твоей семье будет плохо».

Бахтикову выдали паспорт иностранца и перевели в Берлин. На первое время он поселился в доме Шафи Алмаса по Хафельштрассе. Работал в только что созданной редакции газеты «Идель-Урал», совмещал обязанности переводчика, литсотрудника и корректора.

В начале 1943 года Бахтиков узнал, что в закрытом лагере Вустрау под Берлином содержится какой-то татарский писатель по фамилии то ли Гумеров, то ли Умеров, автор оперы «Алтынчеч». Бахтиков, знавший, что либретто оперы «Алтынчеч» принадлежит Джалилю и не раз встречавшийся с поэтом до войны, заинтересовался этим. Через знакомых в лагере он выяснил, что Гумеров и есть Муса Джалиль.

Когда Джалиля перевели в Берлин, дня три-четыре он жил в комнате Бахтикова. Выглядел Муса, по словам Бахтикова, неважно, жаловался на плохое здоровье. Вскоре его направили в Семпенский дом отдыха. (Это был частный пансионат, снимаемый Татарским комитетом.)

Вот отрывок из показаний Бахтикова, данных в 1945 году:

«Немцы хотели использовать Джалиля в пропагандистских целях. Но Муса, насколько мне известно, никакой официальной должности в комитете не занимал. Он был настроен пессимистически, загадочно говорил: «Если меня направят в легион, я там найду выход».

Вскоре после приезда Мусы в Берлин под видом «дружеской вечеринки» состоялось одно из первых заседаний подпольного комитета. В комнатку Мусы в доме Шафи Алмаса пришли Абдулла Алиш и Ахмет Симаев.

Муса был рад встрече с друзьями и очень озабочен тем, как лучше развернуть подпольную работу. Он говорил, что необходимо учиться искусству конспирации, сочетать легальные и нелегальные методы борьбы. Пользуясь присутствием своих людей в редакции газеты «Идель-Урал», говорил Муса, надо сделать ее безвредной и скучной, препятствовать появлению антисоветских статей, заполнять газету отвлеченными материалами на общекультурные темы.

Джалиль поставил задачу как можно быстрее наладить выпуск подпольных антифашистских листовок. Заняться листовками поручили Гарифу Шабаеву. Чтобы не

навести гестапо на след подпольщиков, листовки решили печатать на пишущей машинке, а затем размножить на гектографе. Наладить прием сводок Совинформбюро должен был Ахмет Симаев. Он работал в отделе радиовещания министерства пропаганды и имел доступ к радиоприемникам. Листовки решили выпускать как на татарском, так и на русском языке, чтобы можно было распространять их не только в легионе и лагерях для военнопленных, но и на предприятиях Берлина среди «остарбайтер» – советских людей, насильно угнанных на работу в Германию.

По условиям конспирации подпольщики не посвятили Бахтикова в свои планы. Тем не менее его показания помогли уточнить некоторые моменты биографии Джалиля.

ВСТРЕЧА В ПОДВАЛЕ

Это свидетельство я решил включить в книгу не без колебаний.

Рассказ Андрея Дмитриевича Рыбальченко о встречах с поэтом был впервые опубликован в книге «Воспоминания о Мусе Джалиле» (Казань, 1966). Но со временем в его заметках выявился ряд неточностей. Так, он писал, что встретился с Джалилем в Берлине в *январе* 1943 года. Но Муса, как позднее выяснилось, до *марта* 1943 года находился в лагере Вустрау. Были в его воспоминаниях и другие несоответствия. Поэтому в первом издании книги «По следам поэта-героя» я ни словом не обмолвился об этом свидетельстве.

Вскоре, однако, я стал получать письма от соратников Рыбальченко по подпольной борьбе. Они выражали недоумение, почему в книге остался неосвещенным такой важный момент, как связь группы Джалиля с другими подпольными группами.

«Да, в воспоминаниях Рыбальченко могут быть отдельные неточности, – писал в ответ на мои разъяснения один из его товарищей по подполью Николай Бушманов. В них чувствуется порой налет фантазии. Но в целом его воспоминания лично у меня сомнений не вызывают. Андрей еще в Берлине информировал меня о том, что установлена связь с патриотами из Татарского легиона. В дальнейшем он продолжал поддерживать эту связь уже по заданию подпольного комитета».

Факт встреч А.Д. Рыбальченко с Джалилем, Алишем и Симаевым подтвердила и бывшая подпольщица Елена Левадная.

Многих (и меня в том числе) смущает то обстоятельство, что А.Д. Рыбальченко передает события многолетней давности в мельчайших подробностях – вплоть до диалогов и отдельных реплик. Обычно такие детали быстро забываются. И все же, оставляя точность отдельных моментов на совести автора воспоминаний, я решил предложить их вниманию читателя.

В середине 1942 года А.Д. Рыбальченко по заданию подпольной организации «дал согласие» вступить в так называемую РОА – «Русскую освободительную армию», которая формировалась под командованием изменника Родины генерала Власова. Рыбальченко направили работать библиотекарем во власовскую газету «Заря». Библиотека располагалась в подвале дома № 10 по Викторианштрассе. Весь подвал был забит сваленными в беспорядке книгами, награбленными в оккупированных областях Советского Союза. В обязанности Рыбальченко входило приводить книги в порядок, заводить на них учетные карточки, выдавать нужные издания сотрудникам редакции...

В этом подвале и произошла первая встреча Рыбальченко с Джалилем. В первом варианте своих воспоминаний Рыбальченко писал, что встреча состоялась в январе. Когда я написал ему, что это исключено, Рыбальченко разъяснил, что за точность даты не ручается. «Помнится, – писал он, – что это была зима 1943 года, т.к. на улицах Берлина лежал снег». Что ж, снег мог быть и в марте...

«В тот день в библиотеку поступили советские центральные газеты, в которых была напечатано сообщение Совинформбюро о разгроме немцев под Харьковом. Я торопился отпечатать листовку Берлинского комитета об этой очередной победе Советской Армии, о захваченных ею огромных трофеях. Только положил в ящик стола вторую или третью

закладку и стал вставлять следующую, как сзади скрипнула дверь. Я оглянулся и обмер: позади меня стоял и пристально смотрел на меня невысокого роста плотный человек в серо-коричневом костюме и фетровой шляпе. Я решил, что это гестаповец, и, честно говоря, очень испугался. Ведь листовки уже нельзя было ни спрятать, ни уничтожить. А оружия у меня не было... Это был Муса, которого я еще не знал. Все это помню так ярко, как будто это было вчера...

Если исходить из того, что разгром гитлеровцев под Харьковом произошел в середине февраля, а наши центральные газеты поступали в Берлин с запозданием в две-три недели, то наше знакомство произошло где-то в конце февраля или начале марта».

Дата, как видим, примерно совпадает. И вполне логично, что Муса, оказавшись на свободе, первым делом разыскал русскую библиотеку.

Правда, в первом варианте своих воспоминаний Рыбальченко рассказывает тот же эпизод несколько по-иному. Но не забудем о поправке на неточность памяти.

В первое время, рассказывает Андрей Дмитриевич, Муса приходил в библиотеку ежедневно, рылся в книгах, помогал сортировать их.

«Чем больше мы встречались и разговаривали, тем отчетливее вырисовывалось передо мной его патриотическое лицо. Я узнал, что он татарский поэт, что фашисты и их наемники принудили его вступить в татарскую националистическую организацию, созданную гитлеровцами для борьбы с Советской властью, но в душе он остается советским человеком и найдет выход из создавшегося положения. Я стал давать ему нужные книги, и он уносил их с собой, хотя это не разрешалось. Муса знал, что если об этом узнают немцы, мне грозит виселица.

– Не боишься? – как-то спросил он, пряча книги за пояс брюк.

– Волка бояться – в лес не ходить... Верю, что не подведешь. Все, что уносишь отсюда, можешь не возвращать.

– Спасибо. В долгу не останусь, – крепко пожал он мне руку.

Постепенно у нас росло и крепло доверие друг к другу. Муса интересовался моей биографией, много рассказывал о себе. Узнав, что я более десяти лет работал в редакциях областных и краевых газет, в том числе около года в редакциях ряда дивизионных газет, он прямо спросил меня:

– Политрук?

– Выходит так, – ответил я. – А ты разве не политработник?

– А кем же нам быть! Конечно, политработник.

– Значит, у нас должен быть общий язык...

– Безусловно! Было бы странно, если бы мы не нашли общего языка и не поняли друг друга. Грош цена была бы таким политработникам...

После этого разговора я подобрал по одному экземпляру советских газет, полученных в тот день, и сделал Джалилю сюрприз. Муса не сразу понял, что это за газеты. Он подумал, что это фашистские газеты, издающиеся на русском языке в оккупированных областях, которые также поступали ко мне в библиотеку, и он их постоянно видел. Но когда рассмотрел, пришел в такой восторг, что бросился ко мне и стал целовать со слезами на глазах...

Теперь мы откровенно говорили обо всем, что волновало нас. Пришли к единодушному мнению, что нам, коммунистам-политработникам, необходимо и здесь до последней минуты жизни оставаться бойцами идеологического фронта.

Мысли Мусы сводились к следующему:

– Надо создать подпольную организацию и широко развернуть подрывную работу здесь, в глубоком тылу врага, разлагать части и соединения власовской армии, казачьи формирования, кавказский, татарский и другие легионы и переводить их на сторону советских войск и партизан.

Я поинтересовался, как обстоят дела у них в Татарском комитете и легионе, есть ли люди, на которых можно положиться, привлечь к подпольной борьбе.

– Да где их нет, таких людей?! – отвечал Муса. – Подпольная группа при татарском легионе еще не оформилась, но фактически она уже существует и кое-что делает. Не оформилась в том смысле, что не проводилось еще ни одного собрания или совещания и

товарищи не знают друг друга. Связующим звеном между ними являемся я и два товарища из редакции «Идель-Урал».

– Но люди, с которыми вы связаны, считают себя подпольщиками? – спросил я.

– Безусловно!

– Что ж, структура организации у вас правильная. Ни о каких собраниях и совещаниях в этих условиях не может быть и речи, если мы хотим избежать провала. Людям не обязательно знать друг друга».

ПОЕЗДКА ПО ЛАГЕРЯМ

Судьбы, судьбы...

Биография Джалиля переплетена с судьбой десятков и сотен людей. И далеко не всегда этих людей можно рассортировать по привычным полочкам: черное – белое.

Афзал Фатхуллин (на его свидетельство я уже ссылался выше) работал до войны артистом Башкирского оперного театра. На молодого способного певца, обладавшего богатым голосом, возлагали большие надежды. Но пришла война, Фатхуллина призвали в армию. Затем окружение, плен, лагеря для военнопленных...

Товарищи нередко просили Фатхуллина спеть для них. И он, полуживой от голода, никогда не отказывался. С ним делились, чем могли: последней закруткой табака и коркой эрзац-хлеба.

Весной 1942 года, когда Фатхуллин томился в лагере для военнопленных под Ченстоховом, его вызвали в лагерную комендатуру. Там Фатхуллина встретил немолодой лысеющий человек в штатском. Он приветствовал певца по-татарски, отечески поговорил с ним, расспрашивал о жите-бытье. Фатхуллин только недоуменно пожал плечами – какое может быть жите-бытье в лагере? Незнакомец понимающе улыбнулся. Он велел накормить Фатхуллина сытным обедом из немецкой кухни. Затем попросил спеть для него татарские и башкирские песни. Пришлось отрабатывать обед...

Слушая певца, человек в штатском прослезился. Из дальнейшего разговора Фатхуллин узнал, что перед ним – один из руководителей белоэмигрантского комитета «Идель-Урал» Шафи Алмас. Он увез Фатхуллина с собой в Берлин.

Начались концерты – сначала в доме Шафи Алмаса для представителей белоэмиграции, для работников Восточного министерства и высших чинов гестапо, затем в лагерях для военнопленных и подразделениях легиона. Концерты эти были не столь уж безобидными. Фашисты использовали их как своего рода приманку: люди тянулись к песне, к родному искусству, а попадали в ловко расставленные сети вербовщиков и гитлеровских пропагандистов.

Когда надобность в песнях Фатхуллина отпала, его назначили официантом в Семпенский дом отдыха. Позднее он стал чем-то вроде привратника в доме Шафи Алмаса: выполнял хозяйственные поручения, встречал гостей и, если потребуется, развлекал их песнями.

Можно ли доверять свидетельствам такого человека?

В первом издании своей книги я не стал ссылаться на его показания, тем более что о работе подпольной организации Фатхуллин почти ничего не знал. Но его рассказы о встречах с Джалилем заслуживают доверия и подтверждаются из других источников. Уфимский исследователь Н.И. Лешкин, внимательно проанализировав его свидетельство, также пришел к выводу, что Фатхуллин говорит правду. Больше того, ему удалось найти в военных архивах трофейный немецкий документ, подтверждающий показания Фатхуллина.

Впервые Афзал Фатхуллин встретился с Джалилем в открытом лагере Вустрау, когда здесь по согласованию с Восточным министерством проводился мусульманский праздник курбан-байрам. На празднике присутствовало человек 30–40 (кроме татар и башкир, в нем приняли участие казахи, узбеки, туркмены, балкарцы и т.д.).

Вечером за праздничным столом Фатхуллин спел несколько татарских и башкирских песен. Муса, сидевший через одного человека от него, прочел по просьбе собравшихся стихотворение «Пташка». Стихотворение это, как вспоминает Фатхуллин, произвело на всех большое впечатление, но несколько испортило праздничную атмосферу, напомнив

присутствующим, что они как были, так и остаются подневольными.

После переезда Джалиля в Берлин Фатхуллин несколько раз мельком видел его в доме Шафи Алмаса. Затем ему было приказано собираться в поездку по лагерям для военнопленных и подразделениям Волго-татарского легиона. Старшим группы был адвокат Унгляубе. В состав группы входили работники Татарского комитета Шафи Алмас, Гариф Султан и Сабит Кунафин. В последний момент к ним присоединили и Мусу Джалиля.

Обнаруженный Н. Лешкиным документ касается именно этой поездки. Это докладная записка-отчет Унгляубе «О посещении ряда лагерей для военнопленных с целью отбора кадров для руководящих постов в легионе и Татарском посредничестве». Отчет составлен 17 апреля 1943 года. Сама поездка, согласно этому документу, состоялась с 28 марта по 15 апреля.

Не часто бывает, чтобы устное свидетельство подтверждалось официальным, к тому же составленным со скрупулезной подробностью документом. Благодаря этому мы можем представить поездку во всех деталях.

Итак, поезд Берлин–Варшава.

В купе четверо. У двери напротив Фатхуллина сидит приземистый, коренастый, весь какой-то развинченный, будто у него разболтались суставы, человек. Он поминутно потирает грудь, вертит маленькой головой на длинной шее и без умолку болтает.

Это Сабит Кунафин – работник Татарского комитета и платный осведомитель гестапо.

С какой гадливостью слушает его Муса! Он знает, что Кунафин был лагерным полицаем, из кожи лез, чтобы выслужиться перед гитлеровцами. В лагерях на такую мразь даже веревку жалели – в отхожем месте топили.

Даже сидящий в сторонке Гариф Султан брезгливо поджимает губы. Он считает себя интеллигентным человеком – студент все-таки. И одевается соответственно: модный костюм, очки в тонкой золотой оправе. Пригладив напомаженные волосы, он выходит в коридор. Возвращается через несколько минут и с брезгливой миной роняет:

– А наш-то купец снова нализался... Накрылся газетой и храпит. А в купе сивухой воняет – не продохнешь.

Речь идет о Шафи Алмасае, едущем в отдельном купе. Но смелость Гарифа Султана никого не вводит в заблуждение. Все знают, что в качестве адъютанта Унгляубе всеми делами в комитете вершит он и явно рассчитывает официально занять кресло «президента». Однако этому препятствует его молодость: Султану недавно исполнилось девятнадцать лет. Оттого-то он и старается выглядеть старше: даже очки стал носить для солидности.

– Все комитеты давно уже добились официального признания, – продолжает Гариф Султан. – А наш купец только и знает, что шнапс пить да делишки свои обдирать. Нет, надо подыскать подходящую замену...

Но разговор на скользкую тему никто не поддерживает.

– Что ты там все пишешь, Муса эфенди? – обращается Султан к молча сидящему у окна поэту. – Почитай нам, просвети уж нас...

– Можно и прочитать, – недобро сверкнув глазами, соглашается Джалиль.

Мы не знаем, какое стихотворение прочел Джалиль. А Фатхуллин не помнит его содержания, помнит только, что оно было «лояльным к советской власти».

После чтения в купе устанавливается неловкая пауза. Кунафин, чтобы как-то нарушить напряженную тишину, спрашивает:

– Ты, Муса, я вижу, очень дорожишь своим блокнотом, никогда не расстаешься с ним. А если потеряешь, что тогда?

– Ничего, – сдержанно отвечает Джалиль. – Мои стихи записаны вот где. – И согнутым пальцем постукивает себя по лбу.

К вечеру прибыли в Варшаву, остановились в отеле. Фатхуллин оказался в одном номере с Мусой.

Они уже укладывались спать, когда Шафи Алмас зачем-то вызвал Мусу. Джалиль вернулся минут через пятнадцать, чем-то сильно расстроенный, почти взбешенный. На вопрос Фатхуллина: «Что случилось?» – он так и не дал вразумительного ответа. Только все не ложился спать и последними словами ругал Шафи: «Свинья! Жалкий торгаш! Привык все покупать... Пьяница!»

Скорее всего, Шафи предложил Мусе выступить перед военнопленными с призывом вступать в легионы. По отчету Унгляубе мы знаем, что наутро им предстояло выступить перед пленными в лагере Седльце. Джалиль, по-видимому, наотрез отказался. По отчету Унгляубе видно, что за девятнадцать дней поездки Джалиль ни разу не выступал в лагерях с пропагандистскими речами.

На следующий день прибыли в лагерь Седльце (шталаг 366). Заранее предупрежденное начальство выстроило на пыльном плацу военнопленных татар и башкир.

«Гариф Султан произнес зажигательную речь на татарском языке. Он говорил об освободительной борьбе татар и политическом признании благодаря организации Татарского комитета, по поручению которого он находится здесь» (из докладной записки Унгляубе).

Вторая половина этого дня и несколько последующих дней ушли, как пишет Унгляубе, на беседы с людьми, знакомство с документами, обсуждение некоторых вопросов с лагерным начальством.

Напомню, что поездка состоялась через месяц с небольшим после перехода первого батальона на сторону советских партизан. На основании ряда свидетельств можно заключить, что фашистское командование обсуждало вопрос о роспуске легиона «Идель-Урал». Но затем было решено все-таки использовать остальные батальоны в качестве пушечного мяса, разработав ряд мер по «умиротворению» легиона. Судя по всему, перед инспекторской группой была поставлена задача выявить эффективность этих мер и настроение военнопленных.

Унгляубе отмечает, что условия содержания военнопленных в последнее время стали «несколько лучше». Немного лучше стали кормить. Утеплили бараки. Стали проводиться культурные мероприятия. Но при всем этом Унгляубе вынужден признать, что «моральный дух военнопленных невысок». Проявлялось это в том, что подавляющее большинство военнопленных, несмотря на все старания немцев и их прихвостней, не хотело служить в легионе, даже если их и зачисляли туда насильно. Унгляубе – адвокат, он привык доискиваться до причин. Риска вызвать недовольство начальства, он делает вывод, что «поведение легионеров, однако, является естественным последствием обращения с ними, в этом повинны в первую очередь сами немцы». Весьма любопытное признание!

Как можно прочесть между строк, осведомители доносили о нежелательных настроениях среди военнопленных и легионеров. В связи с этим Унгляубе считает своим долгом сигнализировать о том, что пропагандистская работа в лагере поставлена слабо: «Эти люди сами по себе полностью находятся под влиянием польской пропаганды и абсолютно лишены противоположного воздействия. И как раз поэтому они представляют большую опасность для татарской будущности...»

Эти слова Унгляубе нуждаются в комментариях. По докладной записке Я. Габдуллина мы знаем, что подпольщики установили связь с польскими патриотами и заручились их поддержкой на случай вооруженных выступлений. Кроме того, и сами военнопленные поддерживали контакты с польским населением. Очевидно, именно это имеет в виду Унгляубе, говоря о влиянии польской пропаганды. Что же касается «татарской будущности», то речь, конечно же, идет об интересах третьего рейха.

Чем занимался в эти дни Муса?

Фатхуллин рассказывает, что Шафи Алмас не спускал с поэта глаз и всюду сопровождал его. Но едва Шафи ненадолго уехал куда-то, как Муса встретился с Абдуллой Батталом. Оживленно разговаривая, они три раза обошли вокруг лагеря. О чем они говорили – Фатхуллин не знает.

Судя по воспоминаниям переводчика легиона Ф. Биддера, вскоре после поездки инспекторской группы в лагерях обнаружили антифашистские листовки. Сумел ли провезти их сам Муса? Или у подпольщиков уже существовали какие-то иные каналы связи? Пока мы этого не знаем.

Чтобы хоть чем-то оправдать свою поездку, Джалиль провел в лагере «культурное мероприятие»: Фатхуллин спел песни на слова Мусы Джалиля «Томление», «Ответное письмо», несколько татарских и башкирских народных песен, Джалиль прочел стихи «Пташка», «Парашют», «Любовь и насморк», «Хадича» и другие.

Затем инспекторская группа посетила лагерь Демблин (шталаг 307).

Унгляубе докладывает, что и здесь «мало уделялось внимания политической обработке военнопленных». Унгляубе считает неправильным, что при отборе в легион «военнопленных бракуют, как скот». По мнению адвоката, это ответственное дело следовало бы выполнять тоньше, хитрее, «чтобы не создавалось впечатление, что они годятся только как пушечное мясо».

«Напротив, в области культурного воспитания, – отмечает Унгляубе, – достигнуто явно больше. Организована хорошая капелла из музыкальных инструментов, которые достало командование лагеря. Это оказывает благотворное влияние на людей».

Напомню, что музыкальная капелла в Демблине – детище Джалиля и Курмаша. Ее «благотворное влияние» не ограничивалось «поднятием морального духа» военнопленных. Подпольщики использовали ее как ширму для прикрытия своей нелегальной деятельности.

Докладная записка Унгляубе дает представление и о тех трудностях и опасностях, которые подстерегали подпольщиков на каждом шагу. В частности, адвокат информирует начальство о том, что им обнаружены люди, пригодные «для особых целей». Он упрекает командование лагерей за то, что оно не выдвигает таких людей в легион, а держит у себя на руководящих постах (очевидно, полицаями). Это, мол, «хотя и проницательно, но нерационально», так как «организация военнопленных не самоцель, а средство для создания легиона». Мысль адвоката выражена достаточно прозрачно: «Эти люди, находясь, например, в первом батальоне Татарского легиона, разумеется, могли бы выполнить более важные поручения». Иными словами, могли бы своевременно донести о готовящемся восстании.

Н.И. Лешкину удалось обнаружить в трофейном архиве список осведомителей легиона «Идель-Урал». Список не маленький, показывающий, что шупальца отдела разведки простирались довольно широко. Каждому из завербованных предателей дана краткая характеристика, имеются примечания о ценности и надежности добываемых ими сведений. Фашисты стремились в каждом лагере, каждом подразделении легиона иметь свои «глаза и уши».

ЛЕВОЕ КРЫЛО СОКОЛА

Несомненно, что Джалиль использовал поездки по лагерям для развертывания подпольной работы. Сохранились многочисленные свидетельства о том, как Муса разыскивал нужных ему людей, устанавливал новые связи, инструктировал членов подпольных групп. В частности, в Демблине он встретился со своим другом, старшим Демблинской подпольной группы Гайнаном Курмашем. Некоторые подробности этой встречи рассказывает Фарит Султанбеков:

«В начале или середине мая 1943 года в Демблин приехал Муса. Он был в гражданской одежде, выглядел хорошо. Конвоя с ним не было, но его все время сопровождал какой-то немецкий офицер. Джалиль работал в Берлинском комитете «Идель-Урал» и приехал в лагерь, чтобы отобрать людей для создаваемой в Едлино музыкально-хоровой капеллы. Несколько раз он встречался с Курмашем. Я не могу сказать точно, о чем они говорили, но речь, видимо, шла о вступлении Курмаша в легион, так как Джалиль не мог подобрать более подходящей кандидатуры на пост «режиссера» Едлинской капеллы. В конце концов Курмаш согласился.

Мне приходилось слышать рассуждения, будто подпольщики шли в легион только потому, что у них не было иного выбора. Но у Курмаша был выбор. Работая на кухне, он вполне мог «отсидеться» до конца войны. Но он пошел в легион, хотя и знал, чем это ему грозит, принял на себя даже клеймо предателя, так как хотел сделать все, что было в его силах, для победы над фашизмом.

Вместе с Курмашем Джалиль отобрал и взял с собой в Едлино меня и еще несколько военнопленных-татар. Хорошо помню, как мы впервые подъехали к Едлино. У меня больно защемило сердце, когда увидел своих товарищей не в привычных лагерных лохмотьях, а в ненавистной немецкой военной форме с нашивкой «Идель-Урал» на рукаве. Я подумал, что, может, прав был Курмаш и лучше умереть, чем надеть эту форму? Но начавшаяся вскоре практическая работа оттеснила эти мысли на задний план.

Курмаш стал режиссером и фактическим руководителем капеллы. Меня назначили «артистом» группы струнных инструментов (я неплохо играл на мандолине). Вначале нас

было в капелле всего семь человек, потом стало четырнадцать. «Артисты» входили в состав так называемого культвзвода рабочей роты IV батальона. Мы были освобождены от строевой подготовки и несения караульной службы. Каждый день проводились репетиции, и не менее одного раза в неделю мы должны были выступать с концертами перед легионерами, поднимать, так сказать, их боевой дух.

На концертах исполняли народные песни, песни татарских композиторов, читали стихи Тукая, Такташа, Джалиля. Репертуар, конечно, подбирали так, чтобы не вызвать подозрений у гитлеровских ищеек. Но едва раздавались родные напевы, как на глазах у многих выступали слезы. Это была не просто тоска по Родине. Мы стремились пробудить у пленных чувство патриотизма, гордости за свою культуру и народ, вызвать желание отомстить фашистам за издевательства и насилие.

Концерты вел обычно Гайнан Курмаш. Он же выступал и как чтец-декламатор. Читал стихи Джалиля «Лес», «Любовь и насморк», «Пташка». Читал он и многие другие стихи, которых нет в Моабитских тетрадах.

Вскоре после приезда в Едлино было официально оформлено мое вступление в подпольную организацию. Клятву от меня принял Джалиль, когда мы с Курмашем ездили в Берлин. Муса тихо говорил слова клятвы, а я шепотом повторял их за ним. Текст клятвы я дословно не помню, но содержание было примерно следующим: «Вступая в подпольную организацию, я обязуюсь бороться с ненавистным врагом до последнего дыхания, беспрекословно выполнять все задания старшего группы, всемерно помогать родной Отчизне. Даю слово, что, если потребуется, я без колебаний отдам жизнь для блага Родины. Клянусь, что если буду схвачен врагом, то, несмотря ни на какие муки и страдания, не скажу о подпольной организации, о друзьях ни слова. Если же я нарушу эту торжественную клятву, считайте меня врагом Родины, лакеем фашистов».

Я стал связным в группе Курмаша (в целях конспирации подпольная организация состояла из небольших групп, по 5–6 человек в каждой). Поддерживал связь с группами Хисамутдинова и Сайфельмулюкова, позднее – с берлинской группой через Алиша. Получал и передавал по назначению листовки, сводки Совинформбюро, устные сообщения старшим групп, смысл которых не всегда был ясен мне самому. Все указания получал от Курмаша. В Едлино он играл главную роль. Если Алиш, старший берлинской группы, был правым крылом нашего сокола – Мусы, то Курмаш – его левым крылом.

Однажды Курмаш предложил проводить выступления музыкальной капеллы по радиосети легиона. Джалиль поддержал его предложение – радиоузел мог пригодиться в любую минуту. Получили разрешение от немецкого командования и стали выступать и по радио. В подпольную организацию был вовлечен работник радиоузла Омаров, с помощью которого удалось наладить регулярный прием сводок Совинформбюро.

Приходилось все время быть начеку. В середине июня немцы вдруг арестовали артиста капеллы, крещеного татарина из Горьковской области Николая Малышева. Малышев был слишком горяч и несдержан на язык. Ругал немцев, не стесняясь в выражениях, и не только в кругу своих. Оттого-то мы и не вовлекали его в подпольную организацию, хотя и не сомневались в его честности и преданности. Очевидно, кто-то донес на Малышева. Ему перед строем батальона зачитали приговор, сняли мундир и сапоги и отправили в концлагерь».

«ПИРУШКА» В РЕСТОРАНЕ «АМ ЦОО»

Чаще всего – как на работе, так и дома – Муса сталкивался с «шефом». Шафи Алмас строил из себя простака, любил при разговоре ввернуть соленое словцо, охотно рассказывал скабрезные анекдоты и первый хохотал при этом. Вызывая человека на откровенность, он мог даже нелестно отозваться о немцах. Но именно ему, как теперь достоверно установлено, было поручено следить за каждым шагом Мусы. Шафи сопровождал поэта во время поездок по лагерям и, разумеется, своевременно «информировал» начальство обо всем увиденном и услышанном. Для своих целей «Шеф» пытался использовать даже дочь Нилифрур – миловидную шатенку лет двадцати. Она проявляла повышенный интерес к поэзии Джалиля, просила поэта помочь ей овладеть родным языком.

И хотя Шафи из кожи лез, чтобы угодить своим фашистским хозяевам, те прекрасно знали ему цену. «Это был несамостоятельный и легко поддающийся воздействию человек» – так отзывался о Шафи Алмаса один из видных гитлеровских воротил, эсэсовец Райнер Ольцша.

В Татарском комитете не утихали склоки. Группа комитетчиков пыталась «свалить» Шафи и пригласить на его место лидера татарской эмиграции Гаяза Исхаки, который в то время находился в Турции. Узнав об этом через своих осведомителей, Шафи Алмас запретил произносить в комитете даже имя Исхаки, выкинул его портрет из своего кабинета, всячески пытался опорочить соперника в глазах немцев.

Известно, что Джалиль написал злую эпиграмму на Шафи Алмаса, в которой едко высмеивал его невежество, тупость, пьянство (эпиграмма не дошла до нас). Поэт отводил душу... Внешне же ему приходилось быть предельно корректным со своим «шефом», галантным с его недалекой дочкой.

Мусу нередко приглашали к себе в гости супруги Идриси. В доме у них была богатая библиотека восточных авторов, в том числе и татарских, имелись пластинки с записями татарских песен. Однако Мусе постоянно приходилось помнить, что шестидесятилетний, благообразный и очень набожный старичок Галимджан Идриси – служащий фашистского министерства иностранных дел, а его жена – ответственный работник радиостанции «Винета», специально приставленная для надзора за передачами на татарском языке.

Главное содержание жизни поэта в Берлине составляла подпольная борьба – напряженная, неустанная, опасная. Вскоре после возвращения Джалиля из поездки по лагерям состоялось заседание подпольного комитета. Подпольщики встретились в ресторане «Ам Цоо», расположенном неподалеку от зоопарка.

Собравшиеся изображали веселую шумную компанию и незаметно обменивались новостями. Муса коротко рассказал о положении в лагерях. Алиш – о том, как им удается задерживать появление антисоветских материалов в газете «Идель-Урал». Симаев и Булатов – о печатании антифашистских листовок. Муса интересовался настроениями работников редакции, и Татарского комитета, говорил, что необходимо завести учет прислужников фашистов. Он сообщил собравшимся, что намечено провести курултай – съезд руководителей Татарского комитета и Волго-татарского легиона. «Хорошо бы подложить мину в зал заседания!» – мечтательно произнес Муса и тут же предложил достать взрывчатку через тех, кто работает на военных заводах.

Чтобы не возбуждать подозрений, сидели недолго, минут 20–30, затем вышли в парк. Муса сказал, что скоро поедет в Едлино, листовки захватит с собой, и предупредил Алиша и Симаева, чтобы литература была готова. «Наша задача, – говорил он, – облегчить путь Советской Армии. Надо шире развернуть работу среди советских людей, насильно угнанных в Германию. Мы должны взорвать фашизм изнутри».

«ДОЖИТЬ БЫ ДО ТОГО ЧАСА...»

Перед отъездом в лагерь Муса познакомил Рыбальченко со своими друзьями, Алишем и Симаевым.

«Чтобы не возбуждать ненужных подозрений, мы условились встретиться не в библиотеке, а в Мариенфельде, пригороде Берлина», – вспоминает Рыбальченко.

«Прибыв в Мариенфельд, я направился к пивнушке неподалеку от станции, куда должен был подойти Муса. Было около пяти часов вечера. Вот-вот должен был появиться Муса. Я прошел до трамвайной остановки, постоял немного, чтобы убить остающиеся до его прихода пять минут, и направился к месту встречи. Но, дойдя до пивной, вдруг увидел Мусу, идущего в окружении двух немецких офицеров. У меня похолодело в груди. Скрыться было некуда, тем более что они меня уже увидели. Муса улыбнулся и помахал рукой, его попутчики тоже смотрели на меня улыбаясь. Метрах в двадцати офицеры остановились, а Муса ускоренным шагом направился ко мне.

– В чем дело? Кого ты привел?

– Не беспокойся, это мои друзья из редакции татарской газеты, о которых я тебе рассказывал. Вполне надежные люди, ручаюсь за них головой, – уверял Муса.

Оказалось, Муса уезжает недели на две в легион и, чтобы не прервалась наша связь, решил познакомить меня со своими товарищами. Они должны по очереди приходить вместо него за литературой и сводками Совинформбюро.

В пивной мы зашли в туалет, я передал Мусе листовки и газеты, потом мы выпили по кружке пива и вышли на улицу. Офицеры, друзья Джалиля, стояли на углу.

– Они сейчас к тебе подойдут, – сказал Муса. – Знакомьтесь, а я поехал».

Вернувшись после поездки, Муса возобновил встречи с Рыбальченко. Одна такая встреча произошла на Потсдамерплаце. Муса пришел вдвоем с Алишем.

«Оба они были в приподнятом настроении. Муса предложил поехать куда-нибудь в укромное местечко, где не так многолюдно. Мы сели в метро, доехали до станции Фридрихштрассе и оттуда на электричке выехали в направлении Цоссена. Вышли из вагона на станции Рангсдорф и углубились в лес. Убедившись, что за нами никто не следит, приступили к делу. Листовки из моего кармана сразу переключались к Мусе, а газеты Абдулла спрятал у себя за голенища сапог. Они также привезли мне несколько экземпляров своей листовки на татарском языке. Абдулла тут же перевел ее мне. Первый абзац листовки носил антисоветский характер, а потом неожиданный поворот: «Товарищи легионеры! Не верьте фашистской и белоэмигрантской сволочи! Не поддавайтесь на агитацию заклятых врагов советского народа! Следуйте примеру своих братьев – русских из РОА, повернувших оружие против фашистов!» Далее излагалась история перехода одного из соединений РОА на сторону партизан, как этих людей приняли в свою семью народные мстители и какие подвиги совершают они теперь во славу Родины.

– Что за чертовщина? – недоумевал я. – Зачем вам понадобилось это антисоветское вступление?

Абдулла и Муса рассмеялись, а потом рассказали, как это вышло. В печатной машине был текст антисоветской листовки. А листовка подпольщиков, набранная тем же шрифтом, лежала наготове в укромном месте. Первые отгиски с печатной машины просмотрел ответственный за выпуск белоэмигрант и подписал к печати. А когда он ушел, подпольщики выбросили из машины набор вражеской листовки, оставив только первый абзац для маскировки, а на ее место поставили свой текст. В таком виде листовка вышла большим тиражом. Немецкая экспедиция отправила ее по подразделениям легиона...

Мне стало не по себе. В сердце нарастала тревога. Ведь это может обойтись подпольной группе очень дорого. Никто не может поручиться, что в легионе не найдется предателя, который может донести немцам о содержании листовки.

К счастью, все обошлось благополучно. На этот раз гитлеровцы ничего не узнали. Во всяком случае, не было никаких признаков того, что им известно об этом».

Во второй половине апреля 1943 года Рыбальченко освободили от работы в библиотеке, но он продолжал встречаться с Джалилем.

Рыбальченко подробно рассказывает об одной из таких встреч, которая произошла в городском парке.

«Мы прошли по центральной аллее, затем свернули в одну из пересекающихся узеньких аллеек, густо обсаженную декоративными кустарниками. По обе стороны аллеи стояли выкрашенные голубой краской деревянные скамейки, на спинках которых крупным готическим шрифтом было написано: «Нихт фюр юде!» («Не для евреев!»).

– Какая мерзость! – возмущался Муса, качая головой. – Как у них язык поворачивается называть себя представителями высшей расы!.. Знаешь, что я думаю? После войны, если жив буду, увезу одну такую скамью в Москву, в музей! Этот подлинник объяснит нашей молодежи куда больше, чем целые книги.

У Джалиля был такой вид, что не оставалось никакого сомнения: действительно увезет! Я засмеялся и сказал, что представляю, как он это будет делать.

– А что, возьму и увезу, – уверял он. – А кто запретит?

Мы присели на скамью, выбрав место, где поблизости никого не было, и, продолжая разговор, начали перегружать подпольную литературу из моих в его карманы. Я передал ему по одному экземпляру газет «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда», затем десятка

два листовок, отпечатанных под копирку на папиросной бумаге, – последние сводки Совинформбюро. Только Муса спрятал последние бумажки, как из-за угла, метрах в пятидесяти от нас, появились два вооруженных немца: унтер-офицер с пистолетом на левом боку и ефрейтор с автоматом на груди. У обоих на руках – повязки со свастикой. Мы переглянулись. Уходить, а тем более бежать, было глупо и бесполезно.

– Сидим на месте, – сказал я.

– Тебе-то все равно, а мне каково, – невесело пошутил Муса, покосившись на свои карманы.

Мысль о том, что, может быть, гитлеровцы следили за нами и все видели, бросала меня то в жар, то в холод. Я только успел шепнуть Джалилю: «В случае чего, вырывай автомат», а сам приготовился ударить головой в подбородок унтера. В это время унтер-офицер и ефрейтор молодежато щелкнули каблуками и застыли передо мной по стойке «смирно» с вытянутыми вперед руками:

«Хайль Гитлер!» Я кивнул головой. Унтер вежливо попросил меня предъявить документы.

– Что еще за новость? – покосился я на него, стараясь поостроже смотреть ему в глаза.

– Мы на службе, господин майор! – козырнул он. – Выполняем приказ...

А у «господина майора» в удостоверении значится, что он всего навсего «обер-лейтенант».

Все произошло как-то машинально. Бросив на сконфуженного унтер-офицера презрительный и, видимо, злой взгляд, от которого тот еще больше сконфузился, я достал удостоверение, раскрыл его и резким движением поднес чуть ли не к самому носу унтера. Тот, даже не рассмотрев его как следует, закивал головой: «Порядок, господин майор!» – и протянул руку за удостоверением Мусы, который уже держал его наготове. У меня сразу отлегло от сердца.

– Все в порядке, господин майор! – оба отдали честь, щелкнули каблуками. Я махнул рукой, и они удалились.

С минуту еще мы с Джалилем молча смотрели друг на друга и косили глазами на уходивший патруль. Мне, да, наверно, и Мусе, не верилось, что опасность миновала. Только когда гитлеровцы скрылись за поворотом, Муса спросил у меня:

– Ну как, господин майор?..

– Ничего... А ты?

– Так себе... Не думал уже, что обойдется без драки. Вот как можно влипнуть!..

– А дрался бы? – спросил я.

– Ты сомневаешься в этом?

– Нет, не сомневаюсь, но не был уверен, что ты понял меня.

– Как не понять такой простой вещи? Раз на мою долю выпал автомат, значит, твой пистолет...

Немного успокоившись, мы решили покинуть это место и больше здесь не появляться. От ворот парка повернули влево и дошли до угла, а за углом бесконечно тянулась широкая, сверкающая на солнце импозантная улица.

Сейчас уже не помню точно, была ли то Унтер-ден-Линден или Гитлерштрассе. Мы стояли на углу парка, смотрели на величественную магистраль, утопающую в роскошной зелени лип, и думали, как оказалось, об одном и том же.

– Скоро по этой дороге с грохотом и орудийным громом будут вступать в Берлин колонны наших танков, – задумчиво, полузакрыв глаза, сказал как бы про себя Джалиль. – Дожить бы до того часа...

– И я думаю о том же! – вырвалось у меня.

– Значит, так и будет! – радостно сверкнул он глазами».

РЯДОМ С ДЖАЛИЛЕМ

Важные детали работы подпольщиков в Едлино раскрыло свидетельство Рушата Хисамутдинова, который был рядом с Джалилем в самые трудные дни.

Попав в легион, Хисамутдинов решил при первом же удобном случае бежать к

партизанам. Но Гайнан Курмаш, которому он открыл свой план побега, не одобрил его намерения.

– Бежать в одиночку, – сказал он, – всегда успеется. Перед нами стоит более серьезная задача – вывести к своим весь легион, в полном составе. Только так мы сможем выполнить свой долг перед Родиной.

Курмаш рассказал ему, что в каждой части легиона подпольщики стараются поставить своих людей, что легионеры при приближении к линии фронта должны с оружием в руках переходить к своим, коротко, не называя фамилий, проинформировал о связях с Берлинским подпольем, польскими патриотами и другими группами Сопротивления. Курмаш не скрыл от своего друга, что их старый знакомый, поэт Муса Джалиль, согласился «сотрудничать» с немцами и находится в Берлине, передал слова Мусы о необходимости сменить тактику борьбы.

«Слова Джалиля заставили меня задуматься, – пишет Р. Хисамутдинов. – Да, это был действительно смелый, самоотверженный план».

Вскоре Хисамутдинову предложили руководить музыкальной капеллой. После беседы с Курмашем он уже знал, что именно здесь, в Едлино, находится основное ядро подпольной организации, поэтому согласился без уговоров, хотя и был по специальности ветеринарным врачом.

Правда, его не покидали сомнения, удастся ли осуществить задуманное, узнают ли, поймут ли на Родине, что он согласился надеть ненавистную фашистскую форму только в целях конспирации, в целях борьбы. И только когда в легионе распространилась весть об удачном переходе к своим первого батальона, Хисамутдинов воспрянул духом. Подпольщики широко использовали этот факт в конспиративных беседах. Ведь это была первая убедительная победа подпольной организации. Настроение людей сразу поднялось.

В начале мая 1943 года музыкальная капелла выехала на экскурсию в Берлин. Там «артистов» встретил улыбающийся Муса. Он был рад встрече с друзьями и тому, что фашистам не удалось сделать из легионеров предателей. Во время посещения Берлинского зоопарка Муса и Курмаш отозвали Хисамутдинова в сторону. Они остановились у клетки с обезьянами.

– Смотри на этих обезьян, – сказал Муса Хисамутдинову, – и слушай внимательно. С этого дня по рекомендации Курмаша ты – член подпольной организации. Поклянись, что каждая капля твоей крови будет принадлежать Родине.

Затем Муса коротко рассказал о положении на фронте и напомнил, что главная задача теперь – готовить к переходу на сторону своих и другие части Татарского легиона.

Перед отъездом Джалиль дал Хисамутдинову и Курмашу две пачки листовок. В них приводились последние сводки Совинформбюро с призывом к легионерам повернуть оружие против фашистов. Листовки были написаны по-русски. Внизу стояла подпись: «IV комитет».

После поездки в Берлин деятельность группы Хисамутдинова оживилась, хотя работать стало много труднее. Немцы уже не доверяли легионерам как прежде. Усилилась слежка, начались аресты. Но все это делалось пока наугад.

Музыкальная капелла часто выезжала с концертами в лагерь, где находились татарские легионеры, – Радом, Крушино, Демблин, Узедом, Дрезден. Нередко вместе с капеллой ездил и Джалиль. Обычно он не принимал участия в концертах, используя «гастроли» для встреч с нужными людьми. Зачастую во время концерта «артисты» незаметно распространяли среди собравшихся антифашистские листовки.

Борьба подпольщиков велась на широком фронте. Помимо Берлина и Радома, ответвление подпольной организации существовало в Познани. По просьбе татарского эмигранта, фабриканта Искандера Яушева на его военное предприятие в Познани прислали группу легионеров (примерно 25–30 человек). Из старых знакомых Джалиля сюда попали Назиф Надеев и Салих Ганеев. Яушев надеялся сделать из своих земляков надсмотрщиков над польскими рабочими.

С первых же дней прибывшие начали искать связи с польскими патриотами. С большим трудом удалось преодолеть вполне понятное недоверие поляков. Раздобыли радиоприемник и распространяли среди рабочих листовки со сводками Совинформбюро. В одной из передач сообщалось, что в Советском Союзе формируются польские дивизии. Этому событию

посвятили отдельную листовку. Она вызвала живой отклик у польских рабочих. И вот первая совместная операция – во время ночной бомбардировки Познани польские патриоты подожгли цех. Подпольщики, как было условлено заранее, заперли снаружи пожарную команду фабрики. Когда пожарникам наконец удалось выбраться – было уже поздно: пламя охватило весь цех. Сгорело немало готовой к отправке военной продукции.

В следующий раз решили по частям вынести с заводской территории пулемет. В проходной существовала сигнализация, реагирующая на металлические предметы. Член подпольной группы Гимранов (Яушев поставил его охранником в проходной) по предварительной договоренности с поляками в нужный момент отключил ее. Таким образом, удалось вынести ряд деталей к пулемету. Но на этот раз операция сорвалась. Кто-то выдал поляков, и их, а вслед за ними и Гимранова, арестовали, судили судом военного трибунала и расстреляли.

Вскоре арестовали еще семь-восемь легионеров из военизированной охраны завода. Остальных отстранили от работы и послали работать в имение какого-то немецкого помещика. Многие позднее бежали отсюда к польским партизанам.

Салих Ганеев, который также оказался в числе арестованных, рассказывает, что немец-следователь настойчиво пытался установить связь познанской группы с группами в Берлине и Радоме, расспрашивал, был ли Ганеев знаком с Мусой Джалилем, Ахметом Симаевым, Абдуллой Алишем, Гайнаном Курмашевым. Ганеев все отрицал. В конце концов, так ничего и не добившись, его отправили в концлагерь Бухенвальд...

Подпольные группы существовали также в Крушино, Седльце, Демблине и других лагерях.

Фельдшер Толкачев рассказывает, что в начале июня 1943 года в Демблин приехала музыкальная капелла легиона. Послушать концерт собрались не только татары и башкиры, но и военнопленные других национальностей. На деревянные подмости, сколоченные в центре аппельплаца, вышли музыканты в серо-зеленой форме. Они исполняли татарские и башкирские мелодии, пели, танцевали. Сверкали на солнце новенькие гитары и мандолины, отбрасывали яркие блики лады аккордеона.

Поднялся на подмости и Муса Джалиль (он был в сером гражданском костюме и белой рубашке с темным галстуком). Поэт прочел несколько своих стихотворений. Правда, встретиться и поговорить им на этот раз не удалось. Но после концерта к Толкачеву подошел какой-то высокий незнакомец с оспинами на лице, в форме унтер-офицера. (Судя по всему, это был Рахим Саттар.) Отведя Толкачева в сторону и понизив голос, он передал поручение Джалиля: быть готовыми к «генеральному выступлению». Как только в Едлино начнется «концерт», надо, чтобы к нему присоединились и «артисты» из Демблина. Так Толкачев узнал, что в Едлино готовится вооруженное восстание.

ДОНОС «ПРЕЗИДЕНТА»

Как-то мне позвонил старший следователь Мансур Абдурахманович Аминов:
– Рафаэль Ахметович, загляните ко мне при случае. Я тут раскопал весьма любопытный документ...

И вот передо мной чуть тронутые желтизной листы лощеной бумаги с четко отпечатанным машинописным текстом на немецком языке. В левом верхнем углу – регистрационный номер и гриф «Совершенно секретно». Листы адресованы зондерфюреру Людерзену. В конце, после традиционного нацистского «Хайль Гитлер!», стоит подпись «президента» никогда не существовавшего государства «Идель-Урал» Шафи Алмаса.

Нет никакого сомнения, что это – донос, злобный, грязный. И в то же время эти листы проливают свет на страницы героической борьбы джалильцев с сильным и опасным врагом в самом сердце фашистской Германии.

В январе–феврале 1943 года для работы в редакции «Идель-Урал» руководство Татарского комитета привлекло группу бывших военнопленных, в том числе Рахима Саттарова и Абдуллу Алиша. О них-то и строчит донос Шафи Алмас. Он «информирует» начальство, что лица эти не оправдали возложенных надежд и вместо «борьбы с большевизмом» протаскивают в газету «пробольшевистские» статьи и материалы.

«Уже более трех месяцев работают они в газете, но до сих пор не написали ни одной пропагандистской статьи против большевизма. Вся их работа ограничивается тем, что они переписывают биографии знаменитых личностей татарского народа, печатают стихи национальных поэтов и переводят маленькие, незначительные сообщения из русских газет. Наши старания включить их в активную работу и побудить написать антибольшевистские статьи не имели успеха и встречали даже открытое сопротивление».

Шафи Алмас пока еще ничего не знает о тайной деятельности своих сотрудников (донос написан 3 мая 1943 года). Но он чувствует, что между «большевистскими призывами», которые каким-то непонятным образом распространяются среди военнопленных-татар, и деятельностью этих лиц в газете существует определенная связь.

«Это сопротивление, – продолжает «президент», – исходит от легионера Саттарова, который стремится повернуть газету так, чтобы она если не выражала пробольшевистские настроения, то хотя бы не нанесла вреда большевизму. Вот несколько примеров, которые выражают его взгляды:

I. В марте этого года большевики обратились к бойцам Красной Армии татарской национальности, находящимся в плену у немцев (к сожалению, об этом я прочитал лишь на днях), с призывом защищать Россию, которую они называют общим отечеством.

В этом призыве упоминается стихотворение татарского поэта Тукая, в котором он воспевал единство русских и татар. Именно в это время Саттаров написал статью для газеты «Идель-Урал», где он выразил эту же идею о единстве русского и татарского народов и общности их интересов и сохранил буквально это стихотворение. Стихотворение мы в переводе прилагаем. Статью Саттарова, как пробольшевистскую по содержанию, я отклонил.

II. Господин Саттаров с одним сотрудником газеты написал статью о Казани, в которой подчеркнул грандиозное развитие города в период большевистского режима и указал даже на заслуги Ленина, который предоставил татарам автономную республику.

(Интересно, что подобные аргументы были также в вышеуказанном призыве большевиков.)

После этих случаев мы считали необходимым очень внимательно относиться к работе господина Саттарова.

III. Чтобы проверить настроение работающих в газете легионеров, им предложили написать обращение к бойцам Красной Армии татарской национальности. Но господин Саттаров от имени всех легионеров отклонил это предложение.

IV. В газете появился исторический рассказ Саттарова «Кто виновен?», в котором он в завуалированной форме проводит идеи классовой борьбы.

Все эти случаи, а также проведенные с ним различные беседы убеждают в том, что Саттаров не пригоден для предназначенной ему должности, а по своим взглядам является даже вредным человеком. И не только это: Саттаров – человек, который методами большевистской пропаганды, построенной на лжи и обмане, пробуждает веру в лучшее и умеет в замаскированной форме преподносить это в кругу легионеров и в разговорах с ними.

Дальнейшее пребывание Саттарова в качестве сотрудника редакции может привести к тому, что политический уровень газеты полностью ухудшится, т.е. в лучшем случае газета станет безобидной, оказывать необходимое воздействие не будет и как оружие пропаганды окажется несостоятельной. Именно достичь это и является целью большевиков».

Необходимо помнить, что Шафи Алмас, как главный редактор, старается представить газетные дела в более или менее благоприятном свете. Так, он не упоминает о том, что Рахиму Саттарову удалось поместить в газете анекдот «Временно и свинья может быть зятем». Анекдот этот вызвал переполох среди руководства легиона, так как большинство читателей увидело в нем прозрачный намек на временность «союза» с гитлеровцами. Не пишет Шафи и о том, что Алиш напечатал в газете большую статью о необходимости объединить усилия военнопленных разных национальностей «против общего врага». Читатели без труда поняли этот намек. Боясь ответственности, Шафи Алмас не стал поднимать шума. Но случай этот, конечно, не прошел незамеченным.

Более определенно высказался о газете «Идель-Урал» эсэсовец Райнер Ольцша:

«Газетенка была бледной и невлиятельной».

Зная, что начальство не похвалит его за развал работы, Шафи Алмас взваливает вину на новых сотрудников редакции, прежде всего на Рахима Саттарова, который, по его словам, «внедрен большевистским командованием преднамеренно, с целью как можно больше нанести вреда и помешать нашей общей работе».

После такого доноса Саттарова ожидало одно – арест и расправа. Удалось ли подпольщикам узнать о доносе? Или они почувствовали, что над головой Рахима сгущаются тучи? Как бы то ни было, Саттаров исчез. Только в последние годы удалось выяснить некоторые подробности.

В мае 1943 года Саттаров по согласованию с заместителем редактора К. Галеевым выехал в Едлино. А недели через две пришло известие, что Саттаров бежал на восток.

Бежали группой в пять человек. Подпольщики снабдили их подложными документами, оружием, картами, компасом, продовольствием. В группе было два шофера – чтобы в случае необходимости воспользоваться захваченными в пути машинами.

Перед группой стояла задача: пересечь линию фронта и информировать советское командование о подпольной патриотической организации в легионе «Идель-Урал» и готовящемся вооруженном восстании легионеров.

До сих пор ничего неизвестно о судьбе Саттарова и членов его группы, кроме того, что старика поляка, проводившего беглецов лесами и потайными тропами до Варшавы, немцы арестовали и расстреляли.

Заместитель редактора газеты «Идель-Урал» Галеев, задержанный советскими войсками, дал следующие показания:

«Осенью 1943 года (точнее не помню) Абдуллу Алиша вызвали к начальнику шестого отделения отдела пропаганды Восточного министерства зондерфюреру Людерзену. От него он не вернулся. Знаю, что Алиш сидел в берлинских тюрьмах, в частности, в Шпандау.

Через несколько дней меня вызвали к Шафи Алмасу. Шефа не было на месте, в его кабинете сидел гестаовец в форме обер-лейтенанта и с ним унтер-офицер – переводчик. Обер показал мне листовки – в четверть листа, отпечатанные на машинке и размноженные на гектографе. Их содержание – призыв к легионерам переходить на сторону Советской Армии и партизан. Обер начал допытываться, кто печатал эти листовки и что я знаю о сотрудниках редакции и комитета. Особенно он расспрашивал меня о Саттарове, спрашивал, поддерживал ли я с ним связь после его отъезда из Берлина. Я ответил, что получил от Саттарова всего одно письмо. Он писал, что задерживается в легионе.

– А еще? – допытывался обер.

– Больше ничего, – ответил я».

По всей видимости, Саттаров не попал (во всяком случае, живым) в руки врага. Не удалось ему перейти и на сторону советских войск. Скорее всего, группа погибла во время перестрелки с гитлеровцами.

«При отъезде Саттарова в легион, – продолжал Галеев, – мы провожали его вдвоем с Алишем. По настроению Саттарова было видно, что в Берлин он больше не вернется. Потом я слышал, что он бежал с оружием, подговорив четырех других легионеров. Но еще до этого я знал, что Саттаров настроен антифашистски. Так, он хранил какой-то шнур от парашюта и говорил, что это будет его пропуск к Красной Армии».

Известно, что Саттаров служил в десантных частях. Не это ли имел в виду Шафи Алмас, говоря, что Саттаров «внедрен большевистским командованием преднамеренно»?

СИЛЬНОЕ ПРОТИВОЯДИЕ

В 1943 году германскую прессу представляли три тысячи дневных и вечерних газет, еженедельников, иллюстрированных журналов. Мощные радиостанции в Берлине и других городах третьего рейха круглосуточно вещали чуть ли не на всех языках мира. На читателей и слушателей обрушивалась лавина фашистской пропаганды. И всей этой лжи и клевете надо было противопоставить единственное противоядие – правду.

Пока не найдено ни одного экземпляра листовок группы Джалиля. Это и понятно: листовки передавали из рук в руки, и только самым надежным, проверенным людям, а затем уничтожали. Шанс сохраниться имели только те немногие экземпляры, которые попали в гестапо. Вероятно, они были приобщены к делам джалильцев и погибли вместе со всеми другими судебными архивами при бомбежке Дрездена.

Фарит Султанбеков рассказывает, что Джалиль назначил его и Зинната Хасанова связными между Берлином и Радомом и представил их Алишу.

«Мы несколько раз заходили к нему за листовками. Кто печатал листовки, я не знаю, но хранил их Алиш у себя. Жил он в Берлине недалеко от типографии.

Листовки возили обычно в пакетах вместе с газетой «Идель-Урал». Для отвода глаз сверху и снизу клали несколько экземпляров газеты и тщательно перевязывали. Иногда приходилось везти и одни листовки. В таком случае укладывали их на дно чемодана, завернув в немецкие газеты. Чемодан ставили у открытого окна вагона, чтобы, в случае необходимости, можно было избавиться от него. Вначале под листовками стояла подпись «IV комитет», затем «Патриот».

Содержание листовок, по словам Султанбекова, было примерно следующим:

«...Товарищи красноармейцы! Под страхом голодной смерти, обманном путем фашисты принуждают вас вступить в легион, чтобы идти против своих отцов, матерей, братьев и сестер. Поверните это оружие против своих врагов – фашистов...»

В другой листовке говорилось, что пленных с нетерпением ждут на Родине их матери, жены, дети, любимые, верят им. Она напоминала, что им предстоит держать ответ перед Родиной, призывала при первом же удобном случае переходить к партизанам. «Вернемся же подлинными патриотами, выполнив долг перед Отчизной! Будем бить фашистского зверя в его собственном логове!» – такими словами заканчивалась листовка.

Бывший переводчик Волго-татарского легиона Фридрих Биддер (см. о нем подробнее в главе «Они вели себя геройски») рассказывает о случае, глубоко врезавшемся в его память. Однажды среди руководства легиона начался переполох: на территории одного из лагерей, где располагались татарские легионеры, обнаружили антифашистские листовки. По прошествии многих лет Ф. Биддер уже не помнил подробностей. Но его рассказ подтвердили и дополнили документы из трофейных немецких архивов.

В рапорте на имя начальника отдела один-це, подписанном командиром четвертого батальона, говорится:

«20 июня 1943 года во время обыска, проводившегося по моему приказанию в расположении четвертой роты батальона в г. Скаржиско-Каменна, у старшины Сулейманова под матрацем была обнаружена и изъята антинемецкая листовка. Будучи допрошенным, он показал, что нашел ее в районе железнодорожного моста, который охраняла рота. Сулейманов – татарин из Уфы, в прошлом имел хорошую репутацию...»

Сулейманова подвергли допросу «с пристрастием». Однако он никого не выдал, твердо стоял на своем: нашел, и все тут. Такая версия в какой-то мере даже устраивала руководство легиона, так как всю вину перекладывала на поляков. Отчет о допросах направили в Берлин. Но оттуда пришло указание продолжать следствие.

Дальнейшее расследование показало, что за две недели до находки листовок в Скаржиско-Каменна приезжал руководитель музыкальной капеллы легиона Гайнан Курмаш. Отделу разведки было известно, что Курмаш поддерживает тесную связь с Джалилем-Гумеровым из Татарского посредничества в Берлине... В связи с этим осведомители получили указание – контролировать каждую поездку легионеров в Берлин за газетой «Идель-Урал». Хотя у отдела один-це и были в культзведе свои агенты, гауптман Геле посоветовал внедрить туда еще парочку осведомителей. Тогда-то и появился в бараке, где жили музыканты и пропагандисты, остролицый, невысокий очкарик Махмут Ямалутдинов...

Ф. Биддер вспоминает, что листовка была написана по-русски и призывала легионеров готовиться к дню «икс», то есть к восстанию против фашистов. Были привлечены опытные

эксперты, которые начали по всей Польше и Германии поиск пишущей машинки, на которой отпечатан оригинал листовки. Каково же было удивление немецких офицеров, когда вдруг выяснилось, что листовка отпечатана в министерстве пропаганды в Берлине, можно сказать, под носом самого Геббельса! Этот факт настолько поразил Ф. Биддера, что к нему он не раз возвращался во время нашей встречи в Белциге. Кто именно печатал листовку, Биддер не помнит. Припоминает только, что ее отпечатал на машинке какой-то татарин, очевидно, сотрудник министерства.

Более детально рассказывает об этом эпизоде гауптштурмфюрер СС Райнер Ольцша, который руководил в ведомстве Гимmlера разведывательной работой в легионе. Ольцша уточнил, что подлинник листовки был отпечатан на пишущей машинке с русским шрифтом, находившейся в татарской студии радиостанции «Винета» (студия располагалась в здании министерства пропаганды).

Как только гауптштурмфюреру доложили об этом, он распорядился представить ему список всех сотрудников татарской студии с агентурной характеристикой на каждого. Особое подозрение вызывал сотрудник студии Ахмет Симаев, который, как было установлено, поддерживал тесную связь с Джалилем-Гумеровым. Обстоятельства, при которых Симаев попал в плен и оказался на радиостанции «Винета», давали основание подозревать его в причастности к советской разведке. Его взяли под плотное наблюдение. Позднее при обыске на квартире Симаева обнаружили несколько экземпляров листовок, пачки восковок и радиодетали для передатчика. Всех сотрудников татарской студии сняли с работы и арестовали. В тюрьму угодила и Шамсия Идриси. Лишь с большим трудом, после многочисленных ходатайств, ее мужу удалось вызволить жену из лап гестапо. Но это было позднее, а пока за каждым из них установили тщательную слежку.

Эксперты выяснили, что листовки размножались на ротаторе Татарского посредничества. Заведующий типографией посредничества Раис Самат, вызванный в имперское управление безопасности, настолько перепугался, что начал заикаться. Чтобы выгородить себя, он всю вину свалил на сотрудников посредничества Гарифа Шабаева и Фуата Булатова. Они, мол, часто оставались в типографии одни и вообще сочувствуют большевикам... Его показания подтвердились. Кроме того, за Самата поручился сам «президент» Шафи Алмас. Так следствие вышло на след Шабаева и Булатова – верных друзей и соратников Мусы Джалиля. Петля затягивалась все туже...

По сведениям журналиста Сергея Кристи, Алиш познакомился с несколькими болгарскими студентами-антифашистами, которые работали в одной из берлинских типографий. Через них удалось наладить печатание листовок типографским способом. Как видим, интернациональные связи подпольной группы были довольно широкими.

ПРОВАЛ

В конце июля 1943 года в Едлино снова приехал Джалиль. Он привез новую установку подпольного центра: поскольку после восстания в первом батальоне гитлеровцы не решались больше посылать на фронт части Татарского легиона, было решено поднять восстание в самом легионе, соединиться с расположенными неподалеку Армянским легионом и польскими партизанами и с боями пробиваться навстречу наступающим частям Красной Армии. План был дерзок до невероятности. Но именно в этой дерзости и неожиданности крылась и возможность успеха.

Официально Джалиль приехал для постановки силами музыкальной капеллы своей новой музыкальной комедии «Шурале». Разрешение на ее постановку он получил в Берлине. Под видом репетиций подпольщики обсуждали детали предстоящего восстания.

Вспомним июльские дни 1943 года. Далеко на востоке грохотала Курская битва, закончившаяся полным провалом немецкого плана «Цитадель». Фашистам не удалось сомкнуть клещи в районе Курска. Советская Армия перешла в контрнаступление.

5 августа советские войска освободили Орел. Лондонское радио в своей передаче от 7 августа говорило: «Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство».

События под Курском означали решительный перелом в ходе Великой Отечественной войны. Хорошо понимая это, подпольщики готовили удар по врагу с тыла. Оттянуть на себя хотя бы часть войск противника означало в такой обстановке существенную помощь фронту. Подпольщики торопились. И, увлекшись, забывали о бдительности.

Только сейчас, когда обнаружен целый ряд секретных документов из немецких архивов, становится ясно, какая разветвленная и мощная сеть тайных осведомителей, доносчиков, провокаторов, платных агентов абвера и гестапо противостояла подпольщикам. Фашизм страшен тем, что калечит людей духовно, ищет слабых и неустойчивых, вербуя доносчиков среди «своих», стараясь привлечь тех, подозревать которых никому и в голову не придет.

Мог ли Джалиль подумать, что бывший школьный учитель, младший лейтенант Красной Армии Исламгулов, с которым он не раз доверительно разговаривал, значится в картотеке гестапо как агент № Р621? (В агентурной характеристике на него говорится: «Идеалист, приносит мало, но хорошие донесения».) У Мусы хватило осторожности не посвящать его в планы подпольной организации...

Один из осведомителей доносил, что Абдулла Баттал заводит с легионерами странные разговоры. Вроде бы интересуется мнением собеседника... «А вдруг победят наши? Какими глазами посмотрим на своих? Отвечать-то рано или поздно все равно придется...»

А. Баттала арестовали. Он все отрицал. Никто из тех, на кого показал осведомитель, не подтвердил его показаний, и Баттала вынуждены были освободить. Но досье на него, а вместе с ним и подозрение остались.

После восстания в первом батальоне отдел один-це получил указание – резко активизировать работу и пересмотреть в легионе всех поименно. На Г. Унгляубе возложили задачу сделать то же самое в отношении сотрудников Татарского посредничества.

Муса в эти дни был окрылен. Он верил в успех. Встретившись с Гайнаном после поездки в Берлин, Джалиль сказал ему: «Лишь бы начать, а там дело пойдет...» Курмаш был более сдержан. Он чувствовал неладное, понимал, что гестапо не дремлет, но тоже надеялся опередить немцев.

Поэт и его товарищи были еще на свободе, но на каждого из них в имперском управлении безопасности уже имелось солидное досье. Уточнялись списки лиц, подлежащих аресту. В составлении этих списков принимали участие и «татарские деятели» Шафи Алмас и Гариф Султан. Руководство легиона опасалось, что подпольщики перенесут день «икс» на более раннее число, и торопило с арестами.

Последнее совещание подпольщиков состоялось восьмого или девятого августа. На нем присутствовали Джалиль, Курмаш, Сайфельмулюков и Хисамутдинов. На страже стоял Гараф Фахрутдинов. Муса сообщил, что связь с партизанами и Красной Армией налажена. Подпольщики распределили обязанности. Группа Сайфельмулюкова должна была уничтожить штаб, группа Хисамутдинова – захватить орудия и лошадей, Курмашу было поручено вместе со своими людьми перебить охрану, Фахрутдинову – перерезать связь. Восстание было намечено на 14 августа. Однако 11 августа утром всех «артистов» вызвали в солдатскую столовую якобы на репетицию. (Немец-посыльный велел захватить с собой музыкальные инструменты.)

Подходя к столовой, как об этом вспоминает Хисамутдинов, он заметил, что у дверей и каждого окна стоят немецкие автоматчики. Сердце его упало. Он понял, что это – провал.

В столовой их встретил начальник разведки легиона капитан Линкес. Пересыпая речь отборными ругательствами, он принялся кричать, что в легионе свили гнездо враги татарского и немецкого народов, которые использовали доверие фюрера для подрывной работы против великого рейха. Затем, достав из нагрудного кармана список, он принялся выкликать арестованных по фамилиям.

Первым увели Гайнана Курмаша. Затем – Хисамутдинова. Едва он переступил порог соседней комнаты, как его опрокинул сильный удар. Его тщательно обыскали, отобрали ремень и легионерскую книжку и поставили лицом к стене. Краем глаза он видел, что такая же участь постигла и его товарищей – Хасанова, Баттала, Сайфельмулюкова и других. Но Джалиля среди них не было. Видимо, его взяли отдельно. Всего в этот день в Едлино арестовали более тридцати человек.

Арестованных допросили, а затем, надев наручники, под усиленным конвоем отправили в

варшавскую тюрьму. Пока их везли в крытой машине, мозг сверлила одна мысль: «Кто же выдал?» Хисамутдинов смотрел на суровые, резко осунувшиеся лица друзей в ссадинах и кровоподтеках и читал на них тот же безмолвный вопрос:

«Кто предатель?»

ТРИНАДЦАТЫЙ

24 апреля 1950 года следственные органы задержали заместителя председателя Боровского сельпо Кустанайской области Махмута Ямалутдинова. Арест был неожиданным как для сослуживцев Ямалутдинова, так и для его родных и близких. Его знали как исполнительного работника, примерного семьянина, трезвого и аккуратного человека. Ямалутдинов ни выговоров, ни замечаний по службе не имел. До того как его выдвинули на пост зампреда, он работал заведующим складом, и ни разу у него не обнаружили ни малейшей недостачи. Начальство ценило Ямалутдинова, несколько раз отмечало его премиями. «С порученным делом справляется успешно, общественные поручения выполняет, идейно выдержан, морально устойчив» – так говорилось в приложенной к делу характеристике.

Правда, были у него странности.

Ямалутдинов отличался замкнутым характером, вне службы ни с кем не общался. Гостей не принимал и сам не любил быть на людях. После работы сразу шел домой, в кино и на концертах приезжих аристов бывал редко. Жена Ямалутдинова жаловалась соседкам, что он и ее никуда не пускает, заставляет сидеть дома.

И еще у Ямалутдинова, видимо, нервы были не в порядке. Если без стука входили в его кабинет, он вздрагивал и бледнел. Не выносил, когда кто-нибудь стоял или сидел за его спиной. Даже за столом президиума на собраниях стремился сесть сбоку, поближе к выходу. Если же кто-нибудь оказывался за ним, Ямалутдинов беспокойно ерзал, поминутно оглядывался и в конце концов пересаживался на другое место. Сослуживцы знали об этой его странности и объясняли ее тем, что человек всю войну провоевал в тылу врага.

И вот перед следователем сидит худощавый, бледнолицый, внешне ничем не примечательный человек. Черные гладкие волосы зачесаны назад, открывая ранние залысины. Лицо продолговатое, подвижное. Тонкий с горбинкой нос, поджатые губы. Круглые очки в металлической оправе придают ему солидность. Ямалутдинов выглядит намного старше своих двадцати девяти лет.

Следователь просит Ямалутдинова рассказать биографию. В ней также нет ничего примечательного.

Родился в 1921 году. После окончания восьми классов работал секретарем нотариальной конторы. В 1940 году его призвали в армию. В первые же дни войны был ранен, попал в окружение и присоединился к партизанам. В их рядах воевал до 1944 года, после чего снова влился в состав регулярных соединений наших войск.

– Расскажите подробнее, как вы оказались в окружении? Каким образом попали к партизанам?

Ямалутдинов бросает на следователя быстрый взгляд. Чутьочку помедлив, припоминает подробности.

Моторизованные немецкие части обошли их с флангов, и уже на третий или четвертый день войны они оказались в окружении. Ямалутдинов получил тяжелое ранение. Осколком была перебита кость ноги, идти не мог. Но товарищи не бросили его, понесли на себе. Около полутора месяцев, разбившись на небольшие группки, лесами и болотами пробирались к своим. Не раз натыкались на немецкие патрули, теряли товарищей. Нога Ямалутдинова распухла, рана нагноилась. В конце концов товарищам пришлось оставить его на небольшом польском хуторе.

Хозяева заботились о нем, кормили, ухаживали, доставали лекарства, несколько раз привозили доктора. Постепенно Ямалутдинов поправился. Хозяева помогли ему найти польский партизанский отряд. В его составе Ямалутдинов, по его словам, провоевал до лета 1944 года. Много раз участвовал в боевых операциях, диверсиях, выполнял ответственные задания. Затем вместе с группой других советских людей присоединился к партизанскому

отряду под командованием Ивана Золотаря, как его называли партизаны. Вскоре линия фронта подошла к Белоруссии, и их отряд соединился с регулярными частями нашей армии.

Следователь слушает, записывает, кивает. Все правильно, все так, как зафиксировано в личном деле Ямалутдинова. И главное, почти все подтверждается документами. Следователь рассматривает справку с лиловой, расплывшейся печатью за подписью командира партизанского отряда Золотарева, удостоверяющую, что Ямалутдинов в составе этого отряда летом и осенью 1944 года действительно принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. А вот бумага на польском языке, написанная, по-видимому, наспех и скрепленная несколькими подписями. Судя по дате, она написана в тот день, когда Ямалутдинов покидал отряд. Экспертиза подтвердила подлинность этих документов. Но вот что странно: дата ухода из отряда указана, а когда он вступил в отряд – не зафиксировано. Следователь спрашивает об этом Ямалутдинова. Тот пожимает плечами:

– До справок ли тогда было?

В личном деле Ямалутдинова хранится еще одна справка, подтверждающая, что он в мае 1945 года прошел так называемую фильтрацию на проверочном пункте неподалеку от Львова и что в преступлениях против Родины не замешан. Еще до встречи с Ямалутдиновым следователь послал запрос в соответствующие организации и получил подтверждение подлинности справки. Следователь задает еще несколько незначительных вопросов, потом неожиданно спрашивает:

– Имя поэта Мусы Джалиля ни о чем вам не говорит?

– Мусы Джалиля? – Ямалутдинов напряженно морщит лоб. – Ах да, Джалиля! Знать я его не знал, конечно, но слышал от бывших военнопленных, что был в Германии такой татарский поэт.

– И что вы о нем знаете?

– Нехорошо о нем говорили, – вздыхает Ямалутдинов. – Говорили, что он добровольно сдался в плен, а потом пошел на службу к фашистам. Помогал им формировать Татарский легион, сотрудничал в фашистских газетах. Его видели в немецкой форме. Продажная, видать, оказалась душонка...

А теперь о некоторых обстоятельствах, предшествовавших этому аресту.

Когда в 1946 году на Родину вернулась первая тетрадь Джалиля, стали известны и имена тех, кто сидел вместе с ним в фашистской тюрьме: Гарифа Шабаева, Ахмета Симеаева, Абдуллы Баттала, Гайнана Курмаша, Абдуллы Алиша, Фуата Булатова и других. Всего в списке Джалиля двенадцать человек. Затем проведена жирная черта и размашисто, торопливым почерком приписано:

Предатель – Ямалутдинов, из Узбекистана

Именно эта запись явилась той ниточкой, которая помогла распутать клубок.

Друзья поэта рассуждали так: вряд ли кто-либо из соратников Джалиля остался в живых – все они, должно быть, казнены фашистскими палачами. Но предатель... Он мог сохранить ценой предательства свою подлую жизнь, мог даже вернуться домой. Они обратились в следственные органы с просьбой объявить розыск этого человека.

В Узбекистане такого человека не нашли. В Кустанайской области Казахской ССР был обнаружен некий Махмут Ямалутдинов, работник потребкооперации. Но, судя по документам, он всю войну провоевал в партизанах и, следовательно, никак не мог быть «тринадцатым». Кроме того, в свое время он уже прошел проверку, поэтому особенно копаться в его прошлом не стали.

Таким образом, розыск не дал никаких результатов. Вернее, почти никаких, так как Ямалутдинова из Кустанайской области все же взяли на заметку. Впрочем, при такой скудности исходных данных трудно было и рассчитывать на иной результат.

Проходили месяцы, годы. Откуда-то распространялись грязные слухи о Джалиле. Источник этих сплетен долго не удавалось установить. Но было ясно: кто-то заинтересован в том, чтобы очернить доброе имя поэта.

Положение осложнялось тем, что в те годы о подпольной патриотической деятельности группы Джалиля не было известно почти ничего достоверного. Следователю приходилось быть одновременно и историком-исследователем. Тысячи просмотренных документов, бумаг, следственных дел над изменниками Родины и теми, кто оказался в легионе «Идель-Урал»...

Беседы с десятками людей... И наконец удача – нашелся человек, которого все считали погибшим, – ветеринарный врач Рушат Хисамутдинов. Вот он сидит перед следователем – плотный, грузноватый, средних лет мужчина с усталым лицом и спокойными глазами.

Не называя фамилии, следователь знакомит Хисамутдинова с показаниями Ямалутдинова о Мусе Джалиле.

– Ложь, – возмущенно заявляет Хисамутдинов. – Бессовестная ложь.

Он просит следователя подробно записать его показания о подпольной деятельности группы Джалиля. Эти показания имели немалое значение для реабилитации поэта и его товарищей.

– Знаете ли вы, кто выдал подпольщиков?

– Да, знаю, – уверенно отвечает Хисамутдинов. – Махмут Ямалутдинов.

– Откуда вы это знаете?

– Когда нас повезли в Берлин, я оказался рядом с Абдуллой Батталом. Улучив момент, я спросил у него: «Не знаешь, кто нас выдал?» – «Махмут Ямалутдинов», – ответил он.

– Вы сможете опознать предателя?

– Вряд ли. Я его почти не знал. Помню, что был в лагере такой легионер, довольно молодой, невзрачного вида. Я не обращал на него особого внимания. Он заходил в барак культзвода, интересовался художественной самодеятельностью, говорил, что на школьных вечерах он тоже читал стихи со сцены. Видимо, ему хотелось войти в состав музыкальной капеллы, но его не взяли из соображений конспирации. Знаю, что позднее он работал пропагандистом.

– А кто ближе знал Ямалутдинова и мог бы опознать его? Из оставшихся в живых, разумеется...

Подумав, Хисамутдинов отвечает:

– В живых должен был остаться еще один человек, арестованный вместе с нами. Он наверняка знает предателя. В списке Джалиля он записан как Мичурин. Но подлинная его фамилия другая...

Следователю удалось найти и этого свидетеля. Настоящая его фамилия Курбанов.

Курбанов попал в плен в первые месяцы войны. В конце 1942 года оказался в легионе «Идель-Урал». Немцы направили его на курсы пропагандистов, а после окончания курсов назначили руководителем группы пропагандистов в легионе. Подпольщики сделали попытку привлечь его на свою сторону. Курбанов согласился. Вначале ему давали незначительные поручения, проверяли, не доносит ли он гитлеровцам. Убедившись, что такой связи нет, его приняли в подпольную организацию. Должность Курбанова позволяла ему знать о важных назначениях и перемещениях в легионе, о том, кто особенно близок к гитлеровцам и кого следует опасаться. По заданию подпольщиков он рекомендовал немцам на должность пропагандистов своих людей.

Такого оборота Ямалутдинов не ожидал. Он мирно беседовал со следователем, когда в комнату вошел Курбанов. Ямалутдинов умолк на полуслове.

– Что, гад, не ожидал? Думал, меня уже на свете нет и концы в воду? Сволочь продажная! – «приветствовал» его Курбанов.

Ямалутдинов растерянно молчал. Лицо его залила бледность.

– Не отводи свои бесстыжие глаза! – гремел Курбанов. – Гад ползучий!..

– Свидетель Курбанов! – перебивает его следователь. – Садитесь. Вы знаете сидящего перед вами человека?

– Да я его, гада, из тысяч узнаю...

– Напоминаю: без оскорблений. Если знаете, назовите фамилию, имя, отчество, откуда знаете?

– Это Ямалутдинов Махмут, отчество не помню. Знаю его по совместной службе в легионе «Идель-Урал».

– Обвиняемый Ямалутдинов, узнаете ли вы сидящего перед вами человека?

Но Ямалутдинов уже овладел собой. Пытаясь придать своему голосу безразличие, он твердо отвечает:

– Нет, не знаю.

Курбанов даже слов не находит от возмущения.

– Как не знаешь? А забыл, как вместе шнапс пили? А как пропагандистом в легионе работал, тоже забыл? Да тебя там десятки людей видели, они подтвердят...

– Личных счетов между вами не было?

– Какие могут быть личные счета с предателем! – машет рукой Курбанов.

– Я не знаю этого человека, – упорно твердит свое Ямалутдинов.

– Ну что ж, – спокойно говорит следователь, закончив оформлять официальную часть протокола. – Теперь, свидетель Курбанов, перейдем к вашим показаниям. Расскажите, где в первый раз вы увидели Ямалутдинова и что можете сообщить о его деятельности в фашистском плену.

– Я познакомился с ним впервые в начале 1943 года, – отвечает Курбанов.

Это произошло вскоре после восстания в первом батальоне. До этого Курбанов сам подбирали пропагандистов рот. Конечно, командир батальона и начальник разведки утверждали затем его кандидатуры, но это было лишь формальностью.

На этот раз его вызвал к себе командир батальона и представил нового пропагандиста – двадцатидвухлетнего унтер-офицера Ямалутдинова. Вечером, уловив момент, Курбанов рассказал об этом Курмашу. Тот на всякий случай посоветовал быть с Ямалутдиновым поосторожнее и ни в коем случае не посвящать его в дела подпольной организации. Курбанов исподволь приглядывался к Ямалутдинову. Махмут был старательным и исполнительным до назойливости. От Курбанова он не скрыл, что до войны состоял в комсомоле. Не прочь был ругнуть немцев и не раз выражал сомнение в правдивости сводок немецкого командования. Правда, никто из подпольщиков такие разговоры не поддерживал.

Так прошло два-три месяца.

В последних числах июля или начале августа Курмаш получил приказание командировать в Берлин одного легионера из культвзвода за агитационной фашистской литературой. Как раз в это время подпольщикам нужно было доставить из Берлина антифашистские листовки. Курмаш поручил это дело Абдулле Батталу.

Баттал должен был встретиться в Берлине с Алишем, проинформировать его о ходе подготовки к восстанию и взять у него листовки.

В самый последний момент командир батальона присоединил к нему еще одного легионера – Махмута Ямалутдинова.

В Берлине Баттал и Ямалутдинов провели три-четыре дня. Баттал выполнил все задания подпольщиков, привез листовки на татарском и русском языках, призывающие к вооруженному выступлению против гитлеровцев. Их предполагалось раздать накануне восстания. Когда Курбанов поинтересовался, не догадался ли Ямалутдинов об этой тайной миссии, Баттал беспечно ответил:

– А я и ему дал пачку листовок!

Выяснилось, что по дороге они с Ямалутдиновым разговорились. Баттал был человеком прямодушным и бесхитростным. Он расспрашивал Ямалутдинова о его довоенной жизни, узнал, что тот был комсомольцем, и решил, пользуясь случаем, склонить его на свою сторону. Правда, он ничего не сказал ему о существовании подпольной организации, не назвал никаких имен, но намекнул, что скоро немцам, вероятно, придется туго.

В Берлине Ямалутдинов не отставал от Баттала ни на шаг, «боялся заблудиться». Видя, что все равно от Ямалутдинова всего не скроешь, и считая его почти сообщником, Баттал на обратном пути вручил ему пачку листовок, обернутую в бумагу и перевязанную шпагатом, и предупредил, что в случае внезапного обыска сверток надо незаметно выбросить.

Подпольщики были поставлены перед совершившимся фактом. Решили действовать так, словно и он с ними заодно, ведь в таком случае он становился соучастником. Принимая от Ямалутдинова листовки, Курмаш поблагодарил за успешное выполнение задания и, отсчитав штук восемьдесят, велел спрятать в матрац или наволочку.

– Не бойся, мы уже не раз так делали, – сказал он ему при этом.

Весь день Курбанов не сводил с Ямалутдинова глаз. Тот вел себя спокойно, никуда не отлучался. Но, проснувшись среди ночи от какого-то беспокойства, Курбанов увидел, что постель Ямалутдинова пуста. Отсутствовал он около часа. Потом вошел, демонстративно держась за живот и постанывая. «Надо будет предупредить товарищей», – подумал Курбанов. Но сделать это уже не успел. Наутро все они были арестованы.

Как впоследствии узнал Курбанов, в то время, когда их вызвали в солдатскую столовую, в бараках прошли обыски. Все, у кого нашли листовки, тут же были арестованы. Оберегая Курбанова, товарищи не дали ему листовок. Поэтому явных улик против него у немцев не было.

Вместе с подпольщиками арестовали и Махмута. Но когда арестованных везли в варшавскую тюрьму, Ямалутдинова среди них уже не было.

Во дворе варшавской тюрьмы Курбанов увидел, как двое стражников избивали Мусу Джалиля. Его топтали сапогами, били по лицу. Муса молчал, только постанывал, когда его, как куль с мукой, перекидывали от одного к другому. Лицо его было в сплошных кровоподтеках. Из уголка рта шла кровь. Курбанов не видел, как арестовали Джалиля. Не было его и в той машине, в которой их везли в Варшаву. Очевидно, его привезли раньше и специально избивали для устрашения других арестованных.

Через два месяца похудевшего, осунувшегося Курбанова выпустили из тюрьмы. Когда он вернулся в легион, Ямалутдинов был уже на его месте – старшим группы пропагандистов. Курбанов знал, что всех, на кого пала хотя бы тень подозрения, арестовали, а тех, у кого в постелях были найдены листовки, ожидала смертная казнь. А Ямалутдинов получил даже повышение, хотя у него под матрацем тоже нашли листовки.

Ямалутдинова теперь нельзя было узнать. Он ходил, гордо выпятив грудь, на которой поблескивала фашистская награда – бронзовая медаль «Для восточных добровольцев» III степени.

Следователь долго еще уточняет отдельные детали, записывает имена свидетелей, которые были с Курбановым в плену и легионе и могут подтвердить его рассказ. Затем обращается к Ямалутдинову:

– Вы подтверждаете показания свидетеля Курбанова?

Тот дышит тяжело, прерывисто. На лице его багровые пятна. Пальцы нервно барабают по коленям. И все же, отведя в сторону глаза, он выдавливает:

– Нет, не подтверждаю.

Следствие продолжается.

Напрасно Ямалутдинов рассчитывал, что ему удастся отрицать все. Он и не предполагал, что в живых осталось столько свидетелей. Постепенно проясняется и дальнейшая судьба предателя.

В начале 1944 года взвод под командованием Ямалутдинова неожиданно перевели в Краков. Здесь легионеры несли караульную службу, охраняли какие-то склады. Чем ближе подходили наступающие части Красной Армии, тем «добрее» становился командир взвода. Он уже не замахивался на своих подчиненных, как прежде, а, наоборот, всячески заискивал перед ними, даже заводил разговоры о том, как «искупить вину перед Родиной».

Летом 1944 года Ямалутдинов вдруг исчез с семнадцатью другими легионерами. Говорили, что они перебежали к партизанам, но многие сомневались в этом: слишком уж гладко прошел побег.

Немцы не стали поднимать тревоги и поиски проводили не особенно тщательно. Даже служебных собак не вызвали.

Но бывшие подчиненные Ямалутдинова, которых удалось найти, подтвердили, что он действительно бежал к польским партизанам, а затем перешел в советский партизанский отряд под командованием Золотаря.

Таким образом, дата перехода Ямалутдинова к партизанам окончательно прояснилась – это было в середине 1944 года, а не в 1941 году, как он утверждал вначале.

Следователь предупреждает подсудимого, что вина его полностью доказана и у него остался единственный шанс – чистосердечным признанием хоть немного искупить вину. Иначе он не может рассчитывать на какое-либо снисхождение.

Ямалутдинов еще изворачивается, тянет время, требует проведения дополнительных экспертиз. Убедившись, что факты – против него, он избирает новую тактику – упорно молчит и не отвечает ни на какие вопросы. Но упрямства его хватает ненадолго. В конце концов Ямалутдинов соглашается рассказать «все».

...Начинает он несколько высокопарно и скорее не говорит, а диктует следователю свои

показания, следя за тем, чтобы тот успевал записывать.

– Сознаюсь, что я, боясь ответственности за совершенные преступления, скрыл от следствия некоторые моменты своей биографии. Теперь я полностью осознал свою вину и желаю дать чистосердечные признания. Прошу зафиксировать в протоколе, что я добровольно согласился раскрыть все, как было.

Теперь Ямалутдинов, словно оправдываясь за свое долгое молчание, излишне многословен. Не дожидаясь вопросов следователя, он так и сыплет подробностями, нужными и ненужными. В общих чертах его рассказ сводится к следующему.

Он действительно встретил начало войны в Прибалтике. В его первой версии все было правильно – вплоть до того момента, как товарищи оставили его, но не на польском хуторе, а возле литовского местечка Паберже. Здесь он провел всего одну ночь. На рассвете проснулся от ругани и пинков. Открыв глаза, увидел над собой полицаев с автоматами.

Так Ямалутдинов оказался в плену.

Ему повезло. Немцы не пристрелили его сразу, как они поступали обычно с тяжелоранеными. Он попал в лагерьный лазарет неподалеку от города Тильзита. Пленный советский военврач спас Ямалутдинову не только жизнь, но и ногу, которую даже в тыловом госпитале, скорее всего, пришлось бы ампутировать.

В начале 1943 года Ямалутдинова привезли в Едлино и зачислили в легион «Идель-Урал». Как окончившего восемь классов, знающего русский язык, его поставили командиром отделения и присвоили чин унтер-офицера.

Дойдя до этого места, Ямалутдинов надолго замолкает.

– Ну что ж, – помогает ему следователь, – рассказывайте, как вас завербовало гестапо.

И Ямалутдинов, теперь уже не останавливаясь, продолжает.

В середине июня 1943 года часов в 10 вечера его вызвали в штаб. Командир роты немец Кох устроил ему разнос. Он ругал Ямалутдинова за то, что в его отделении расшатана дисциплина, что легионеры шляются бог знает где, грозился сурово наказать Ямалутдинова. Потом повел его к гестаповцу Миллеру. Тот через переводчика начал допытываться у Ямалутдинова, был ли он политруком в Красной Армии. Ямалутдинов отрицал это, так как он действительно никогда не был политруком. Это привело гестаповца в бешенство, он топал ногами, кричал на Ямалутдинова, размахивал пистолетом и в конце концов, видя, что Ямалутдинов продолжает упорствовать и не сознается, велел его расстрелять.

Ямалутдинова увели недалеко от лагеря, дали в руки лопату и велели рыть могилу. Упав на колени, он умолял не убивать его, так как он еще молод и ему очень хочется жить. Немцы посоветовались между собой и повели его обратно.

В кабинете Миллера повторилась та же история.

И снова Ямалутдинова повели на расстрел, снова заставили рыть яму.

Когда он вернулся с мнимого расстрела во второй раз, у Миллера сидел один из руководителей татарского белоэмигрантского комитета Гаяз Исхаки.

Исхаки заговорил с Ямалутдиновым по-татарски, а Миллер и переводчик вышли из комнаты.

– Был ли ты политруком? – спросил Гаяз Исхаки.

– Нет.

– Верю, – согласился Исхаки, – ты еще очень молод и хотя бы поэтому не мог быть политруком. Но раз у Миллера есть какие-то данные, что ты был политруком, лучше сознаться в этом.

Но Ямалутдинов не хотел сознаваться. Он знал, что политруков немцы расстреливают на месте.

Тогда Исхаки поговорил о чем-то с немцем, и Ямалутдинова отпустили в казарму, строго предупредив, чтобы он молчал.

Так повторялось пять ночей подряд.

На шестую ночь, когда Ямалутдинов снова начал упорствовать, Миллер выхватил пистолет и выстрелил над его головой. На звук выстрела прибежал Исхаки. Он вбежал в комнату в тот момент, когда Миллер целился в грудь Ямалутдинова. Исхаки что-то сказал Миллеру по-немецки, тот сунул пистолет в кобуру и вышел из комнаты.

Исхаки похлопал Ямалутдинова по плечу и сказал, что он успел как раз вовремя, иначе

вторым выстрелом Миллер непременно убил бы его. Доверительно понизив голос, Исхаки предложил Ямалутдинову выявлять антифашистски настроенных людей.

– Но как я это сделаю? – спросил Ямалутдинов.

Исхаки сказал, что от него требуется немного – правдиво рассказывать обо всем увиденном и услышанном. Предупредил, что на днях его поставят пропагандистом, что сам он скоро уедет, а Ямалутдинов должен будет поддерживать связь с гестаповцем Миллером. Истолковав молчание Ямалутдинова как согласие, Исхаки нажал какую-то кнопку. Миллер принес водку и закуску. Угощал Ямалутдинова сигаретами, хлопал его по плечу. Ямалутдинову и Исхаки налил по полному стакану, а себе – только на доньшке. Чокнулись, выпили. Затем Ямалутдинов вернулся в казарму.

Вскоре Ямалутдинова подвергли медицинскому освидетельствованию, признали из-за его старого ранения негодным к строевой службе и поставили пропагандистом. Через семь дней, как было условлено, Ямалутдинов пришел на квартиру к Миллеру. Гестаповец расспрашивал, как его приняли в культзведе, пользуется ли он доверием у Курмаша. Ямалутдинов ответил, что приняли его хорошо. Гестаповец советовал ему быть осторожным, днем ни в коем случае не появляться около штаба, приходить только ночью. Велел делать все, что скажет Курмаш, и, если ему предложат вступить в подпольную организацию или дадут какое-нибудь задание против немцев, соглашаться. Следующая встреча была назначена через десять дней.

Но примерно через неделю его снова вызвали к командиру роты. Миллер сообщил, что на днях в легион из Берлина приезжает известный большевистский поэт Муса Джалиль, он же Гумеров. Это очень грамотный и хитрый человек, сказал Миллер, возможно, под видом культурной работы он занимается подрывной деятельностью против гитлеровского рейха. Ямалутдинов получил новое задание – следить за каждым шагом Джалиля и ежедневно докладывать об этом лично Миллеру. Местом встреч был назначен кабинет Коха.

Через несколько дней в Едлино приехал Джалиль. Он пробыл в лагере недолго – всего три-четыре дня. Интересовался работой музыкальной капеллы, участвовал в репетициях, организовал большой вечер художественной самодеятельности. Все эти дни Ямалутдинов докладывал Миллеру, с кем встречался Джалиль, о чем они разговаривали.

Через месяц Джалиль приехал снова, в этот раз на более длительный срок. И снова Ямалутдинов неотступно следил за ним. Тон Миллера сделался к этому времени особенно настойчивым и нетерпеливым. Он требовал изобличающих фактов, топал ногами, грозил расправиться. «В легионе свила гнездо шайка смутьянов и советских агентов, а ты покрываешь их!» – кричал он. Ямалутдинов старался как мог, но ему долго не удавалось напасть на след подпольщиков. И только когда его командировали с Батталом в Берлин, он наконец-то смог представить вещественные доказательства.

В ночь после возвращения из Берлина Ямалутдинов пошел к Миллеру, рассказал обо всем, показал листовки. Миллер повел его к начальнику разведки. Гестаповцы угостили Ямалутдинова водкой, затем отправили обратно в барак, предупредив, что наутро для зашифровки он будет арестован вместе с другими.

Все произошло так, как говорил Миллер. Ямалутдинова арестовали вместе с подпольщиками. Ночь провел он в одиночной камере батальонной гауптвахты. На следующее утро на легковой машине в сопровождении одного эсэсовца его отвезли в Радом. Там его встретил улыбающийся Гаяз Исхаки. Он о чем-то поговорил с эсэсовцем. Тот достал из-под сиденья легионерскую книжку и ремень Ямалутдинова и вернул их ему.

Затем Ямалутдинов поехал с Исхаки в Берлин. Жил сначала в городской квартире, потом на загородной даче Исхаки, отдыхал, ходил в кино и рестораны.

Через месяц за Ямалутдиновым приехали из легиона. Миллер велел ему объяснить свое отсутствие тем, что он якобы сидел в следственной тюрьме в Варшаве и выпущен за недоказанность состава преступления. Командир батальона назначил Ямалутдинова старшим группы пропагандистов вместо арестованного Курбанова. Со временем Ямалутдинов, по его словам, начал раскаиваться в совершенном им предательстве. Он стал выяснять настроение своих подчиненных, подготавливая побег. Узнав от одного старика-поляка расположение партизанского отряда, Ямалутдинов взял с собой семнадцать наиболее надежных легионеров якобы на укрепление передовых позиций и бежал вместе с ними сначала к польским, а потом к советским партизанам.

Следствие можно было считать законченным. Вина Ямалутдинова полностью доказывалась как показаниями свидетелей, так и его собственным признанием. Даже одной десятой того, что он совершил, было достаточно, чтобы приговорить его к высшей мере наказания.

Но следователь медлил и не торопился закрывать дело.

Рассказ Ямалутдинова, несомненно, основывался на реальных и уже доказанных фактах, но местами он звучал слишком уж гладко, чтобы быть правдой. Эта правдоподобность ввела в заблуждение и писателя Юрия Королькова, который познакомился с делом Ямалутдинова на этом этапе. Все, кто читал его книгу «Через сорок смертей», знают, что рассказ Ямалутдинова (в книге Ю. Королькова он выведен под именем Махмута Ягульдина) вошел в повествование почти без изменений.

Началась кропотливая проверка каждого факта, каждого имени, каждой детали, сообщенной Ямалутдиновым. Это нужно было не столько для того, чтобы осудить предателя, сколько для выяснения истинного размаха деятельности подпольной организации.

Вновь и вновь беседуя с Ямалутдиновым, следователь обратил внимание на то, что тот путается в названиях лагерей для военнопленных, по-разному называет даты своего пребывания в них, не может ни описать обстановки лагеря, ни назвать тех, кто был там вместе с ним. Проверка показала, что после Тильзитского лагеря, где он лежал в лазарете, Ямалутдинов ни в одном из названных им лагерей не был.

Еще в ходе признаний Ямалутдинова следователь выписал в блокнот имя Гаяза Исхаки, поставив рядом несколько вопросительных знаков.

Исхаки – видный представитель татарской интеллигенции. После революции эмигрировал за границу и стал одним из идеологов эмиграции. В Турции и Германии издано несколько его книг. Неужели этот «столп эмиграции» стал бы пачкаться вербовкой какого-то мелкого агента?

Действительно, удалось установить, что Исхаки в годы войны жил в Турции и, естественно, не мог встречаться с Ямалутдиновым.

Познакомившись с архивными документами, следователь выяснил, что в штабе разведки не было никакого Миллера. Следовательно, вся эта романтическая история с ночными допросами и угрозой расстрела (вошедшая, кстати, и в книгу Ю. Королькова) оказывалась чистой выдумкой.

Для чего же понадобилась эта ложь?

Прежде всего, чтобы замаскировать имена тех, кто завербовал его и давал задания, а также с целью скрыть некоторые неприглядные факты своей биографии.

Выяснилось, что после выхода из лазарета Ямалутдинов поступил в созданный фашистами Туркестанский легион, принимал участие в карательных экспедициях против советских партизан в Сумской и Харьковской областях. За эти заслуги фашисты присвоили ему чин унтер-офицера и наградили медалью «Для восточных добровольцев». Во время одного из кровавых походов против мирного населения Ямалутдинов заразился дурной болезнью и попал в госпиталь. Тут он и познакомился с фельдшером Исхаковым, родом из Кзыл-Ординской области.

Они подружились, частенько вместе пили спирт. Исхаков устроил Ямалутдинова санитаром. При всем «геройстве» ему не очень-то хотелось подставлять лоб под пули партизан. И вот через этого-то Исхакова – давнего агента гестапо – фашисты и завербовали Ямалутдинова. Ни запугивать, ни уговаривать Ямалутдинова не пришлось: Исхаков деловито сообщил ему, сколько он будет получать «дополнительно», намекнул, что после участия в карательных экспедициях ему все равно нет пути на Родину, – и в распоряжении гестапо появился еще один агент.

Для немцев это было как нельзя более кстати. Имперское управление безопасности в Берлине настойчиво требовало раскрыть подпольную организацию в Татарском легионе. После восстания в первом батальоне и обнаружения на территории лагеря подпольных листовок эти требования приняли категорический характер.

Ямалутдинова и Исхакова перевели в Едлино и зачислили в легион «Идель-Урал»: одного – командиром отделения, второго – фельдшером медпункта. Все задания Ямалутдинов

получал от Исхакова, к которому продолжал ходить «на лечение». Операцией в целом руководил фельдфебель Блок.

Именно Блок давал указания о слежке за Джалилем, Курмашем и другими подпольщиками, лично выслушивал сообщения Ямалутдинова и Исхакова. К нему Ямалутдинов пошел с листовками и в ночь накануне ареста.

Сочиняя душещипательную историю о своей вербовке, Ямалутдинов пытался изобразить себя наивной жертвой шантажа и запугивания, рассчитывая хотя бы сохранить себе жизнь.

На вопрос следователя: «Откуда вы знаете Гаяза Исхаки и почему назвали его?» – Ямалутдинов ответил:

– Я много слышал о нем. Его восхваляла и газета «Идель-Урал». Но самого его никогда не видел. Все, что касается Исхаки, я выдумал, чтобы скрыть подлинные связи.

Ямалутдинов признался, что был в свое время строжайше предупрежден: в случае провала не называть фамилий подлинных агентов. Но уловка не помогла. Благодаря усилиям следственных органов Исхаков также был задержан и предстал перед судом. На очной ставке с Ямалутдиновым он признал, что был одним из осведомителей отдела один-це легиона «Идель-Урал». Перед ним была поставлена задача: выявлять антифашистски настроенных лиц и во что бы то ни стало напасть на след подпольной организации.

Вот отрывок из его показаний:

«Однажды днем ко мне в санчасть пришел Ямалутдинов, который принес два экземпляра прокламаций на русском языке антифашистского содержания. Эти прокламации он обнаружил под матрацем одного легионера. Я тотчас же вместе с ним пошел к фельдфебелю Блоку. Он был дома вместе с переводчиком. Мы его проинформировали о прокламациях и передали их ему. Выслушав нас и прочитав прокламации, Блок в моем присутствии дал Ямалутдинову задание продолжать наблюдение за тем легионером, у которого были обнаружены листовки».

Как видим, фашисты уже знали о листовках и давно подбирались к подпольщикам (Ямалутдинов этой детали уже не помнил).

Исхаков рассказал, что он по указанию Блока вел наблюдение за Сайфельмулюковым, Батталовым, Хисамутдиновым и другими.

Ямалутдинов скрыл еще один важный факт, который выяснился уже после того, как его дело было закрыто.

Бывший «артист» культзвезда Фарит Султанбеков рассказал, что незадолго до массовых арестов в легионе он выехал с концертами в дом отдыха легионеров на острове Узедом. На обратном пути он должен был заехать в Берлин и увидеться с Алишем. Но в Узедоме Султанбекова арестовали. Его привезли в Берлин и два дня продержали в пересыльной тюрьме. На третий день за ним пришли надзиратели, велели забрать вещи и проводили вниз, в комнату ожидания. Там Султанбеков увидел Ямалутдинова – без ремня, в порванной гимнастерке. В крытой машине их повезли в варшавскую тюрьму. По дороге Ямалутдинов рассказал подробности арестов в Едлино, спросил, как схватили Султанбекова, сокрушенно вздыхал, ругал немцев и незаметно пытался выведать, «кто еще из наших товарищей остался на свободе, кому удалось избежать ареста». Султанбеков вовремя разгадал эту уловку. Он вспомнил предупреждение Курмаша, что с этим человеком надо быть осторожным. Уже одно то, что немцы предоставили им возможность разговаривать, настораживало.

– Как ты думаешь, за что они нас арестовали? – не унимался Ямалутдинов.

– Наверное, за предательство, – резко ответил Султанбеков.

Ямалутдинов, кажется, понял намек и замолчал.

В тюрьме Султанбеков получил записку от Курмаша. Там было написано одно слово «Махмут» и рядом поставлен фашистский знак.

Аресты прошли одновременно в разных местах. Вряд ли всех подпольщиков выдал один Ямалутдинов.

Так, по свидетельству А. Фатхуллина, мы знаем, что его пытался завербовать Гариф Султан. Многие бывшие работники Татарского комитета утверждают, что Берлинскую группу выдал именно Султан. Есть свидетельство, что Гариф Султан принимал участие в допросах арестованных.

Не остался в стороне и «президент» Шафи Алмас. В упоминавшемся уже донесении на имя зондерфюрера Людерзена он писал:

«В информации к Вам хочется упомянуть, что после событий, которые произошли в первом Татарском батальоне, нами совместно с командиром легиона предприняты соответствующие меры, чтобы выявлять настроение людей (с помощью тайной организации). Мы сейчас в состоянии предложить Вам несколько лиц, убеждения которых, как мы сумели установить, безупречны и они подходят для сотрудничества».

Как видим, Шафи Алмас располагал целой сетью секретных сотрудников и был главным доносчиком.

Наконец, еще один сомнительный момент в показаниях Ямалутдинова – переход к партизанам. До окончания следствия Ямалутдинов утверждал, что он совершил побег, «желая хоть немного искупить вину». Но поверить этому трудно. Если бы он хотел только спасти собственную шкуру, он, скорее всего, попытался бы удрать на Запад, к американцам.

Вполне вероятно, что он получил новое задание. Тогда становится понятным и его неожиданный перевод в Краков, где его никто не знал. Как-то мало верится, чтобы «старик-поляк» раскрыл человеку в форме немецкого офицера месторасположение партизанского отряда. Видимо, этими сведениями его снабдили фашисты и сами же обеспечили безопасность «побега». Только стремительное продвижение наших войск помешало Ямалутдинову совершить новое предательство.

Во всяком случае, вопрос этот остается открытым, и в обвинительное заключение за отсутствием улик этот пункт не вошел. Становится понятной и попытка Ямалутдинова бросить тень на доброе имя поэта, ведь если бы Джалиля считали предателем, то никто, возможно, и не стал бы копать в прошлом Ямалутдинова.

16 октября 1950 года военный трибунал на закрытом заседании рассмотрел дело Ямалутдинова. Подсудимый под давлением улики признал себя виновным по всем пунктам обвинения и настаивал только на том, что он выдал не 70–80 человек, как говорится в обвинительном заключении, а только 7–8. На этом основании он просил сохранить ему жизнь.

Суд приговорил изменника к высшей мере наказания.

19 января 1951 года приговор был приведен в исполнение.

Процесс по делу предателя позволил установить важные детали деятельности подпольной организации в Волго-татарском легионе. Материалы о Мусе Джалиле и его товарищах были переданы комиссии Татарского обкома КПСС.

ДРАМА В ЧЕРНОМ ЛЕСУ

Арест руководящего ядра подпольной организации сорвал планы вооруженного выступления в Едлино. Но результаты деятельности патриотов сказывались и после того, как Джалиль и его товарищи были брошены в фашистские застенки.

В июне 1943 года третий (827-й) батальон был направлен в Карпаты, где совершала рейд по вражеским тылам партизанская армия С.А. Ковпака. Фашисты кинули против партизан пять охранных полков СС, венгерскую дивизию и пять специальных батальонов (в том числе 827-й). Штаб батальона разместился в г. Станиславе, а роты – в Стрые, Болехове, Долине и Надворной, то есть на пути движения партизанской армии.

С прибытием на место подпольная организация стала предпринимать попытки связаться с партизанами. Но местные жители, напуганные многочисленными карательными экспедициями, настороженно относились к легионерам. Несколько парламентариев, посланных к партизанам, не вернулись (только много позднее стало известно, что они попали в лапы бендеровцев).

В июле член подпольной организации Габбас Кадермаев привез из Берлина антифашистские листовки и указание подпольного центра: при первом же удобном случае переходить к партизанам. Первыми восстали два взвода штабной роты. Во главе подпольной организации здесь стоял старший лейтенант Мифтахов. Восставшие перебили немецких офицеров и, прихватив с собой оружие и боеприпасы, перешли к партизанам. Переход был

удачный. Мифтахов, договорившись с партизанским командованием, снова вернулся в гарнизон, чтобы увести с собой остальных.

Однако кто-то донес на него немцам. Мифтахова схватили, жестоко избили, долго пытали, стремясь выведать имена членов подпольной организации и месторасположение партизанского отряда. Ничего не добившись, устроили показательную экзекуцию: привязали к вершинам двух склоненных деревьев и разорвали надвое.

Но запугать легионеров не удалось. Подпольщики пропускали партизан через свои посты, передавали им важные сведения о дислокации немецких войск, помогали совершать диверсии, группами и по одному бежали в лес. Батальон таял буквально на глазах. К сентябрю 1943 года около половины батальона, насчитывавшего более тысячи штыков, перешло к партизанам.

Немцы прибегли к крутым мерам. В батальоне прошли аресты. Были схвачены руководители подпольных групп Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Их привезли в Берлин и судили вместе с Джалилем. Других арестованных отправили в концлагеря и штрафные лагеря, со многими расправились на месте. Остатки батальона отозвали в тыл, разоружили и, погрузив в эшелоны, отправили во Францию.

За долгие годы поисков не удалось найти никого из тех, кто бежал из третьего батальона. Неужели из нескольких сот человек ни один не остался в живых? Уфимскому исследователю Н.И. Лешкину, который занимался этим вопросом, довелось услышать от местных жителей о кровавой драме, разыгравшейся осенью 1943 года в тех самых местах, где находились подразделения третьего батальона. В урочище Черный Лес бендеровцы расстреляли несколько сот бывших военнопленных. Может быть, это были легионеры, которые искали пути к своим, а попали к бендеровцам? Вполне возможно, что бендеровцы пытались склонить их на свою сторону, а убедившись в бесполезности намерений, решили расправиться... Все это еще нуждается в дальнейшем расследовании и уточнении.

Организованный переход третьего батальона не удался. Причиной этого была и усилившаяся слежка, и аресты, и то, что немцы после восстания в первом батальоне третий батальон рассредоточили поротно, перемежая его с немецкими и венгерскими соединениями. Однако подпольная организация сделала свое дело. Военная машина, брошенная на разгром партизанской армии Ковпака, пусть хотя бы в одном из звеньев, не сработала. Партизанам удалось уйти от окружения и сохранить армию как боевую единицу. В этом, несомненно, есть определенная заслуга подпольной организации Волго-татарского легиона...

Второй (826-й) батальон легиона «Идель-Урал» летом 1943 года направили во Францию на укрепление Атлантического вала. Подпольщики сразу же стали разрабатывать меры, как помочь союзникам в случае их высадки на материк. Очевидно, немцы и сами чувствовали ненадежность 826-го батальона, так как, несмотря на острую нехватку войск, в сентябре 1943 года отозвали батальон и перевели в Голландию на остров Остворне.

В Голландии подпольщикам удалось установить связь с местными группами Сопротивления. Обсуждались планы совместной борьбы. Наиболее удобным моментом для восстания батальона был признан день высадки войск союзников. Но немецкой контрразведке удалось напасть на след подпольной организации. 26 наиболее активных членов и руководителей подпольной организации были расстреляны по приговору военно-полевого суда (их имена до сих пор не установлены), двести подозреваемых переведены в штрафной лагерь в районе Горинхена, а сам батальон – расформирован.

Наконец, штабной, последний из четырех сформированных немцами батальонов легиона «Идель-Урал», вскоре после ареста группы Джалиля был переведен во Францию, в местечко Ле-Пюи. Фашисты рассчитывали использовать его для борьбы с французскими маки. Но значительная часть легионеров перебежала к партизанам и пополнила ряды французского Сопротивления.

О судьбе тех, кому удалось вырваться из фашистского плена благодаря подпольной организации, можно бы написать увлекательную книгу.

Один из них – Сайфулла Мазитов из Мечетлинского района в Башкирии. В начале 1943 года он с группой военнопленных бежал из лагеря Седльце под Варшавой. Побег готовила подпольная группа – та самая, о которой рассказал в своем донесении Ян Габдуллин.

Сорок дней и ночей беглецы пробирались на восток. Некоторые погибли в перестрелках или умерли от ран и истощения, других задержала полиция. Мазитову удалось добраться до

лесов Белоруссии и попасть сначала в отряд «Бати» – Героя Советского Союза Г.М. Линькова, а позднее – в отряд С. Каплуна. На «лицевом счету» С. Мазитова – шесть взорванных вражеских эшелонов.

Летом 1944 года соединение, которым командовал к тому времени Герой Советского Союза полковник И.Н. Батов (Черный), передислоцировалось в Польшу. Здесь партизаны узнали, что на охране железной дороги и небольшого завода близ Ченстохова фашисты используют военнопленных татар и башкир из созданного в Кракове пятого (829-го) батальона. С. Мазитов предложил перетянуть их на свою сторону. Командир отряда поддержал его предложение. Легионерам передали написанное по-татарски обращение.

В назначенный час охранное подразделение – около ста человек – явилось в условленное место. На нескольких подводах легионеры привезли связанных гитлеровцев. Перешедшие героически сражались в составе партизанского отряда до самого дня Победы. Многие из них погибли в боях...

Не менее показательна судьба другого патриота – Абдуллы Гатауллина родом из Миякинского района в Башкирии. Он воспользовался вступлением в легион (829-й батальон) для того лишь, чтобы вскоре бежать к польским патриотам. Отсюда он перешел в советскую разведгруппу «Голос». Сто пятьдесят шесть дней действовала эта группа в глубоком тылу врага, передала в штаб фронта свыше ста пятидесяти шифрованных радиogramм с важной разведывательной информацией. Группа «Голос» принимала участие в спасении от разрушения древней столицы Польши – Кракова (этой теме позднее был посвящен получивший широкую популярность телефильм «Майор Вихрь»). За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, А.Г. Гатауллин награжден орденом Славы III степени.

Таких примеров десятки, сотни.

Как видим, семена, посеянные группой Джалиля, дали обильные всходы. Имперский министр Розенберг был серьезно обеспокоен положением дел в соединениях Волго-татарского легиона. До нас дошли стенограммы секретных совещаний в Восточном министерстве. На одном из них, проходившем под председательством Розенберга, еще в начальный период формирования легионов с тревогой отмечалось, что «татары... имеют сильные большевистские тенденции, создается опасность большевизации людей».

В ведомстве Гимmlера соединения Волго-татарского легиона тоже считались «самыми неблагонадежными». В книге Юргена Торвальда «Кого они хотят развратить» (Штутгарт, изд-во Штайнгрубен, 1952) приводится дневник заместителя командира добровольческих соединений подполковника Вальтера Ганзене. 10 августа 1944 года он записал: «Командир добровольческой основной дивизии из Лиона вынужден разоружить Волго-татарский и Армянский легионы. Все это – настоящая катастрофа...»

«ОНИ ВЕЛИ СЕБЯ ГЕРОЙСКИ...»

Положили тебя в мешок,
Завязали под злой смехок,
Ставят в очередь твое тело,
Чтоб смолоть его в порошок,
Мелет мельница жизнь людей –
Громоздятся мешки костей.
Жернова ее из железа,
С каждым днем они все лютей.

Муса Джалиль. «Каменный мешок»

Узкие, крутые улочки... Тесно прижавшиеся друг к другу, словно бы сдавленные с боков дома, многие из которых еще помнят, кажется, времена средневековья. Бурый кирпич, серый цемент, потемневшая черепица кровель – все это оставляет мрачноватое впечатление. Я – в Белциге, небольшом провинциальном городке ГДР, расположенном примерно в пятидесяти километрах юго-западнее Берлина.

Подъезжаем к центру. Здесь возвышается старинная, украшенная каменными кружевами

кирха. По брусчатой площади разгуливают откормленные голуби. Неподалеку, в одном из старых, чистеньких домиков, расположено Белцигское отделение Общества германо-советской дружбы, где меня дожидается бывший переводчик легиона «Идель-Урал» Фридрих Биддер.

О Биддере мне написал наш старый друг, немецкий публицист и переводчик Леон Небенцаль. Он встретился с Биддером (вернее, Биддер, прочитав одну из статей Небенцала о Джалиле, сам разыскал его), беседовал с ним, даже записал его рассказ на магнитофонную пленку. И хотя Небенцаль предупредил меня, что Биддер многое уже не помнит, а кое-какие даты и факты явно путает, мне не терпелось самому увидеться с ним. Ведь Биддер – первый и пока единственный известный нам свидетель, присутствовавший при допросах Джалиля и его товарищей.

Навстречу мне выходит высокий, совершенно седой, но еще крепкий и бодрый старик с румяными щеками. И в том, как подчеркнуто прямо он держится и как, приветствуя меня, учтиво склоняет голову и слегка прищелкивает каблуками, чувствуется военная выправка. Представившись, Биддер проводит меня в свободную комнатку Общества, где на столах стоят флажки СССР и ГДР, и без лишних предисловий выражает готовность отвечать на все интересующие меня вопросы.

Он родился в 1898 году на одном из немецких хуторов невдалеке от Двинска (ныне Даугавпилс). Играя с русскими мальчишками, с детства научился говорить по-русски. Учился в одной из петербургских гимназий. После Октябрьской революции семья Биддеров переехала в Германию, где Фридрих завел собственную ферму и занялся сельским хозяйством.

После нападения гитлеровских войск на Советский Союз Биддера призвали в армию и направили в школу переводчиков в Познани. Биддер, по его словам, с самого начала полагал, что Гитлер совершил «большую глупость», развязав войну против Советского Союза. Поэтому он вовсе не рвался на фронт, куда после окончания курсов направляли переводчиков. На его счастье, начальником школы оказался один из его дальних родственников. С его помощью Биддеру удалось продержаться в школе в течение нескольких выпусков вплоть до осени 1942 года. Когда дольше оставаться было нельзя, родственник устроил Биддеру назначение в тыловую часть, в польское местечко Едлино. Здесь Биддер работал переводчиком и преподавал легионерам немецкий язык, а немецким офицерам – русский.

Ф. Биддер приехал в Едлино в то время, когда сюда из разных лагерей пригнали первые партии военнопленных. Наслушавшись их рассказов о нечеловеческих условиях в лагерях, он, по его словам, уже тогда понял, что этих людей вряд ли удастся заставить воевать за интересы рейха.

Иные авторы путают легионы с лагерями для военнопленных, даже концлагерями. Так, Ю. Корольков в своей книге «Не пропавший без вести» пишет о подполье легиона: «Подпольщики в кандалах, за колючей проволокой использовали в борьбе с врагом все возможные в их положении средства». Это, конечно, явное преувеличение. По свидетельству Ф. Биддера, условия содержания легионеров мало чем отличались от положения в тыловых немецких частях. Легионеры получали увольнительные в город. Их возили на экскурсии. Позднее отдельных, наиболее отличившихся, стали посылать в специальные дома отдыха легиона. Во время занятий по боевой подготовке они имели доступ к трофейному оружию советского образца – винтовкам, автоматам, пулеметам, орудиям. Так что добывать оружие где-то на стороне, как об этом пишет Ю. Корольков в той же книге, не было никакой необходимости. Командиры отделений, взводов и рот назначались из числа легионеров, но все командные должности дублировались немцами.

Для «поднятия боевого духа» в Едлино устраивались вечера художественной самодеятельности. Татарского языка Биддер не знал, поэтому содержание исполняемых номеров ему обычно переводили на русский, а он, в свою очередь, переводил на немецкий присутствующим на вечере немецким офицерам.

Меня, конечно, интересует, не помнит ли Биддер Джалиля-Гумерова.

«Нет, – отвечает он. – Я много слышал от легионеров о большом татарском поэте Габдулле Тукае. Но о том, что среди них был такой замечательный поэт, как Муса Джалиль, я узнал лишь позднее из статьи Небенцала. Надо сказать, – продолжает Биддер, – что татары очень

тосковали по своей Родине, часто пели народные песни, многие переписывали в свои блокноты стихи. Возможно, там были и стихи Джалиля».

В легионе нашелся даже свой художник, который рисовал вполне приличные картины.

Проводилась и усиленная религиозная обработка легионеров. Специальное помещение было отведено под мечеть, и каждую пятницу легионеров организованно водили на молитву. Правда, как рассказывает Биддер, позднее выяснилось, что мулла легиона оказался чуть ли не агентом большевиков и под видом молитв проводил подрывную работу против немцев. Когда в легионе начались аресты, мулла также был арестован. О его дальнейшей судьбе Биддер ничего не знает.

Вообще о работе подпольщиков Биддер по своему положению знал очень мало. Он припоминает случай, как однажды к нему пришел кто-то из легионеров с доносом на товарища. Доносчик сообщил, что сапожник легиона (фамилии его Биддер не помнит) тайком слушает передачи из Москвы. Приемники имелись в штабе и радиоузле, и около каждого висела табличка, предупреждающая, что за слушание вражеских передач полагается расстрел. Биддер, по его словам, отослал доносчика обратно, предупредив, чтобы он никому ничего не рассказывал. Но сам Биддер не стал сообщать об этом начальству, так как «не хотел иметь ничего общего с отделом разведки».

Рассказывает Биддер и о том, как на территории лагеря были обнаружены антифашистские листовки.

Однако в полный голос о наличии «большевистского заговора» в легионе заговорили после восстания в первом батальоне. Биддеру это событие особенно запомнилось потому, что он и сам должен был ехать на фронт в составе батальона. Но Зиккендорф решил все же оставить его в Едлино, поскольку Биддер был не простым переводчиком, а преподавателем.

Недели через две после отправки батальона немецких офицеров вызвали в штаб легиона и сообщили о «большевистском заговоре» в первом батальоне и его переходе на сторону партизан. Причем об этом запрещалось не только сообщать легионерам, но даже разговаривать между собой.

После столь серьезного провала отдел разведки резко активизировал работу. По словам Биддера, из Берлина приехал какой-то опытный разведчик, который с помощью сети тайных агентов установил строжайшую слежку за всеми подозрительными. В результате ему удалось не только напасть на след подпольщиков, но даже сфотографировать их во время тайного заседания. Позднее эти фотографии были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Даты арестов Биддер не помнит. Насколько ему известно, аресты проводились в несколько приемов летом и осенью 1943 года. В самом Едлино было арестовано человек 80 (некоторых из них впоследствии выпустили). Аресты прошли также в Познани, Крушино, Радоме и в расположении третьего батальона.

В качестве переводчика Биддер присутствовал на предварительных допросах арестованных в Едлино. Имен арестованных и содержания допросов он уже не помнит. Помнит только, что одним из пунктов обвинения было распространение коммунистической пропаганды (как устно, так и в форме листовок). Следствие вел лейтенант из военной прокуратуры (имени его Биддер также не помнит).

После предварительного допроса и отсева (часть была арестована по недоразумению или же с целью зашифровки) арестованных отвезли в варшавскую тюрьму. Биддер дважды ездил туда для участия в допросах. По его словам, иных, наиболее «строптивых», арестантов избивали, но утонченные, гестаповские методы пыток не применялись. Затем – поскольку «гнездо смутьянов» оказалось в Берлине, – обвиняемых привезли в берлинскую тюрьму Моабит. Сюда, на Лертерштрассе, 3, Биддера привозили несколько раз.

В его памяти осталась унижительная процедура обыска при входе и выходе из тюрьмы, частые бомбардировки Берлина – чуть ли не каждую ночь приходилось прятаться в бомбоубежище. И еще ему запомнилось, что все арестованные держались исключительно стойко и мужественно. За немногими исключениями, они даже не пытались отрицать свою вину. Больше того, чуть ли не каждый, стараясь выгородить товарищей, всю вину брал на себя. Некоторые же из арестованных вели себя вызывающе: дерзили следователю, не отвечали

на вопросы и, по мнению Биддера, только вредили себе, так как дело обычно заканчивалось побоями, карцером или лишением воды и пищи на несколько суток. Биддер с удивлением вспоминает, что на вопрос о партийной принадлежности почти все арестованные отвечали: «Я коммунист», хотя этим они «лишь усугубляли свою вину».

«Все они вели себя геройски», – несколько раз повторяет Ф. Биддер.

После окончания следствия дело передали в суд, и о дальнейшей судьбе подпольщиков Биддер знает только понаслышке. Осенью 1944 года прошел слух, что всех заговорщиков казнили.

После окончания войны Биддер работал строительным рабочим, потом преподавателем русского языка в средней школе. Выйдя на пенсию, он продолжал давать уроки русского языка на курсах повышения квалификации учителей. За активную работу по пропаганде советской литературы и обучению молодежи русскому языку Общество германо-советской дружбы наградило его почетной медалью.

ВАРШАВА, «ПАВИАК» – БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ

От варшавской тюрьмы для политзаключенных с неожиданно звучным названием «Павиак» (т.е. «Павлин») осталось немного. Обломки стен, кусок бетонной ограды с колючей проволокой на железных кронштейнах, черные, наглухо закрытые ворота. Рядом с воротами, за выщербленными плитами тюремного двора, где конвоиры избивали Мусу Джалиля, каким-то чудом уцелела старая дуплистая липа. К ее шершавому стволу прибиты белые эмалированные таблички с именами замученных. Под липой – венки, букетики цветов в стеклянных банках, пучки хвои, перехваченные траурными лентами. Так здесь чтут память тех, чьи могилы не установлены...

Под землей сохранились обширные подвальные помещения тюрьмы с душными мрачными камерами, низкими полутемными переходами, комнатами для пыток. Сейчас в подвалах «Павиак» устроен музей борцов польского Сопротивления. Место страданий, смертей, унижений стало местом памяти, местом предостережения: пусть больше никогда не повторится такое. Посетив музей, невольно думаешь о том, что даже самые прочные тюремные стены – не вечны. Но вечна память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье грядущих поколений...

Мусу Джалиля привезли сюда 12 августа 1943 года. Вместе с ним в Едлино был схвачен член подпольной организации Шариф Гарифзянов (в блокноте Мусы Джалиля он значится как «певец Амиров»).

Гарифзянов до войны был артистом Татарской филармонии, хорошо знал Джалиля. Он встретился с поэтом в лагере Демблин. Муса подолгу разговаривал с Гарифзяновым, прощупывал настроение, намекал на возможность продолжения борьбы в условиях неволи. Летом 1943 года Джалиль, приехавший в Демблин для пополнения музыкально-хоровой капеллы, увез его в Едлино.

Гарифзянов-Амиров стал солистом капеллы и одновременно членом подпольной организации. Он распространял листовки, участвовал в подготовке вооруженного восстания. Однажды по просьбе поэта передал в условленном месте толстую пачку антифашистских листовок (несколько тысяч штук!) бородатому поляку.

Утром 12 августа, когда культвзвод увели в столовую «на репетицию», он оставался дневальным в бараке. За ним пришли два немца с автоматами: «Собирайся, живо!» Не отвечая на вопросы, привели в столовую, завели в боковую комнату. Тут Гарифзянов увидел своих – Курмаша, Батгала и других. Они стояли лицом к стене, заложив руки за голову.

Гарифзянова обыскали, отобрали ремень, легионерскую книжку, заполнили какую-то карточку и присоединили к остальным. Стоять пришлось довольно долго. Когда подошли крытые брезентом грузовики, им связали руки за спиной и приказали ложиться в кузов лицом вниз. У бортов и сзади сели немецкие конвоиры с автоматами. Гарифзянов оказался рядом с Джалилем, но перекинуться с поэтом хотя бы словом не удалось. Конвоиры зорко следили за арестованными и при малейшем движении били прикладами по голове. Муса был подавлен случившимся, необычно бледен, до крови закусывал губы.

Ехали часа три. Гарифзянов рассмотрел в щель, как они проехали мимо Варшавского железнодорожного вокзала, миновали центр и остановились во дворе большой тюрьмы старинной постройки. После тряской дороги ноги затекли, вылезали с трудом. Конвоиры подгоняли автоматами. Гарифзянов видел, как охранник с размаха ударил поэта по голове. Тот еле устоял на ногах.

Их развели по разным камерам. Больше Гарифзянов Джалиля не видел. Слышал от других узников, что Мусу и других руководителей подпольной организации через несколько дней увезли в Берлин. Гарифзянова продержали в варшавской тюрьме больше месяца. Били, пытали, допрашивали. Затем отправили на пожизненную каторгу в Бухенвальд вместе с другими членами подпольной организации. В живых из них остался один Гарифзянов...

Через ту же тюрьму прошли Р. Хисамутдинов и Ф. Султанбеков, но они поэта здесь не видели. Можно предположить, что именно в варшавской тюрьме поэт написал первое стихотворение моабитского цикла «Последняя песня»:

Какая вдали земля
Просторная, ненаглядная!
Только моя тюрьма
Темная и смрадная.
В небе птица летит,
Взмывает до облаков она!
А я лежу на полу:
Руки мои закованы.
...Я знаю, как сладко жить,
О, сила жизни победная!
Но я умираю в тюрьме,
Эта песня моя – последняя.

Август 1943

Из Варшавы Джалиля и его товарищей привезли в Берлин и, судя по всему, содержали некоторое время в тюрьме на площади Александерплац.

Об этом рассказывает, в частности, Салих Ганеев, которого арестовали в Познани в середине августа 1943 года и поместили на первое время в камере № 1 тюрьмы на Александерплац. Это была большая общая камера человек на пятьдесят. Здесь С. Ганеев встретил русского Дмитрия Тимофеева (видимо, сына эмигранта из России, так как он упоминал, что его отец – профессор Берлинского университета). Тимофеев рассказал ему, что в этой же тюрьме находится группа татар в 11–12 человек, и среди них – поэт Муса Джалиль.

С. Ганееву очень хотелось повидаться с поэтом, но это ему не удалось. Лишь однажды Тимофеев передал ему привет от Джалиля, а потом сообщил, что группу джалильцев перевели в другую тюрьму.

Другой член познанской группы, З. Мухаммадеев, арестованный по обвинению в «коммунистической пропаганде» и «связях с польскими диверсантами», в конце августа или начале сентября 1943 года в составе группы из шести человек также оказался в тюрьме на Александерплац. По одному их начали вызывать на допросы.

– Знаешь ли Джалиля-Гумерова? – допытывались у Мухаммадеева. – О чем вы с ним разговаривали? С кем он еще общался?

В то время Мухаммадеев еще не знал, что Джалиль арестован. Свое знакомство с поэтом он отрицал.

Один из членов их группы, Мулланур Гараев, попал разнорабочим на кухню. Как-то, разливая с вахтманом суп, он шепнул Мухаммадееву через окошечко камеры:

– Муса тоже здесь.

Лишь один раз, когда их вели в баню, Мухаммадееву довелось увидеть Джалиля в коридоре тюрьмы. Поэт был в гражданском заметно помятом костюме и порванной рубашке. Руки заложены за спину. Очевидно, его вели на допрос. Они поздоровались лишь взглядами...

Всех шестерых членов познанской группы приговорили к пожизненной каторге и отправили в Бухенвальд. Когда Мухаммадеев в этом лагере встретился с М. Гараевым, то узнал от него, что Гараев по просьбе поэта раздобыл для него огрызок карандаша и несколько раз приносил ему клочки бумаги.

А вот еще одно свидетельство.

Файзрахман Мингалин сидел в августе–сентябре 1943 года в камере № 96 тюрьмы «Александрплац».

«Это была очень тесная каморка с узким проходом возле кровати и табуретом. На столике – миска, ложка, кружка и посуда для воды. Вся лежанка в кровавых пятнах; наверху маленькое зарешеченное окно, едва пропускающее бледный свет.

Вскоре меня вызвали на первый допрос. За столом восседали четверо в форме немецких офицеров и чернобородый переводчик в штатском, принимавший участие в нашем аресте. Вначале меня встретили спокойно, даже предложили сигарету и разрешили курить. Не куривший много дней, я после одной-двух затяжек почувствовал головокружение и тошноту.

Прежде всего мне показали несколько листовок и сказали: «Прочти и скажи, где ты видел такие листовки, кто их распространяет». Я обомлел: это были те самые, которые напечатали мы. И все-таки я сделал вид, что прочитал их, уверенным тоном ответил:

– Я вижу это впервые и не знаю, кто их распространяет.

Когда мне сказали: «За ложные показания по законам рейха получите смертный приговор», я не колеблясь ответил:

– Если буду лгать – убьете!

На вопросы: «Всегда ли Симаев находился на месте работы? Приходил ли к Симаеву Гумеров?» – я ответил:

– К Симаеву никто не приходил...– но не успел договорить, как сидящий рядом офицер ударил меня и заорал:

– Врешь, Гумеров приходил! Это показал один из ваших.

Ткнув в слова под листовкой «Четвертый освободительный комитет», он спросил:

– Ты слышал о такой организации, кто ее создал?

Но я ничего «не знал», и меня, вышвырнув отсюда, втолкнули в камеру.

По тюремному распорядку полагалось выводить арестантов на пятнадцатиминутную прогулку. Как-то раз – это была уже не первая прогулка,– вижу... Муса Джалиль – в костюме и синей рубашке, без шапки, в брезентовых туфлях. Я сумел встать за ним. Он шепотом сообщил мне, что все его товарищи тоже арестованы. При аресте у него в чемодане нашли листовки.

– Нас предали... Не думал я, что среди нас найдется продажная душа,– сказал он.

Поднявшись на свой этаж, заключенные должны были остановиться каждый у своей двери и, пока надзиратель не откроет, стоять лицом к ней. Остановился и Муса. Он встал возле седьмой от меня двери – 103-й камеры.

Меня снова повели на допрос. Опять расспрашивали о подпольной организации, пытаюсь применять хитрости и угрозы. Дескать, все другие рассказали все, что им известно, за это их теперь освобождают, только я один знаю, да молчу, и буду за это повешен.

– Можете вешать, но я ничего не знаю,– отвечал я.

Меня снова жестоко избили.

Во время следующей прогулки мы с Мусой спускались по лестнице вместе. Он спросил, как прошел допрос, кого я видел, и, тяжело вздохнув, добавил: «Для многих из нас тут могила, не знаю уж, удастся ли вырваться! Смотри, Файзрахман, как чисто, как спокойно небо. Там нет ни палачей, ни предателей. Слушай, может, ты еще выберешься отсюда. Поезжай во Франкфурт, второй вокзал, пивзавод, к Шилову. Он скажет, что делать дальше, свяжет с нужными людьми. Спроси в любом бараке для перемещенных – его знают. А может, и домой доведется вернуться... Я положу тебе в карман адреса». Мы попрощались у входа в мою камеру. Это была наша последняя встреча...

В камере я рассмотрел то, что сунул мне в карман Муса. Это была половинка черной пластмассовой расчески с обломанными зубьями. На ней с двух сторон были нацарапаны адреса. Первый помню до сих пор: Казань, ул. Большая Галактионовская, дом № 17, кв.28. Второй, московский, адрес уже стерся в моей памяти.

Месяца через два троих из нас вызвали в комнату допросов. Объявив, что мы освобождаемся из тюрьмы, нам дали подписать обязательство «не заниматься политикой». Выходя из кабинета, мы увидели в коридоре двух заключенных. Они стояли лицом к стене. Одного я узнал сразу: это был Шабаев. Другой походил на Алиша.

Через несколько дней после выхода из тюрьмы я поспешил во Франкфурт. Два раза пришлось вернуться – наткнулся на проверку документов, а я не имел права выезжать из Берлина. Наконец добрался до Франкфурта. Однако повидать Шилова не удалось. Когда я стал расспрашивать о нем в бараках, одна женщина-украинка посоветовала мне: «Ты, брат, даже имени его не произноси; здесь его разыскивала полиция, и он куда-то исчез: то ли бежал, то ли попал в тюрьму».

В «ОЖИДАЛКЕ»

Можно предположить, что военная прокуратура вела лишь предварительное следствие. Затем дело было передано гестапо, куда возили на допросы многих арестованных. Об одной из встреч с поэтом в подвалах гестапо рассказывает А. Рыбальченко: «Через день или два после первого допроса (это было в конце августа или начале сентября 1943 г.) меня снова привезли в гестапо. И когда меня на лифте, вместо того чтобы поднять на четвертый этаж, где находился кабинет следователя, опустили в подвал, я серьезно перенервничал, думая, что сейчас ко мне применят самые утонченные пытки, на какие способны фашисты. В подземелье был такой же просторный вестибюль, как и на первом этаже, от него в разные стороны тянулись длинные коридоры, освещенные электрическим светом. В кафельных стенах коридоров виднелись ниши многочисленных дверей. Я подумал, что здесь, видимо, мучают и расстреливают нашего брата, и приготовился к самому худшему...

Конвоир остановил меня у двери, выходящей в вестибюль, открыл ее и приказал заходить. Переступив порог, я оказался в щели метра в три шириной и метров десять длиной, с низким потолком, без единого окошка; только лампочка горела под частой проволочной сеткой посредине потолка. Это был каменный мешок, в который никогда не проникал луч дневного света. От двери через всю щель до задней стенки был свободный проход шириной в метр, а справа и слева устроены узенькие кабинки без дверей глубиной до метра каждая, с полочками для сидения у самой стены. Показав мне на первую кабину по левую сторону, конвоир вышел и закрыл за собой дверь на ключ. Я понял, что это и есть «ожидалка», о которой я был уже наслышан.

В противоположном конце щели скрипнуло сиденье, послышался вздох. Ясно, что я тут не один.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил я по-русски.

– А как же! Свято место пусто не бывает, – ответил голос, показавшийся мне знакомым.

– Чтоб оно сгорело, это «свято» место вместе с его хозяином.

– Скоро сгорит, можете не сомневаться!..

– Значит, нас двое или есть еще кто-нибудь? – продолжал я, внимательно вслушиваясь в голос собеседника.

– Был один товарищ, но его увели перед вашим приходом.

Чей это голос? Я уже не сомневался, что разговариваю с кем-то знакомым. А встретить знакомого в условиях полной оторванности от внешнего мира – событие исключительное...

– Простите, ваш голос напоминает мне...

– Кого, интересно? – не дал он мне договорить, и из последней кабины справа показалось улыбающееся лицо. – Ну, и теперь не узнаешь?..

– Муса! – вскрикнул я и бросился к нему, забыв о всякой предосторожности.

– Вот так встреча!

С тех пор, как мы виделись последний раз на Папештрассе, Джалиль заметно изменился: похудел, как будто стал ниже ростом, на бледном лице с синими кругами под глазами появились морщины, которых я раньше не замечал. Верхняя губа припухшая, на ней корка запекшейся крови. Видно, достается ему на допросах... Тем не менее он был собран и подтянут...

В первые минуты я растерялся. Ведь то, что Муса арестован, означало, что провал произошел и в татарской подпольной группе, что он значительно шире и глубже, чем мы предполагали. Хотелось скорее все выяснить, уточнить, условиться о поведении на допросах.

Мы зашли в одну из средних кабинок и перешли на шепот. Я кратко рассказал ему об арестах в Берлине, о ходе следствия, о том, какими доказательствами располагает враг против

нас и какую линию поведения на допросах занимают наши товарищи.

– Правильно! Никого не впутывать, отвечать только за себя! Мы тоже придерживаемся этого правила, – возбужденно говорил Муса.

От него я узнал, что в татарской группе арестован основной состав. Изъяты и приобщены к делу листовки. Джалиль, чтобы спасти товарищей, все взял на себя, а они, чтобы облегчить его участь, поступили так же каждый в отдельности. Кто их предал, Муса не знал. Ясно было только то, что негодяй не принадлежал к руководящему ядру подпольной группы и не мог сообщить гестапо о связях с нашей группой. Иначе гестаповцы сразу начали бы распутывать эти связи. Но пока этого обвинения ни им, ни нам не предъявлялось.

Было ясно, что на жизнь рассчитывать не приходится. Хотелось лишь спасти как можно больше товарищей.

– Да, – вздохнул Джалиль, – наша песня спета... Что ж, отчаиваться не будем! Не мы первые, не мы последние. На фронте братья умирают, отстаивая честь Родины, а мы умрем за нее здесь. Не страшно, когда знаешь, за что... Жалею только об одном: мало сделано, надо бы больше. Но верю, что партия и Родина поймут и не забудут нас!..

Поговорить обо всем, о чем хотелось, нам не дали. Через каких-нибудь 10–15 минут за дверью послышались шаги, зазвенели ключи. Мы быстро попрощались и разбежались по своим местам. Уже из глубины щели, пока открывалась дверь, Джалиль с жаром прочитал четверостишие, которое, возможно, только что родилось в его возбужденном мозгу. Я не сохранил в памяти первых строк стиха, запомнил только конец его:

...Над нами топор палача занесен,
Но мы перед ним не дрогнем!

СОСЕД ПО КАМЕРЕ

Летом 1955 года редактор издающегося в ГДР журнала «Пресса Советского Союза», немецкий публицист и переводчик Леон Небенцаль, просматривая советские издания, впервые познакомился с подборкой моабитских стихотворений Джалиля. Стихи понравились, запали в душу. Небенцаль особенно поразило то, что человек, томившийся в фашистских застенках, не испытывал злобы и ненависти к немецкому народу. Во мраке фашистской ночи, нависшей над Европой, он верил в Германию света и разума, Германию добра и справедливости, мечтал о том, чтобы вернуть отчизне Маркса и Гейне.

Позже из статьи Ю. Королькова, напечатанной в журнале «Советская литература», Небенцаль узнал о героической борьбе и трагической судьбе поэта. В статье говорилось, что о последних днях поэта известно пока очень мало и даже человек, переславший на Родину один из блокнотов со стихами Джалиля, – бельгийский патриот Андре Тиммерманс – все еще не найден.

И Небенцаль решил включиться в поиск.

Узнав, что в Бельгии существует Федерация борцов Сопротивления, в которой хранятся списки участников борьбы против фашизма, Небенцаль послал запрос в эту организацию. Ему ответили незамедлительно. В письме приводился адрес бывшего узника Моабитской тюрьмы Андре Тиммерманса, проживающего в Тирлемоне. Небенцаль написал по этому адресу и убедился, что это тот самый Тиммерманс, который сидел в одной камере с Джалилем.

О своем открытии Небенцаль рассказал сотрудникам советского посольства в Берлине и написал Королькову. Легкость, с которой Небенцалю удалось отыскать Тиммерманса, смутила Королькова и вызвала даже некоторые сомнения: тот ли это Тиммерманс? Корольков считал необходимым до публикации в печати снова все проверить. Тем временем Тиммерманс был «открыт» во второй раз.

Произошло это так. В сентябре 1956 года писатель Константин Симонов участвовал в фестивале поэзии в бельгийском городе Кнокке. Перед отъездом к нему зашла вдова поэта Амина Джалиль и попросила помочь в розысках бельгийского друга. После окончания фестиваля Константин Симонов встретился с известным бельгийским поэтом Роже Бодаром и попросил его помощи. Роже Бодар взялся за дело с некоторым сомнением, так как имя Андре и фамилия Тиммерманс относятся к числу наиболее распространенных в Бельгии. Однако

авторитет поэта и академика сыграл свою роль, и уже через два дня Симонов знал точный адрес. Он выехал в Тирлемон, разыскал Тиммерманса и подробно расспросил обо всем, что его интересовало.

В начале второй мировой войны Тиммерманс работал клерком в конторе судебного исполнителя. Когда гитлеровские войска вторглись в Бельгию, он стал членом Фронта независимости. Товарищи по подполью поручили ему выявлять и заносить в списки тех, кто сотрудничал с фашистами. Тиммерманс заводил на каждого предателя отдельную карточку, записывал в нее все собранные им данные и, если удавалось, подклеивал и фотографию.

Его арестовали в 1942 году по доносу провокатора. Сначала держали в Брюссельской тюрьме, потом отправили в Берлин. Более двух лет он томился в тюрьмах гитлеровской столицы, в том числе несколько месяцев провел в Моабитской тюрьме, в одной камере с Джалилем. Ему угрожала смертная казнь, но следствию не удалось доказать его причастность к подпольной организации. Поэтому он отделался сравнительно легко: пять лет каторжных работ. После возвращения на Родину Тиммерманс узнал, что его картотека цела, и по ней впоследствии были разоблачены многие коллаборационисты.

Тиммерманс дважды посетил Советский Союз – в 1957 и 1966 годах, встречался с родными и друзьями Мусы Джалиля, выступал перед читателями.

Мне тоже не раз приходилось встречаться и беседовать с ним. Высокий, худощавый, чуть сутуловатый, с черными, гладко зачесанными назад волосами, он оставлял впечатление удивительно простого и скромного человека. Его непринужденность в общении, обаятельная и немного застенчивая улыбка, тонкое чувство юмора покорили многих.

Мне довелось смотреть вместе с ним спектакль о Джалиле. Актер, игравший Тиммерманса, явно волновался. Не часто бывает, чтобы герой, которого ты играешь, присутствовал в зале. В противоположность настоящему Тиммермансу, актер был невысоким ростом, толстоват, суетлив в движениях и, пожалуй, излишне трагичен. Присутствие Тиммерманса придавало спектаклю особую достоверность – в зале театра ощущалось живое дыхание истории.

В антракте он прошел за кулисы, благодарил актеров за хорошую игру. Его попросили высказать свои замечания. Но Тиммерманс отшутился: «Вам, наверное, со стороны виднее, каков я на самом деле». Только актеру, исполнявшему роль Джалиля и одетому в живописные лохмотья, он заметил: «Муса вовсе не был таким оборванцем. Даже смерть он встретил в белой сорочке, в костюме с галстуком».

Тиммерманс близко к сердцу принимает все, что касается его тюремного друга. Кто-то рассказал ему, что находились люди, которые сомневались в Джалиле, считали его чуть ли не предателем. Тиммерманс был так возмущен подобными предположениями, что на юбилейных торжествах, посвященных 60-летию со дня рождения Джалиля, почти каждое свое выступление начинал с опровержения этого чудовищного подозрения. «Такой скромный, мужественный и образованный человек, как Муса Джалиль, человек, страстно любивший Родину и шедший ради нее на смерть, не был и не мог быть предателем», – повторял он.

Рассказ Тиммерманса до сих пор остается одним из важнейших свидетельств о моабитском периоде жизни Джалиля. Он позволил нам впервые во всей полноте и конкретности представить обстоятельства беспримерного подвига поэта.

ПИСАТЬ, ПИСАТЬ НЕ УСТАВАЯ...

...Допросы кончились, и наконец Мусу оставили в покое. В приговоре он не сомневался. Следователь прямо сказал ему, что даже за одну десятую его «преступных действий против великого рейха» полагается гильотина. Самое лучшее, на что он может надеяться, – расстрел.

Сначала тишина в тюрьме казалась могильной. Но потом слух обострился, и Муса стал различать и лязг дверей на нижнем этаже, и приглушенные кирпичными стенами стоны узников из подвального застенка, и грохот подков стражников в дальнем конце коридора. Тюрьма жила своей жизнью – говорила, вздыхала, ворочалась, плакала, негодовала. Со временем Муса до того «наострился», что скорее даже не слухом, а каким-то внутренним чутьем улавливал мягкие, кошачьи шаги надзирателей, обутой в специальные войлочные

туфли. Неслышно откроется «глазок» – Муса, не оборачиваясь, ощущает взгляд надзирателя. «Глазок» закроется – Муса снова берется за карандаш.

Путь великой правды труден, крут,
Но борца на путь иной не тянет.
Иль с победой встретится он тут,
Или смерть в попутчицы нагрывает.
Скоро, как звезда, угасну я...
Силы жизни я совсем теряю...
За тебя, о Родина моя,
За большую правду умираю!

Сколько остается еще жить? Месяц, два? А может, завтра утром раздастся стук кованых сапог, с лязгом раскроются железные двери, и их поведут на казнь...

Ныло избитое на допросах тело, не слушались пальцы (гестаповец несколько раз прошелся по ним каблуками хромовых сапог). Левая рука, перебитая еще при первой встрече со следователем в варшавской тюрьме, неправильно срослась. Стоило, забывшись, неловко пошевелить ею, как в голову и в плечо отдавала острая боль. Гестаповские палачи не зря считались мастерами своего дела. Железными прутьями, просунутыми в резиновые шланги, они отбили ему почки. И теперь он чувствовал невыносимую боль в пояснице, а лицо по утрам отекало, как при водянке.

Недели три назад в камере появился новый заключенный – бельгиец Андре Тиммерманс. Сначала Муса отнесся к нему подозрительно – не провокатор ли? Но вскоре убедился, что это честный, открытый и простой парень. У бельгийца оказался осколок зеркала. Впервые за много месяцев Муса увидел свое отражение – и даже отшатнулся. На него смотрело землисто-серое лицо с глубокими морщинами у рта и отеками мешками под глазами. Кто бы сказал, что ему тридцать шесть? Выглядел он на все пятьдесят.

А тут еще изнурительный кашель... Муса чувствовал, как по утрам, несмотря на адский холод и дрожь во всем теле, у него потеют ладони, а на щеках вспыхивает нездоровый румянец. Видимо, легкие не в порядке. Впрочем, какое это имеет теперь значение?

Как раздобыть хоть немного бумаги – вот что беспокоило его больше всего. Тиммерманс подарил ему несколько листов почтовой бумаги: бельгийцам разрешали писать письма домой и раз в две недели продавали по двойному листу бумаги в тюремной лавочке. Несколько обрывков оберточной бумаги принес третий сосед, поляк Ян Котцур, работавший на кухне. Из этой бумаги Муса сшил себе маленький блокнот.

Сейчас все мысли, чувства и стремления Мусы сводились к одному – писать. Он сам удивлялся своему состоянию. Когда-то, в далекой юности, работая над поэмой «Больной комсомолец», Муса пытался представить состояние человека, обреченного на смерть. Что он чувствует? Ужас? Отчаяние? Животный страх? Или гордое презрение к смерти? Поэма получилась несколько риторичной, хотя молодежь восторженно принимала ее.

Это было двадцать лет назад... Муса ходил в кожаной куртке, из-под которой выглядывала сатиновая косоворотка, в стоптанных ботинках, вокруг шеи – неизменный шерстяной шарф. Вот он легкой поступью поднимается на сцену. Волнуясь, оглядывает зал. Такие же, как у него, молодые безусые лица, вылинявшие гимнастерки, фуфайки, косоворотки, красные ситцевые косынки. Подчеркивая ритм энергичными взмахами руки с зажатой в ней кожаной кепкой, он читает стихи, чувствуя, как притихший зал покорно отдается поэзии.

Чаще всего он читал поэму «Больной комсомолец». Главный ее герой, революционер-подпольщик, свидетель Ленских событий и участник борьбы с Юденичем, умирает от чахотки. Подвалы царских тюрем подорвали его здоровье, белогвардейская пуля прострелила легкое... Жить ему осталось считанные дни. Но он думает не о собственной близкой смерти, а о мировой революции, о том, чтобы дать свободу рабочим Берлина, Познани и Парижа, вырвать братьев по классу из-под гнета капитала...

Далекая наивная молодость... Почему именно цветущей юности свойственно размышлять о смерти?

Действительность оказалась суровее и проще.

Да, был и страх перед смертью, и неотвязная тоска по воле, по родным, и страстное желание жить. Но первое чувство, которое он ощутил, когда закончилось следствие, – это

огромное облегчение. И не только потому, что прекратились допросы и пытки. Те несколько месяцев, когда он по решению подпольного комитета вынужден был делать вид, что сотрудничает с гитлеровцами, были самым тяжелым периодом в его жизни. Приходилось заставлять себя любезно улыбаться и казаться предельно лояльным и с командиром легиона Зиккендорфом, и со всяким эмигрантским отребьем. Пришлось – этого потребовали условия конспирации – стать своим человеком в доме политического спекулянта Шафи Алмаса. Когда Шафи Алмас принимался на чем свет стоит ругать большевиков и Советскую власть, нужно было делать вид, что соглашаешься, хотя руки так и чесались ударить его по красной физиономии. Приходилось гасить горящий ненавистью взгляд, поддерживать надоевший разговор о «крови Чингисхана и Батыя», вести двойную игру, а это для такого открытого и прямодушного человека, как Муса, было хуже всего.

Но еще труднее было чувствовать сверлящие, нескрываяемо враждебные взгляды своих же товарищей – военнопленных. Не подойдешь ведь и не объяснишь каждому, что ты был и остаешься настоящим советским человеком и думаешь только об одном – как бы вызволить их из фашистской неволи.

Что смерть! К мысли о ней Муса успел привыкнуть еще в Волховских болотах. Куда страшнее было клеймо предателя.

Здесь же, в тюрьме, все стало на свои места. С одной стороны – фашистские палачи с камерами пыток, тюрьмами, виселицами. С другой – они, горстка советских людей, заброшенных судьбой в фашистское логово. Не надо больше фальшиво улыбаться, кривить душой... Муса знал, что товарищи верят ему, уважают, нуждаются в нем. При каждой встрече в коридоре, во время прогулок или на очных ставках у следователя Муса старался взглядом или незаметным кивком подбодрить товарищей, помочь им выдержать все.

Джалиль считал, что ему легче, чем многим, – ведь с ним оставалась его поэзия, высокая, ни с чем не сравнимая радость творчества. Можно сказать, что ему повезло. Тюремщиками в Моабите работали старики непризывных возрастов: всех, кто помоложе, отправили на фронт. Они не очень усердствовали и, если заключенный не нарушал внутреннего распорядка, оставляли его в покое. Один из надзирателей, длинный, худой, с кроличьими глазами, вроде бы даже чуточку заискивал перед Мусой. На днях, подойдя к окошечку и боязливо оглянувшись по сторонам, он предупредил Мусу, что вечером, возможно, будет обыск. И верно: среди ночи в камере вспыхнул свет, их – троих узников – поставили вдоль стены и тщательно перетряхнули все, что было в камере. Но Муса успел надежно припрятать блокнот.

С появлением Тиммерманса в камеру стали давать фашистскую газету «Фолькишер беобахтер». Ее полагалось вернуть обратно – за этим следили строго. Но никто из надзирателей не обращал внимания на то, что довольно широкие поля газеты становились при этом чуть уже. Муса аккуратно отрезал бритвой длинные полоски бумаги и использовал их в качестве черновиков.

Сколько строк, образов, невысказанных мыслей и замыслов теснилось в его голове! Кто бы поверил, что именно сейчас, когда жить осталось считанные недели, а может, и дни, он переживал небывалый творческий подъем.

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.
Улыбкой гордою опять сияет взгляд,
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать не уставая.
Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила,
Я ко всему готов. Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

Муса сознавал, что так, как сейчас, он еще никогда не писал. Пройдя более чем двадцатилетний творческий путь, словно только в тюрьме он понял наконец, как надо писать. Много из того, что было написано до войны, казалось ему теперь слабым, растянутым. Сейчас бы он написал уже иначе.

Он спешил, но эта спешка не изнуряла, а, наоборот, придавала новые силы. Даже мысль о скорой и неизбежной смерти не мешала, а только подхлестывала его. Надо было спешить, чтобы оставить обдуманное и накопленное людям, а не унести с собой в могилу.

Дни в камере тянулись однообразно. В шесть утра – подъем. Муса всегда вставал первым. Преодолев не покидавшее его в последние месяцы чувство недомогания, делал короткую энергичную зарядку. Потом обнажался по пояс и растирался холодной водой из стоявшего возле параша жестяного тазика. Тюрьма не отапливалась. В камере было сыро и холодно, как в склепе. И Муса только покрывал, растирая худое посиневшее тело с еще не зажившими после побоев рубцами.

До завтрака поляк и бельгиец брились по очереди. Особенно долго – по часу и больше – брился Андре. Выпятив острый кадык и подпирая языком впалые щеки, он старательно выбривал каждый волосок, словно собирался на дипломатический прием.

Пока они брились, Муса бегло просматривал написанное накануне и набело переписывал в блокнот одно или два стихотворения.

В восемь приносили завтрак – кружку мутно-коричневой бурды, называемой «кофе», и кусочек эрзац-хлеба. Можно было съесть его сразу, можно оставить до вечера, потому что больше хлеба в этот день уже не полагалось. После завтрака поляка обычно уводили – он работал на кухне, и Муса с Андре на целый день оставались одни. Около девяти их по очереди выводили на прогулку – пятнадцать минут молчаливого кружения по двору с заложенными за спину руками.

Вернувшись с прогулки, Муса сразу садился за работу. Он быстро писал, зачеркивал, рвал исписанные полоски бумаги и снова писал. Иногда, обдумывая строку, ходил из угла в угол. Порой, остановившись, смотрел в одну точку на стене. Андре в такие минуты старался не мешать поэту.

Так тянулось время до полудня. Ровно в двенадцать приносили обед – литр жидкой баланды, в которой плавали кружочки моркови и крохотные кусочки неочищенного картофеля или свекольной ботвы. Проглотив похлебку, Муса с Андре разговаривали. Андре вспоминал о жизни в Бельгии, а Муса рассказывал о дочери, жене, о могучей Волге и просторах оренбургских степей. Когда не хватало слов, они рисовали предметы на тех же полосках бумаги. Муса произносил их названия по-русски и по-немецки, а Андре повторял по-французски. Муса взялся за изучение французского и составил себе целый словарь из таких рисуночков и их значений.

Часа в два Муса снова принимался писать и работал, не отрываясь, уже до вечера. Это однообразие несколько нарушилось, когда Мусой овладела идея поговорить с друзьями. Они сидели в соседних камерах. С одной стороны – Абдулла Алиш, с другой – Фуат Булатов. С ними были бельгийцы, знакомые Тиммерманса. Муса и Андре не раз совещались, как продырявить стену. Наконец придумали.

Заклоченным иногда давали какую-нибудь работу – немцы из всего стремились извлечь выгоду. Муса и Андре тоже попросили работу, надеясь, что им дадут какой-нибудь режущий инструмент. Им поручили выделывать узкие продолговатые пазы на круглых деревянных крышках (назначение этих крышек так и осталось для них загадкой). Выдали и инструменты, в том числе длинную стальную стамеску. Этой стамеской они и принялись ковырять стену.

Начали с той, за которой сидел Булатов. Возле стены стояла параша на трех деревянных ножках. Одна из ножек вплотную подходила к стене и закрывала часть ее. В этом месте они и начали ковырять стамеской. Им повезло: с самого начала стамеска попала в щель между кирпичами. Долбить приходилось осторожно, вечерами, когда в коридоре оставались только дежурные надзиратели. Выходя на прогулку, они выносили в карманах по горстке щебня и незаметно высыпали на дорожку. Стена была толщиной в полметра, и на то, чтобы просверлить ее, потребовалось немало дней. Зато столько радости было, когда они наконец пробили стену насквозь! С этого дня Муса часами разговаривал с Булатовым, а Андре – со своим другом-бельгийцем.

Вскоре Муса с Андре начали долбить и другую стену, за которой сидел Абдулла Алиш. Но довести до конца эту работу им не удалось. Стена была крепкая, сил – мало, и к тому же ковырять приходилось за батареей, чтобы не заметили надзиратели.

Однажды Мусу вызвали к следователю. Вернувшись, он рассказал Андре, что скоро их

повезут на суд в Дрезден. Через несколько дней за Мусой пришли стражники, велели забрать личные вещи. Расставаясь, Муса невесело пошутил:

– Я вернусь, но с головой под мышкой.

Из беседы К. Симонова с А. Тиммермансом

Симонов. Когда Джалиль передал вам тетрадь, которую вы сохранили?

Тиммерманс. Это было примерно за полмесяца до того, как его отправили на суд в Дрезден. Он передал мне маленькую тетрадку, сделанную из почтовой бумаги, которая иногда продавалась в тюремной лавочке.

Симонов. Почему он передал вам ее именно тогда? Он уже тогда ждал, что его казнят?

Тиммерманс. Да, он уже задолго до суда был уверен, что его казнят. Он несколько раз совершенно спокойно говорил мне о том, что у него нет ни малейших сомнений на этот счет. В тот день, когда он мне передал тетрадь, Джалиля вызывали к начальству тюрьмы. Точно не знаю зачем, но, кажется, требовали подписать какую-то бумагу. Когда он вернулся в камеру, он подошел ко мне, дал тетрадь и попросил, если я останусь жив и вернусь домой, сохранить ее и передать после войны в советское консульство в той стране, где я окажусь.

Симонов. Как вам удалось сохранить и передать тетрадь?

Тиммерманс. Когда меня переводили в Шпандау, я взял ее с собой – спрятал в одежде, а когда мне объявили новый приговор – пять лет каторги, то на следующий день после приговора я, как и все другие, должен был пойти в тюремную контору и сдать все лишнее. Я собрал вещи, которые мне нужно было сдавать, и засунул в них тетрадку Джалиля так, чтобы ее не сразу было видно, но чтобы в то же время и не было впечатления, что я ее спрятал специально. Вместе с ней я засунул молитвенник, который мне дал в берлинской тюрьме немецкий священник. В этом молитвеннике две первые страницы были исписаны стихами Джалиля, которые он написал мне в подарок.

Немцы начали составлять инвентарную опись вещей. Увидели и тетрадку: «Что там такое?» Я сказал, что это мой дневник, а они сдуру, на мое счастье, не обратили внимания, что в тетрадке записи не на немецком и не на французском, а на другом языке. Впрочем, они спешили: в тот день отправляли много людей.

Вместе с тетрадкой и молитвенником была еще безопасная бритва и другая мелочь. Все это вместе с инвентарной описью, согласно заведенному порядку, немцы отправили домой, моей матери. Когда меня отправили в концлагерь, мне разрешили написать матери письмо. Я не мог написать ей прямо, но постарался дать понять, чтобы она во что бы то ни стало сохранила тетрадку и молитвенник.

Когда я вернулся, оказалось, что молитвенник пропал, не знаю, как это случилось, а тетрадь сохранилась, и я ее передал в советское посольство. Сам я не мог этого сделать, потому что после концлагеря долго болел, попросил товарища. Он взял тетрадь с собой в Брюссель и, вернувшись, сказал мне, что выполнил мое поручение.

В 1966 году за заслуги перед советской литературой и мужество, проявленное при спасении блокнота Джалиля, Андре Тиммерманс был награжден Советским правительством медалью «За отвагу».

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ МОАБИТСКОЙ ТЕТРАДИ

Итак, история одной из Моабитских тетрадей ясна. Но как вышла из тюрьмы другая?

Гази Кашшаф первым обратил внимание на имя Габбаса Шарипова, записанное на обложке. Эта же фамилия приводилась и в списке лиц, арестованных вместе с поэтом. Кашшаф высказал предположение: не этот ли человек вынес из тюрьмы тетрадку Джалиля? Действительно, удалось установить, что в одном из подразделений третьего батальона легиона «Идель-Урал» служил некий Габбас Шарипов, впоследствии арестованный фашистами и брошенный в Моабитскую тюрьму. Но о его дальнейшей судьбе ничего не было известно. Лишь в самом конце 1968 года я получил письмо из Уфы от исследователя-энтузиаста Н.И. Лешкина. Он сообщал, что, как ему удалось установить, Габбас Шарипов живет в Волгоградской области.

И вот я в поселке имени Кирова Красноармейского района Волгоградской области.

Хозяин, предупрежденный о моем приезде, встретил меня радушно, но не скрывал и некоторого удивления:

– Не знаю уж, стоило ли вам беспокоиться и ехать в такую даль. Я и так мог бы ответить на все ваши вопросы.

Он среднего роста, темно-русые волосы заметно тронуты сединой. Лицо продолговатое, открытое, иссеченное ветром. Ему пятьдесят лет, работает в совхозе разнорабочим.

Габбас Шарипов оказался человеком не очень разговорчивым, в излишние подробности не вдавался, не выпячивал себя, но на вопросы отвечал прямо и исчерпывающе.

Наш разговор начался несколько неожиданно для меня.

– Знаете ли вы, – сказал Шарипов, – что я был осужден судом военного трибунала за нарушение воинской присяги и отсидел срок?

– Знаю, – ответил я (об этом мне написал Н.И. Лешкин). – Но я приехал сюда не для того, чтобы копаться в вашем прошлом, а чтобы выяснить некоторые детали, связанные с Мусой Джалилем.

– И все-таки я хочу предупредить, что не считаю себя несправедливо обиженным. Да, я смалодушничал и получил заслуженное наказание. Оказаться в плену – позор для солдата, даже если это произошло в окружении.

– Не с вами одним это случилось...

– Да, – согласился Габбас Хамзеевич, – и все-таки героического в этом мало... В декабре 1942 года немцы отобрали в лагере пленных представителей народностей Поволжья, привезли в Едлино и объявили, что отныне мы легионеры, приравненные к солдатам немецкого рейха. Верно, нашего согласия никто не спрашивал. Но надеть на себя мундир немецкого солдата – разве это не нарушение воинского долга?

Габбас Хамзеевич наливает себе воды из графина, пьет, ходит по комнате, потом, немного успокоившись, продолжает рассказ.

В июне 1943 года Шарипова в составе третьего (827-го) батальона послали на Западную Украину. Сразу же после прибытия на место легионеры стали искать связи с партизанами. Габбас не был членом подпольной организации, но знал, что такая организация существует. Членом организации был, в частности, его друг Габбас Кадермаев. Однажды, когда они находились под городом Станиславом, Кадермаев показал ему пачку антифашистских листовок и предложил распространить их среди легионеров. Шарипов согласился, но сделать ничего не успел.

На другой день в сопровождении немецких конвоиров его увезли в Станислав. В штабе батальона у него отобрали оружие, ремень и легионерскую книжку, скрутили назад руки и допросили. Шарипов понял, что кто-то донес немцам о листовках. Его били, требуя, чтобы он рассказал о листовках и выдал сообщников. Шарипов отвечал, что ничего не знает (хотя и знал от Кадермаева, что тот получал листовки от Фуата Сайфельмулюкова).

Его посадили на гарнизонную гауптвахту, потом отвезли в тюрьму во Львов. Просидел он там больше месяца. Допросов в то время не было. Затем его привезли в Берлин и бросили в одиночную камеру Моабитской тюрьмы. На допросы возили в Потсдам, где находилась армейская контрразведка. Допросы сопровождалась побоями, но утонченных пыток не было. Следователь не раз угрожал Шарипову, что, если он будет упорствовать, передаст его в руки гестапо: уж там-то из него сумеют выжать все. И это действительно была страшная угроза. Но и эти допросы, по словам Шарипова, были «не сахар». За каждое «не знаю» следователь бил его наотмашь по лицу, бил рукояткой револьвера по голове. Ничего не добившись, устало откидывался в кресле и нажимал кнопку под столом. Входили два дюжих «боксера», уволакивали Шарипова в специальную комнату и там «обрабатывали» до тех пор, пока не выбивались из сил.

У Шарипова во время этих «обработок» все каменело внутри. Только страшная ненависть помогала пересиливать боль.

Однажды во время прогулки во дворе тюрьмы Шарипов увидел знакомое лицо. Это был Фуат Сайфельмулюков (до войны они вместе учились в полковой школе). Фуат взглядом дал понять, что тоже узнал его, и сделал знак, что хочет что-то сказать. У входа, когда один из стражников прошел вперед, а другие остались сзади, пересчитывая заключенных, Сайфельмулюков чуть замешкался. Дождавшись Шарипова, он шепнул ему, что немцы

арестовали всех подпольщиков и им уже наверняка не вырваться отсюда.

Потом Шарипов видел Фуата еще два раза во время прогулок, но поговорить им больше не удалось.

Зимой 1943/44 года участились воздушные налеты на Берлин. После того как несколько заключенных во время бомбежки сумели бежать (бомба попала в один из блоков тюрьмы), гитлеровцы стали переводить заключенных из верхних этажей в подвалы, загоня в камеру человек по двадцать. Камеры были небольшие, без окон, стоять приходилось плотно прижавшись друг к другу.

Такие перемещения вносили в жизнь заключенных хоть маленькое, но разнообразие. Едва захлопывалась железная дверь, как в камере начинали оживленно переговариваться. Звучала немецкая, французская, английская, русская речь. Люди искали своих, просили что-то кому-то передать, о чем-то предупредить товарищей.

Однажды в таком вот каменном мешке Шарипов услышал, как кто-то спросил по-татарски:

– Татары здесь есть? Есть кто-нибудь с Волги, из Татарии?

Он откликнулся. К нему пробрался невысокий человек в гражданском костюме, с землисто-бледным лицом и отеками веками. С ним было еще двое или трое татар в немецких мундирах. Человек в штатском принялся расспрашивать Габбаса, кто он и за что сидит. Один из его спутников сказал Шарипову, что это известный татарский поэт Муса Джалиль.

Они проговорили до конца налета. Муса велел Шарипову ни в чем не признаваться, держаться твердо. «Мы всю вину берем на себя, – сказал он, – а тебя должны освободить». Приблизившись вплотную, он тихо спросил: «Сможешь выполнить одну просьбу? Надо вынести на волю блокнот со стихами. Там говорится о нашей борьбе и участии. Хотим, чтобы Родина знала о нашей судьбе». Шарипов пообещал. Муса с горечью говорил, что не может достать бумаги и ему некуда переписать стихи. По словам Шарипова, поэт был грустен, задумчив, понимал, что живым из тюрьмы ему не выбраться.

Вскоре в судьбе Шарипова произошла перемена. Следователь как-то подобрел к нему, побои прекратились. Однажды он откровенно сказал Габбасу, что его арестовали по ошибке вместо Габбаса Кадермаева, который бежал из легиона, тем самым подтвердив свою вину. В середине или конце февраля, через полгода после ареста, Шарипова выпустили из тюрьмы и отправили в лагерь Ле-Пюи во Франции, где находились части Татарского легиона. Там он и оставался до конца войны.

В первом издании книги, приведя рассказ Шарипова, я выражал сожаление, что историю первой тетради так и не удалось выяснить.

Но если не Шарипов вынес тетрадь, то кто же? Вновь и вновь перебирал я списки лиц, арестованных гитлеровцами, прослеживал судьбу каждого, встречался с теми немногими подпольщиками, которым посчастливилось остаться в живых...

Единственного человека, который мог бы точно сказать, от кого он получил тетрадь Джалиля, – Нигмата Терегулова – давно уже не было в живых. Но, может быть, он рассказывал кому-нибудь об этом?

Я разыскал вдову Нигмата Банат-ханум, проживающую в Уфе. К сожалению, после смерти мужа прошло слишком много времени, и она не помнила подробностей. Она рассказала со слов мужа, что тетрадку Джалиля он прятал под стелькой сапога, что ее передал ему в г. Ле-Пюи какой-то бывший легионер, вышедший из тюрьмы. Фамилии его она уже не помнила. Банат-ханум дала мне адрес сестры мужа, Мукаррамы, которая, по ее словам, лучше должна помнить подробности тех лет. Мукаррама-ханум с готовностью откликнулась на мое письмо и сообщила, что, как ей рассказывал сам Нигмат вскоре после войны, тетрадку ему передал какой-то Шарипов. Снова Шарипов! Но ведь он уже отказался от этого поступка...

Устное свидетельство – далеко не самое надежное. Память способна на коварные смещения. Может быть, Мукаррама-ханум читала или слышала какие-нибудь позднейшие передачи о Джалиле, где называлась фамилия Шарипова... Убедительным доказательством явилась бы запись самого Нигмата, но дома, среди его бумаг, таких записей не оказалось. Тогда я уточнил круг знакомств Нигмата: с кем он общался, переписывался, и стал одного за другим разыскивать этих людей.

И вот наконец то, что я так долго и тщетно искал, – собственноручное письмо Нигмата Терегулова одному из знакомых:

«Ты спрашиваешь, каким образом у меня оказались дневники Алишева и Джалиля?»

В марте 1944 года в лагерь Ле-Пюи прибыл Шарипов Габбас, уроженец Сталинграда, я с ним познакомился. Он спросил, знаю ли я по-арабски (т.е. арабский алфавит. – *Р.М.*), я ответил утвердительно. Тогда он передал мне дневники Алишева и Джалиля, которые, по его словам, находятся в берлинской тюрьме, куда они попали за антифашистскую деятельность. По приезду в Казань я, как мне говорил Шарипов, передал блокноты по указанному адресу».

Опять та же фамилия! На этот раз уже в письме, написанном в марте 1946 года. Я сообщил о своей находке Шарипову. Он не ответил. Тогда я снял фотокопию письма, приложил фотографию Нигмата военных лет и написал Шарипову, что он не может не помнить этого человека. Если он мне снова не ответит, предупредил я, выезжаю сам.

Наконец пришел ответ от Шарипова:

«Здравствуй, Рафаэль!

Да, я виноват перед тобой, что не ответил на твое письмо. Ты думаешь, это так все просто? Сколько с этим связано и боли, и горечи, и несправедливости. Да ладно, я не об этом. Ты, оказывается, очень настойчивый, от тебя так легко не отделаешься. Что ж, отвечу на твой вопрос, на который я тогда дал отрицательный ответ. Как говорят, лучше поздно, чем никогда. Ведь все равно ты, наверное, будешь работать над продолжением книги. Да, Нигмат пишет правду – это я вынес тетрадку из Моабитской тюрьмы...

Как это произошло? Расскажу все как было. Веришь ты мне или нет – мне это все равно. После нашей встречи в камере-убежище в подвале Моабитской тюрьмы, когда мы договорились, что Муса передаст мне свой блокнот, мы с ним встречались в том же подвале еще два или три раза. И Муса мне блокнот действительно не передавал, так как, по его словам, не успел переписать его. Но он, очевидно, знал, когда меня собираются освободить.

У нас там было немало друзей среди заключенных немцев, работавших уборщиками и имевших какую-то свободу передвижения внутри тюрьмы. Они раздавали пищу, тем, кто заказывал, приносили газеты и старые журналы, убирали мусор, выносили урны. Они же были у нас за почтальонов. Часовой-ключник идет впереди, открывает подряд камер десять, только покрикивает на них: «Шнель! Шнель!» А сам уже вон где шумит. А они тем временем передавали записки из камеры в камеру.

Вот они-то и передали мне записку без подписи с известием: «Сегодня тебя освободят». Там же было сказано, что в моей одежде будет «Ташенбух» (для отвода глаз Муса написал на обложке блокнота, что это словарь. – *Р.М.*). Вот так, собственно, это и произошло. Меня вызвали в канцелярию, объявили о моем освобождении из тюрьмы. Потом завели в комнатку, куда немцы-уборщики принесли мою одежду. Они-то, очевидно, и подложили в подкладку блокнот Мусы Джалиля, который я обнаружил уже после выхода из тюрьмы. А потом, уже во Франции, я передал блокнот Нигмату.

...Почему я тогда не рассказал тебе об этом? Эх, Рафаэль, ты еще молодой. Я же сказал, что вскоре после войны я был осужден за участие в Волго-татарском легионе. Тогда, во время следствия, я умолчал об этом факте. Ну а потом, после помилования, когда имя Джалиля стало греметь на весь мир, мне было уже неудобно рассказывать об этом. Сказали бы: молчал, молчал, а потом решил примазаться к чужой славе. Если б ты не нашел это письмо, я бы так ничего и не сказал. Ну, да ладно. Что было – то было. Прошлого не вернешь и ничего уже не изменишь.

Мои дела идут нормально. Работаю по-прежнему в совхозе. Сейчас строюсь, заканчиваю новый дом. Приезжай летом с семьей, теперь есть где тебя встретить, и лучше, чем в прошлый раз.

...Конечно, можешь сослаться на мои показания, потому что теперь уже никаких изменений не будет.

С приветом *Габбас*».

АЛЕКСАНДР НИКОЛАС

*Он же алжирец, он же француз,
он же капитан Александр,
он же Амир Галимзянович Утяшев*

После ареста членов подпольной группы борьбу продолжали те, кто чудом избежал ареста. Один из таких – Амир Утяшев.

В 1944 году немецкое командование во Франции обещало за голову Амира Утяшева вознаграждение в 500 тысяч франков. Вернувшись же на Родину, участник французского Сопротивления получил от военного трибунала 25 лет сталинских лагерей и пять лет поражения в правах.

Летом 1943 года военнопленный Амир Утяшев встретился в польском лагере Едлино с поэтом Мусой Джалилем, который носил в плену фамилию Гумеров. Встреча эта не была случайной. Поэт подбирал наиболее стойких, преданных людей для подпольной организации, и, видимо, кто-то посоветовал ему поговорить с бывшим политруком, старшим лейтенантом Советской Армии Амиром Утяшевым. Они говорили с глазу на глаз. Муса расспрашивал Утяшева, откуда он родом, кем работал до войны, как смотрит на события последних лет, почему его называют Александром Николаевым... Утяшев отвечал, что родом он из Буздякского района Башкирии, работал до войны бухгалтером в райпотребсоюзе, а фамилия... В лагере для военнопленных он лежал в тифозном бараке. Немцы распорядились всех тяжелых больных, в том числе и его, расстрелять. Но кто-то из друзей подменил его карточку военнопленного, сменяя на карточку недавно умершего рядового Александра Николаева, и перевел в барак для выздоравливающих. Так он остался жить, но уже – под другой фамилией...

Джалиль говорил мало, больше слушал. Но главное Амир Утяшев уяснил: в Едлино существует подпольная организация советских военнопленных, которая ставит своей целью вывести соотечественников к партизанам и совместно бороться с фашистами. И еще он понял, что разговор этот – только предварительный. К нему присматриваются, прикидывают, на что он способен. О главном речь пойдет впереди, при следующей встрече.

Но эта первая встреча с Джалилем оказалась и последней. Вскоре в Едлино прошли массовые аресты. Был схвачен и Муса Джалиль, и многие из тех, кто с ним общался. Гестаповцы, видимо, догадывались, что татары установили связи с польскими партизанами, и в спешном порядке загрузили в два эшелона Третий (штабной) батальон легиона «Идель-Урал» (или Волго-татарского легиона, как его называли сами немцы) и под усиленной охраной переправили во Францию, в городок Ле-Пюи, департамент Верхняя Луара.

Во Франции порядки были не очень строгими. Раз в неделю легионерам давали увольнительные в город. Можно было зайти в кафе или бистро, посидеть за кружкой пива. Утяшев использовал эти выходы в город для установления связей с французскими патриотами, а через них – с маки. Ему удалось познакомиться, а затем и подружиться с семьей Бигу: отцом семейства мсье Клементом, членом французской компартии, старшим сыном Евгением и младшим Жаном. Началось с невинного – занятий по обучению французскому языку. Утяшев оказался способным учеником. Вскоре он уже не только разговаривал со своими французскими друзьями, но и слушал вместе с ними передачи французского радио из Лондона, а затем передавал услышанное агитаторам в легионе.

Выяснив, что его новые друзья имеют связи с маки, Утяшев попросил их содействия переправить к партизанам группу наиболее преданных легионеров. Посоветовавшись со своими, те ответили, что зимой лучше оставаться в казармах, так как партизаны, скрывающиеся в горах, пока не могут принять столько гостей. И все же, когда некоторым из подпольщиков оставаться в легионе стало небезопасно, старший сын Клемента Евгений помог переправить несколько человек к маки.

Кроме семейства Бигу Утяшев установил связь с участниками французского сопротивления: поваром Эмилем Ру, Марией-Розой Рош, сестрами Барнау и другими. Вот как рассказывает одна из сестер Барнау об эпизоде, который сохранился в ее памяти так отчетливо, будто это произошло только вчера (в сокращенном изложении):

– Как-то утром господин Александр Николас (так называли его французские друзья) пришел к нам домой вместе с Марией-Розой. Ему срочно надо было передать записку повару

Эмилю Ру, который находился в госпитале. Так как в госпитале лечились немецкие солдаты и офицеры, там стояла охрана и посторонних туда не пускали. Господин Александр Николас объяснил, что ему необходимо как можно быстрее увидеться с этим человеком в доме моих родителей на углу бульвара Карно и авеню Эгюий (у них там было свое кафе).

Сначала часовые меня не пустили. Но потом я узнала кое-кого из немецких солдат, которые приходили в кафе моих родителей у казармы Ремеф, заговорила с ними и с их помощью смогла пройти в ту часть госпиталя, где не было охраны. Прошла во двор и увидела Эмиля Ру за окном первого этажа. Сделала ему знак следовать за нами. Но он покачал головой, показывая, что не может выйти. На этот случай господин Александр предупредил, что тогда, мол, свяжитесь с Амидом Асановым, азербайджанцем-санитаром, который тоже находился в госпитале. Я знала, что Амид собирается перейти к маки вместе со своим другом Каримом. Разыскала его и сделала ему через окно знак прийти к нам. Амид жестом показал, что понял меня.

Вскоре он действительно пришел к моим родителям, где его уже ждал господин Александр. О чем они говорили, я не знаю, но догадывалась, что они готовят уход русских солдат из лагеря к маки. В лагере что-то произошло. Немцы кого-то арестовали, о чем-то узнали, поэтому надо было сделать это как можно быстрее. В это время я, моя мама и сестра Дениза были в кафе и следили за улицей.

Вдруг мы заметили на улице какое-то движение. Появились немецкие патрули, которые начали окружать наш квартал со стороны улицы Дефаж и школы глухонемых на улице Эгюий. Мама тут же велела Марии-Розе уходить к себе и предупредила господина Александра.

Окно в нашей столовой выходило во двор, отделенный высокой кирпичной стеной от соседнего дома, где находилась веломастерская сыновей Бувье. Капитан Александр и Амид выскочили в окно, перебрались через стену и ушли через мастерскую. Через несколько минут жандармы вбежали к нам. Они все в доме перерыли, обыскали чердак и погреб. Ничего не найдя, арестовали меня и мою сестру Пьеретту. Повезли нас сначала в немецкую комендатуру, где записали наши данные, а потом на бульвар Сен-Луи, в гостиницу Лафайет, где находилось управление СС. Здесь нас допрашивали сначала вместе, потом отдельно. Спрашивали о русских военнопленных, о господине Александре и других. Мы в один голос повторили, что знаем их лишь как посетителей кафе.

Через некоторое время сюда же доставили Амида Асанова, которого арестовали на улице, и устроили нам с ним очную ставку. Господину же Александру, как мы поняли, удалось уйти. Потом мы узнали, что он увел в маки Ружак большую партию военнопленных, свыше ста человек. Господин Александр стал командиром отряда и принял участие в боях за освобождение Ле-Пюи, ан Веле, где мы жили с родителями, и других городов и поселений департамента Верхняя Луара.

Это лишь один эпизод из биографии отважного подпольщика. А сколько было таких эпизодов, когда жизнь висела на волоске и только случай или исключительное везение – называйте как хотите – помогли ему справиться с невероятно трудным заданием: переправить легионеров к маки.

Начальник французских внутренних сил Сопротивления департамента Верхняя Луара подполковник Серж Запальский (подпольная кличка Жевольд) выдал Амиру Утяшеву краткое свидетельство, заверенное печатью мэрии города Ле-Пюи 5 января 1946 года, в котором говорится: «Капитан русских партизан Утяшев, именуемый в подполье «капитаном Александром», служил во французских внутренних силах Сопротивления департамента Верхняя Луара с конца июня 1944 года.

За это время он выполнил с большой активностью следующие задания:

1. Поддерживал связь с подпольщиками: переводчиком Мишелем и капитаном Сегелем. (Как пояснил затем в ходе переписки со мною Серж Запальский, А. Утяшев передавал через связных важные сведения о всех передислокациях немецких войск, заранее предупреждал о готовящихся карательных экспедициях против маки, что позволяло принять необходимые меры, информировал о движении колонн с войсками и т.д. Именно поэтому командование Сопротивления настаивало, чтобы он как можно дольше оставался в лагере. И только когда нависла угроза ареста, ему разрешили перейти к маки в составе подготовленной им группы из

118 человек.– *Р.М.*)

2. Захватил склад с боеприпасами, чтобы вооружить группу русских, которые ушли вместе с ним в партизаны (Амир Утяшев рассказывает об этом коротко: сняли часовых, ломом сбили замок, раздали legionерам винтовки, автоматы, ручные пулеметы, патроны и гранаты – столько, сколько каждый мог унести с собой, а их было 118 человек,– и под покровом темноты двинулись в ближний лесок, где их ждали представители маки.– *Р.М.*)

3. Вооружил этих людей и направил их в партизаны (с оружием у маки было туго, остро не хватало боеприпасов, поэтому Запальский особо выделяет этот момент.– *Р.М.*)

4. Был послан из отряда в город Ле-Пюи переодетым в гражданское, еще до его освобождения, чтобы связаться с татарами и с их помощью участвовать в освобождении города. (Об этом эпизоде тоже можно рассказать чуть ли не целую повесть. Утяшева узнали, хотели арестовать. Но его бесстрашие и решимость привели к тому, что legionеры поддержали его и, вооружившись, выступили против немцев. В это время с другого конца в город вступили партизаны. Немцы были деморализованы и не сумели оказать сопротивления. Во многом благодаря решительным действиям Александра Николаса Ле-Пюи был освобожден малой кровью, почти без потерь со стороны партизан.– *Р.М.*)

5. Принял активное участие со своими людьми в боях при Баинсе, Аллегро и Бельво-ля-Монтань.

6. После освобождения города от немцев сотрудничал с маки в поисках немцев, фашистов-полицаяев и тайных прислужников гестапо.

Командиру русских партизан было присвоено при моей помощи звание капитана французской армии, что было внесено в приказ французских внутренних сил департамента Верхняя Луара. К сожалению, его иностранное происхождение повлияло на то, что командование 13-го военного округа не утвердило это представление.

Перед отъездом из Ле-Пюи капитан Александр сделал запрос о своей принадлежности к бойцам французского Сопротивления. Но из-за того, что отъезд был слишком скорым, запрос не был выполнен.

Настоящим свидетельствую, что капитан Александр имеет право на звание «боец французских вооруженных сил» (подчеркнуто С. Запальским.– *Р.М.*). Далее следует подпись и печать.

После войны Серж Запальский (ветеринарный врач по профессии) работал по линии ООН в Тунисе, США (Вашингтон), Пакистане. В настоящее время живет в г. Драгиньяне. В своих письмах ко мне он очень высоко оценивал деятельность Амира Утяшева в рядах французских партизан, а также таких наших соотечественников из татар, как командир франко-русского батальона № 352 лейтенант Лутфуллин, капитан ветеринарной службы Рушад Хисамутдинов, старший лейтенант Александр Садыков и старшина Маликов.

В 1990 году Амир Утяшев приехал во Францию по приглашению мэра г. Баинса для участия в торжествах по случаю 46-й годовщины освобождения города. Здесь он посетил местное кладбище, где похоронены многие из его товарищей, погибшие во время боев с гитлеровскими оккупантами. Встретил на торжественной церемонии Сержа Запальского, побывал у него в гостях в Драгиньяне.

Выступая на церемонии, состоявшейся 11 августа 1990 года у мэрии, мэр г. Баинса господин Мишель Деколен вспомнил о событиях 11 августа 1944 года. Все началось с того, что немецкий отряд, приехавший в город для реквизиции скота около 8 утра, задержал возле мэрии одного из руководителей подполья капитана Сегеля и его шофера Корнерна. Очевидно, кто-то донес на них.

Узнав об этом от своих людей, полковник Запальский распорядился немедленно освободить их. Основной удар должна была нанести группа маки из Ружака, которой руководил Александр Николас (Амир Утяшев). Отряд поддерживали группы Жоржа и присоединившиеся к ним позднее группы Даниеля и Алеша. Партизаны быстро выдвинулись к городу, окружили его и в два часа дня открыли огонь по немцам. Фашисты, не ожидавшие столь мощного натиска, были растеряны и понесли большие потери. Из города удалось вырваться лишь небольшому конвою, остальные сдались в плен.

К сожалению, капитана Сегеля не удалось освободить – немцы его расстреляли. В битве за город погибли и шестеро партизан, в том числе и несколько советских военнопленных. Среди

них мэр назвал летчика-капитана Андрея Аксенова и татарина Тазизана Зубаирова. Вскоре партизаны, прихватив раненых и похоронив убитых, ушли на свои базы в горы. Вслед за этим из Ле-Пюи прибыл новый немецкий отряд. Немцы окружили город, провели обыски в домах и ряд арестов. В отместку за своих убитых немцы собирались сжечь город и провести массовые расстрелы заложников. Но начавшиеся вскоре активные действия партизан помешали этому.

«Мы не можем забыть мужество тех, – говорил мэр, – кто открыл нам дорогу в мирную жизнь. Наш долг – увековечить их память».

Перечислив имена героев-подпольщиков, он особо выделил деятельность «капитана Утяшева, который в течение 45 лет жил надеждой вернуться на французскую землю, в места расположения маки, чтобы поклониться могиле своих соотечественников, погибших в Баинсе, встретиться с друзьями и восстановить правду об участии татарского легиона во французском Сопротивлении. Да, татары мужественно боролись против немцев. И мы сегодня с благодарностью это признаем».

Французы с сожалением говорили и о тех, кто не смог прибыть на церемонию: Рушаде Хисмутдинове из г. Оша в Киргизии (он был болен и вскоре скончался от сердечного приступа), Гарафе Фахрутдинове из Ташкента и др.

Всего же с участием подпольщиков перешло к макизарам, сложило оружие и так или иначе было нейтрализовано около двух тысяч советских военнопленных, преимущественно татарских легионеров. И в этом – огромная заслуга Амира Утяшева.

Но есть еще одна сторона его деятельности, которая до недавнего времени оставалась в тени. А. Утяшев сыграл немалую роль в спасении Первой Моабитской тетради Джалиля.

Зимой 1943–44 гг. в Ле-Пюи прибыл под конвоем военнопленный Габбас Шарипов, только что освобожденный из Моабитской тюрьмы. Он под большим секретом рассказал своим землякам из Башкирии Амиру Утяшеву и Нигмату Терегулову, что встречался в тюрьме с Мусой Джалилем и вынес его блокнот со стихами. Собравшись втроем, они читали эти стихи, восхищались силой чувства и чеканностью мысли поэта. В конце блокнота поэт обращался к тем, кто хорошо знает арабский шрифт: внимательно, аккуратно переписать их набело, сберечь, привезти на Родину и передать в Союз писателей. Нигмат Терегулов, бывший учитель, хорошо знавший арабский шрифт, выполняя эту просьбу, несколько раз переписал стихи Джалиля в разные блокноты. Оригинал же для большей сохранности решили передать семье Барнау. Здесь блокнот и хранился до полного разгрома немцев и освобождения г. Ле-Пюи. После этого Амир Утяшев забрал блокнот у сестер Барнау, Марии и Денизы.

Летом 1945 года, после капитуляции фашистской Германии, советская военная миссия в Париже (ее задания А. Утяшев выполнял с декабря 1944 года) поручила ему сопровождать батальон № 352, который он создал из числа военнопленных, в Советский Союз. 18 августа 1945 года батальон погрузился в эшелон, и они выехали из Ле-Пюи. В батальоне к этому времени было свыше тысячи бойцов.

В г. Айзенах (Советская зона оккупации Германии) А. Утяшев сдал батальон в полном составе командованию Советской Армии. По предписанию того же командования Утяшев выехал в г. Виттенберг, где формировался специальный состав для советских офицеров. Здесь он встретился с Нигматом Терегуловым, который выехал из Ле-Пюи несколько раньше и тоже дожидался специального состава.

Из Виттенберга они выехали вместе. Но когда специальный состав прибыл во Франкфурт-на-Майне, к эшелону подошел советский офицер, который разыскивал Александра Николаева, он же Алжирец. Утяшева удивило, почему его разыскивают по подпольным кличкам, а не по фамилии, которая была хорошо известна советскому командованию. Оставив все свои вещи Н. Терегулову и специально предупредив его о блокноте Мусы Джалиля, Утяшев вышел. Его привезли в отдел военной контрразведки («Смерш»), расположенный во Франкфурте-на-Майне, и... предъявили обвинение в измене Родине.

А. Утяшев до сих пор не знает, что послужило причиной его ареста. То ли чей-то донос, то ли он просто был слишком известной фигурой, его имя было на устах у многих. Собственно, никаких доказательств у «Смерша» не было, а все, кто ехал с Утяшевым в одном эшелоне, единодушно подтвердили, что он – активный участник французского Сопротивления, освободивший многие сотни военнопленных из фашистского плена и сформировавший из них

батальон № 352. Но с эшелона его все-таки сняли, и изнурительные допросы продолжались много дней. Бить, правда, не били, но лишали пищи и воды, сажали в сырой холодный карцер и все требовали, чтобы он «сам признался». Кончилось это тем, что А. Утяшев совсем обессилел и его положили в военный госпиталь. Вместе с госпиталем он попал в г. Гродно. Здесь его комиссовали и отправили домой, в г. Арск.

В марте 1946 года А. Утяшев случайно встретил на ул. Баумана в Казани Н. Терегулова. Терегулов сообщил другу, что специально приехал из Уфы в Казань, чтобы сдать блокнот в Союз писателей Татарстана. После этой встречи А. Утяшев съездил в Уфу за своими вещами. А когда вернулся, узнал, что Н. Терегулов уже арестован. Его арестовали в тот момент, когда он зашел в Союз писателей, чтобы узнать о судьбе переданных им тетрадок.

Как раз в эти дни Утяшев получил из Франции документы, подтверждающие его участие в движении Сопротивления. Они были написаны 6 ноября 1945 года и заверены мэрией 5 января 1946 года. Вооружившись этими документами, он хотел не только отстоять свое доброе имя, но и заступиться за друга, Н. Терегулова. Наивный человек! В Комитете госбезопасности его допросили по делу Н. Терегулова и... оставили у себя, якобы дожидаться суда военного трибунала над Н. Терегуловым, где А. Утяшев должен был выступать в качестве свидетеля. И только когда его вызвали в суд, выяснилось, что Н. Терегулова давно уже осудили, а теперь судят его вместе с группой легионеров.

Как вспоминает А. Утяшев, ему предъявили нелепое обвинение в том, что он якобы дал документ военнопленному Гафарову, как партизану-добровольцу и участнику Сопротивления, в то время как тот оказался предателем. Утяшев толком даже не понял, о каком документе идет речь, как уже объявили приговор: Гафарову, как предателю, – семь лет лагерей, а Утяшеву, подпольщику и активному участнику французского Сопротивления с ноября 1943 года, лично организовавшему побег 118 человек из немецкого плена, капитану французской армии, командиру советского партизанского отряда, затем замполиту батальона № 352, сопровождавшему на Родину свыше тысячи человек, многие из которых находились на распутье, так как их склоняли к невозвращению на родину, – ему, двадцатидевятилетнему патриоту, – 25 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. Поражала не столько жестокость наказания (в то время по указанию Сталина только что отменили смертную казнь и вместо нее давали «на всю катушку»), сколько чудовищная несправедливость. Сколько лет прошло с тех пор, а ни понять причин этой несправедливости, ни тем более примириться с этим А. Утяшев не мог.

В 1956 году – через восемь лет после того как он переступил по собственной воле порог КГБ – его освободили. Не реабилитировали, а амнистировали, «простив» не совершенные им преступления. Но Утяшев продолжал воевать, писать во все инстанции, вплоть до Президиума XXII съезда КПСС, доказывая, что он не верблюд. И лишь шесть лет спустя, в 1962 году, его реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Затем ему пришлось много лет бороться, добиваясь, чтобы ему вернули французские награды, отобранные при аресте (два почетных креста) и документы об участии во французском Сопротивлении. Их ему вернули лишь в апреле 1988 года, когда над страной подули иные, теплые ветры.

Казалось бы, можно умирать спокойно, вернув себе честное имя и получив признание ветерана Великой Отечественной. Но этот неугомонный человек продолжал борьбу – теперь уже не за себя, а за тех боевых товарищей, живых и мертвых, которые, подобно ему, были огульно признаны предателями Родины. Толчком послужило и то, что из поездки во Францию в 1990 году он привез важные документы, подтверждающие героизм его земляков, в том числе списки советского партизанского отряда на французском и русском языках.

При его непосредственном содействии многим легионерам – участникам партизанского движения во Франции, были вручены боевые награды. А самое главное, их наконец-то признали участниками войны, уравняв в правах с другими фронтовиками. В числе таких – Ибрагим Айнатуллоу из Буинска, Гумар Асибаков из Азнакаева, Галимзян Ахметзянов из Кукмора, Альмухаммат Низаметдинов из башкирского города Октябрьска, Файзрахман Закиров из Туймазы и др.

В апреле 1993 года А. Утяшев принимает участие в Первой международной конференции ветеранов, сражавшихся против фашистов во Франции, а затем создает МАВФС – Межрегиональную ассоциацию ветеранов французского сопротивления «Комбатан волонтер»,

точнее, поволжско-уральскую секцию этой ассоциации. Это дает ему возможность еще больше расширить поле деятельности.

Я смотрел на этого семидесятилетнего человека в военном кителе. Иногда казалось, что годы берут свое: лицо изборождено глубокими морщинами, двигается с трудом, опираясь на тросточку. Но сколько в нем было неумемной энергии, жизнелюбия, юношеского задора! И сколько планов – надо помочь вдове фронтового товарища, добивающейся реабилитации мужа, приобщить школьников к подвигам своих земляков, собрать немногих оставшихся ветеранов для обсуждения насущных проблем семей фронтовиков... Всего не перечислишь.

Этот материал был уже подготовлен к печати, когда в редакцию позвонила подруга жизни Амира Галимзяновича Раиса-ханум. 6 февраля 1996 года в 17 часов 10 минут перестало биться неугомонное сердце А. Утяшева. Он успел прочитать в рукописи посвященный ему материал, но увидеть публикацию ему уже не удалось.

ТАЙНА ИСЧЕЗНУВШЕЙ ЗАПИСКИ

Первая весточка

«Я, известный татарский писатель Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня моим товарищам-писателям в Москве...». Эти слова Мусы Джалиля, написанные на клочке бумаги, найденном в последние дни войны во дворе Моабитской тюрьмы в Берлине, приводятся во всех книгах и исследованиях о подвиге татарского поэта. Но мало кто знает, что записки этой сегодня не существует и что даже слова поэта приводятся в приблизительном пересказе. Факт этот в застойное время замалчивался. Пришла пора рассказать правду.

Письмо Александра Фадеева

В июне 1946 года вдова поэта Амина Джалиль получила письмо от председателя правления Союза писателей СССР Александра Фадеева:

«Товарищ Залилова!

Во время пленума Союза писателей в Москве в 1945 году (он проходил весной того же года.– *Р.М.*), было получено письмо от одного подразделения Красной Армии, занявшего Моабитскую тюрьму в Берлине (в то время когда они писали письмо, еще не весь Берлин был занят нашими войсками). В этом письме они сообщали, что, заняв тюрьму, среди всякого бумажного мусора они нашли вырванный из какой-то книги листок с чистыми полями, где на полях имеется запись татарского писателя Мусы Джалиля. Листок этот был приложен. На полях была запись примерно следующего содержания...»

Далее А. Фадеев цитирует вышеприведенный текст. Но не по самой записке, так как ее в это время у него под рукой не было, а по памяти. Дело в том, что он, как пишет в письме, болел. Получив письмо красноармейцев, он показал его и записку Джалиля татарскому писателю Кави Наджми. Затем они вместе зашли к заведующему спецчастью Поликарпову и попросили его списаться с этой воинской частью по указанному на конверте номеру полевой почты и всякими другими путями проверить изложенные факты.

А. Фадеев по понятным причинам выражается несколько туманно. Но путь проверки тогда был один: обратиться в «компетентные органы». Как правило, спецчастью заведовал как раз человек «из органов», который по долгу службы поддерживал связь со службой безопасности. Поликарпов взял это письмо и записку Джалиля и попросил Фадеева и Кави Наджми никому об этом не рассказывать, в том числе и семье.

С тех пор прошло больше года. И Фадеев счел своим долгом написать об этом жене Джалиля.

Свидетельство Амины Джалиль

Получив письмо Александра Фадеева, Амина Джалиль, по ее словам, как на крыльях полетела в Союз писателей. Ведь о муже не было вестей с июня 1942 года, с тех самых пор, как он «без вести пропал» на Волховском фронте. Несмотря на свою колоссальную занятость,

Александр Фадеев принял ее, тепло поговорил и вновь пересказал все то, о чем уже сообщал в своем письме от 18 июня 1946 года. Затем проводил в спецчасть и попросил ознакомить ее с письмом красноармейцев и запиской Джалиля.

Амина Джалиль рассказывает, что помимо записки Джалиля на полях книжной страницы были еще две приписки, сделанные разными почерками и разными карандашами. Точного текста она не помнит. Помнит только, что одна была в доброжелательном духе, в ней выражалась надежда, что, может быть, Джалиль еще жив. Вторая же запись была враждебной и довольно безграмотной. «Вашего Джамбула (писавший по невежеству своему спутал Джалиля с Джамбулом) уже нет в живых». Эта злорадная приписка больно резанула по сердцу. Судя по всему, обе приписки были сделаны еще в тюрьме.

В письме красноармейцев говорилось, что они познакомились с запиской поэта и поклялись отомстить фашистам за смерть писателя Залилова. Точной даты А. Джалиль не помнит, но письмо красноармейцев написано, видимо, в конце апреля 1945 года, а записка Джалиля – еще в 1944 году.

Неожиданная встреча

Выходя из здания Союза писателей на улице Воровского, 52, Амина Джалиль неожиданно столкнулась с тогдашним председателем Союза татарских писателей поэтом Ахмедом Ерикеевым. Амина-ханум очень обрадовалась, так как хорошо знала Ерикеева. До войны он считался одним из друзей Джалиля и часто бывал у них в московской квартире в Столешниковом переулке. К тому же Александр Фадеев рассказал ей, что обо всем сообщил Ахмеду Ерикееву и попросил его лично заняться этим делом и помочь семье Джалиля. Вот почему она кинулась к старому знакомому чуть ли не с распростертыми объятиями.

Но Ахмед Ерикеев вдруг отстранился от нее и произнес ледяным тоном: «Что вы здесь делаете? Жене предателя нечего делать в Союзе советских писателей!» Он сделал ударение на слове «советских», давая понять, что не считает Джалиля советским. Для Амины-ханум это был такой удар, что она еле удержалась на ногах. Ушла домой как оплеванная... Никто до этого еще не называл Джалиля предателем.

Много позднее, когда имя Джалиля прогремело на весь мир, Ахмед Ерикеев несколько раз и в устной и в письменной форме просил прощения у Амины Джалиль, умолял о личной встрече и обещал рассказать все обстоятельства этого дела. Но рана, нанесенная им, была столь глубока, что Амина-ханум не захотела с ним встречаться. Лишь сухо заявила, что есть такие вещи, которых не прощают никогда. Так Ахмед Ерикеев и ушел из жизни непросщенным...

Сейчас, когда прошло более полувека, я пытаюсь понять Ерикеева. Фадеев, как он пишет в своем письме, рассказал Ахмеду о записке Джалиля в феврале 1946 года. А встреча с Аминой Джалиль произошла в конце лета или в начале осени того же года. За это время Ахмед Ерикеев мог «проконсультироваться» о Джалиле в органах госбезопасности Татарстана. Более того, как председатель Союза писателей он обязан был это сделать.

К тому же как раз в этот промежуток времени, а именно в марте 1946 года, бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии первый блокнот с моабитскими стихами Джалиля. Когда об этом стало известно на Черном озере, Терегулов был немедленно арестован и сгинул бесследно. Надо думать, что этот арест произвел на Ерикеева сильное впечатление. Отсюда и его грубый тон, очевидно, продиктованный страхом перед органами.

Таинственное исчезновение записки

В середине 60-х годов, начав работать над книгой «По следам оборванной песни», я приехал в Москву, чтобы лично ознакомиться с запиской Джалиля. Обзавелся всеми необходимыми бумажками, получил допуск для работы в спецчасти (просто так туда не допускали) и, к своему величайшему удивлению, обнаружил, что записки там нет. Есть отдельная папка с «делом» М. Джалиля. Там и собственноручно написанная Джалилем автобиография, и личный листок по учету кадров, и заполненные его рукой анкеты, заявления, другие бумаги. Но ни записки из Моабитской тюрьмы, ни письма красноармейцев нет. Как такое могло случиться?

С большим трудом разыскал Поликарпова. Он в это время работал совсем в другом месте, к тому же болел, так что я говорил с ним только по телефону. Он сказал, что смутно помнит об этом эпизоде, но он лично эту записку никому не отдавал и с собой не забирал, во всяком случае, при нем она оставалась в Союзе писателей. Посоветовал мне обратиться к бывшей работнице спецчасти Валентине Кашенцевой, которая вела все дела и лично отвечала за сохранность документов.

Валентина Михайловна была в это время на отдыхе, но с готовностью согласилась на встречу. Да, она прекрасно помнила об этой записке, знала, какое значение придавал ей Александр Фадеев. Записка хранилась в папке с «делом» М. Джалиля – это совершенно точно. Отдать ее никуда не могли – в таких случаях всегда снимают копию и делают пометки в «деле». Да и к «делу» кого попало не допускают – только работников спецчасти, за исключением разве что руководителей Союза писателей.

И тут она припомнила, что к этой записке, пользуясь ее выражением, «проявлял нездоровый интерес» тогдашний председатель СП Татарии Ахмед Ерикеев. Пожалуй, он был единственным человеком, кто на ее памяти знакомился с «делом» Джалиля. Но утверждать, что именно он взял записку, она, конечно, не могла. Просто в душе остался какой-то неприятный осадок.

Покопавшись в своих бумагах, Валентина Михайловна разыскала «акт передачи», составленный 31 октября 1962 года, в день ухода с этой должности. Под №17 в этом акте значится «дело» Мусы Джалиля. То самое, где когда-то лежала и записка Мусы. Вот, собственно, и все, что она смогла мне сообщить.

После штурма Моабита

Итак, записка Джалиля таинственным образом исчезла. Но я подумал вот о чем: может, еще живы люди, которые нашли эту записку, держали ее в руках и переслали в Союз писателей? Если бы письмо красноармейцев сохранилось, то по номеру полевой почты найти участников боев на Моабит не составило бы особого труда. А так дело намного осложнялось...

Помогла книжка А. Лебедева «Записки сапера». В ней на странице 124 рассказывается, как в конце апреля 1945 года штурмом взяли тюрьму Моабит, сколько было освобождено заключенных, как все это происходило. Меня особенно заинтересовало то, что другие части, обойдя тюрьму, двинулись дальше. А саперам было поручено остаться здесь, проверить, нет ли в тюрьме мин, и затем остановиться на отдых. А. Лебедев уточнил, что это были бойцы 4-го штурмового батальона 1-й гвардейской инженерной бригады, которой командовал генерал-майор Иоффе.

Из саперов этого батальона после долгих поисков удалось найти только одного – Ахмата Хаматова, который жил в Москве на улице Люблинской и работал на хлебозаводе №10. Ахмет Абдуллоевич охотно откликнулся на мое письмо. Завязалась переписка, в ходе которой он ответил на все поставленные вопросы.

Саперный батальон, как пишет Хаматов, вступил во двор тюрьмы Моабит сразу вслед за пехотой. «Я хорошо помню эту пятиконечную тюрьму, так как нам пришлось долго отсиживаться там из-за сильного артиллерийского обстрела... Нам сказали, что в этой тюрьме сидели немецкие политзаключенные, но о Джалиле тогда я ничего не знал... Узкие маленькие камеры отделялись от коридоров решетками и напоминали клетки зверинца... Во дворе для прогулок заключенных были сделаны узкие проходы, отделенные железобетонными стенами...»

А. Хаматов пишет, что тюрьма пострадала от обстрела несильно, только небольшая часть одного из корпусов была разрушена снарядами или бомбами. Им, саперам, поручили проверить, нет ли мин или фугасов замедленного действия. Обошли все коридоры, камеры, подвалы, чердаки, но ничего не нашли. Во дворе тюрьмы, как пишет А. Хаматов, валялось много полуобгоревших книг, журналов и прочих бумажек. (Бомба попала в тюремную библиотеку.) Но он лично не обращал на них никакого внимания. О записке Джалиля ничего не слышал и кто ее нашел, не знает.

А. Хаматов сообщил мне несколько фамилий тех, с кем воевал. Но, поскольку адресов он не знал, имена помнил неточно, путал фамилии и даты рождения, так никого больше найти и

не удалось.

Поиск продолжается

Со дня возвращения на Родину первой весточки о подвиге Джалиля прошло много лет. И все эти годы я предпринимал столь же упорные, сколь и безуспешные попытки найти этот бесценный исторический документ. Искал в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), в недрах КГБ, московских и казанских хранилищах. По моей просьбе зять Ахмеда Ерикеева, поэт и переводчик Виль Ганеев, просмотрел посмертный архив Ерикеева, но записки и там не обнаружил.

Встает вопрос: кому же нужно было изымать письмо красноармейцев и записку Джалиля из «дела»? У Амины Джалиль на этот счет есть совершенно определенная версия: Ахмеду Ерикееву. По ее словам, он всегда ревниво относился к успехам своего бывшего друга и коллеги по перу – еще с тех пор, когда сам пытался ухаживать за юной Аминой и имел на нее какие-то виды.

В свое время я пытался поговорить об этом с Ахмедом Ерикеевым. Однако едва высказал робкое предположение: не причастен ли Ерикеев к исчезновению записки Джалиля, он довольно грубо оборвал меня и отказался обсуждать со мной эту тему.

Таким образом тайна исчезновения записки Джалиля все еще остается неразгаданной. Мы даже не знаем, фамилии каких писателей перечислил в ней Джалиль. Александр Фадеев в своем вышеупомянутом письме пишет: «Дальше (т.е. после просьбы передать привет) шло перечисление фамилий, среди них и моя фамилия, а остальные фамилии я забыл». Амина Джалиль на мой письменный запрос ответила: «В своем письме на книжной странице Муса, кроме двух фамилий, не упомянул никаких других, кроме Александра Фадеева и Павло Тычины». Но и ее могла подвести память...

СУД В ДРЕЗДЕНЕ

В августе 1945 года на имя секретаря Воскресенского райкома партии (Московская область) пришел пакет из политотдела войск НКВД. В препроводительном письме от 2 августа 1945 года подполковник Болдырев сообщал, что из Германии получено письмо пограничника Козазаева. Болдырев просил найти Валентину Листопад – жену погибшего в Отечественную войну Симаева, и ознакомить ее с письмом.

«Мною, красноармейцем Козазаевым, здесь, в Германии, в городе К., в одной из политических тюрем случайно был найден хлопчатобумажный ставень, которым маскировались окна. На нем было написано русским шрифтом. Я обратил внимание на свои родные буквы. Излагаю текст надписи: «Здесь сидел Симаев – журналист, москвич, 12 февраля 1944 года приговорен Вторым германским имперским военным судом к смерти. Нас всего одиннадцать человек русских, все приговорены к смертной казни за политику. Кто прочтет эти строки и живым вернется в Россию, прошу передать моей жене, Валентине Листопад, город Вознесенск (здесь, видимо, ошибка Козазаева.– Р.М.) Московской области, или моим братьям и близким родственникам в Москве Симаевым. К сему Симаев. 12 февраля 1944 г.».

Имя тов. Симаева, нашего великого друга и брата, мною не установлено, т.к. оно замазано. А поэтому я обращаюсь с просьбой – поместить вышеизложенный текст о погибшем товарище в газете, известить его родных, жену и братьев. Точного адреса (улицы и дома) не написано.

*К сему Козазаев
21 июля 1945 г.».*

Когда работники Воскресенского райкома разыскали Валентину Листопад, выяснилось, что два месяца назад она получила письмо из Германии от капитана Лукьяненко (письмо датировано 20 июня 1945 года), который на стене одной из дрезденских тюрем обнаружил аналогичную надпись: «Здесь сидел Ахмет Симаев, журналист, москвич. Нас из России одиннадцать человек. Все мы осуждены Вторым германским имперским судом на смертную

казнь.

Кто обнаружит эту надпись и вернется живым на Родину, прошу сообщить родным и близким о нашей судьбе.

24 марта 1944 года».

Эти две надписи позволяют уточнить время пребывания Джалиля и его товарищей в Дрездене. По свидетельству Тиммерманса, они расстались с поэтом в конце января – начале февраля 1944 года. До нас дошло последнее письмо Абдуллы Алиша, вынесенное из Моабитской тюрьмы соседом по камере – бельгийцем Эмилем Майзоном. Письмо написано 28 января 1944 года, видимо, накануне отъезда в Дрезден. В нем сообщается, что суд должен состояться 7 февраля.

Если суд действительно начался в назначенный день, а приговор вынесен 12 февраля, то процесс, очевидно, продолжался несколько дней. Но и после вынесения приговора джалильцы около полутора месяцев оставались в Дрездене.

Дела особой важности – о государственной измене, заговорах против третьего рейха, подрывной деятельности и т.д. – рассматривала обычно не судебная палата, а имперский военный суд – высший военный трибунал гитлеровской Германии. Надпись Симеева подтверждает это и позволяет уточнить, что патриотов судил Второй имперский суд. Естественно, возникает вопрос: не могли ли сохраниться обвинительные дела и материалы суда над джалильцами?

Леон Небенцаль написал запрос на имя главного прокурора города Дрездена (ГДР) и установил, что Второй имперский суд располагался на Пильнитцерштрассе. Здесь же хранились и все дела политических заключенных. Но в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года, во время массированного налета американской авиации на Дрезден, это здание было полностью разрушено, а все архивы сгорели.

В связи с обилием дел о «государственной измене», особенно к концу войны, многие заседания имперского военного суда проходили в здании Дрезденского городского суда на площади Мюнхнер. Здесь же находилась тюрьма для политзаключенных и хранились архивы. Это здание уцелело при бомбежке. Однако незадолго до подхода советских войск гестаповцы вынесли все документы во двор, облили бензином и сожгли.

Я побывал в Дрездене в июне 1971 года.

Фасад судебного здания, выходящий на площадь Мюнхнер, сложен из массивных, грубо обработанных каменных глыб. Высокие импозантные окна, огромные арки подъездов – уже сама претенциозная внушительность огромного, занимающего целый квартал здания должна была наводить на мысль о незыблемости фашистского правопорядка.

Через огромный полукруглый проем прохожу во двор, затем во второй внутренний дворик – настоящий каменный колодец. С четырех сторон – серые стены. И только высоко над головой голубеет квадратик неба. Почти у самой земли – зарешеченные окна. Здесь располагались камеры смертников. А во дворе под надрынный вой мощных грузовиков – чтобы заглушить выстрелы, стоны и крики, – совершались массовые расстрелы.

Вот они, жертвы... Совсем еще юная хрупкая женщина закрыла лицо ладонями. Мужчина, повернувшийся к ней всем корпусом, положил ей руку на плечо, будто утешая... Немолодая женщина с волевым лицом, гневно сжав кулаки, сделала шаг вперед, словно бы торопя своих палачей... Обнаженный до пояса мужчина с мускулистыми руками рабочего смотрит спокойно и чуточку насмешливо...

Скульптор расположил группу на невысоком пьедестале, почти вровень с каменными плитами двора, – на том самом месте, где происходили убийства. И от этого впечатление подлинности, достоверности еще больше усиливается...

Звонкие молодые голоса выводят меня из оцепенения. Это проходят по двору юноши и девушки – студенты Дрезденского университета, расположенного в помещении бывшего суда и следственной тюрьмы.

Я поднимаюсь по широким, наполненным говорливой толпой студентов лестницам, прохожу бесконечными коридорами и нахожу наконец большой двухсветный зал, где когда-то проходили заседания Второго имперского суда.

Хотя материалы суда не сохранились, о ходе процесса мы можем судить по воспоминаниям бывшего узника фашистских тюрем Михаила Иконникова. Он встречался в

Тегельской тюрьме с Ахметом Симаевым, Абдуллой Алишем и другими подпольщиками, и они подробно рассказывали ему о суде в Дрездене.

Арестованных держали в одиночных камерах. Каждому предъявили обвинительное заключение, в котором говорилось, что они обвиняются в подрывной работе против немецкого рейха. В вину им было поставлено создание подпольной антифашистской организации в комитете «Идель-Урал» и Волго-татарском легионе, печатание и распространение листовок, в которых призывали легионеров повернуть оружие против гитлеровцев, связь с коммунистическим подпольем Германии. Вооруженные восстания в легионе и переход военнопленных на сторону советских партизан оценивались как прямой результат деятельности подпольной группы.

Перед судом камеры посещали адвокат, эмигрант-татарин и представители Татарского комитета. Они, по словам Симаева, увещевали заключенных покаяться, заявить в суде, что признают свою вину и готовы искупить ее. Только таким путем они, мол, получают шанс сохранить себе жизнь. Но патриоты выгоняли из камер этих непрошенных покровителей.

Обвиняемые встретились только в зале судебного заседания и молча, взглядами поздоровались друг с другом.

Прокурор в своей обвинительной речи назвал подпольщиков группой бандитов и шпионов, которые, злоупотребляя «большим доверием» германского командования, вели подрывную деятельность против рейха, и потребовал смертного приговора всем обвиняемым.

На вопросы судьи о их виновности патриоты отвечали, что никакой вины за собой не признают, – они только выполняли свой долг перед Родиной.

От группы осужденных с последним словом выступил Муса. Он заявил, что преступление перед Германией, перед немецким народом совершили не они, а палачи Гитлера. «Мы горды тем, – говорил Джалиль, – что внесли хоть маленькую лепту в дело победы над фашизмом, и жалеем лишь об одном – что не удалось продолжить эту борьбу».

Джалиля во время его речи прерывали, оскорбляли и наконец не дали договорить под предлогом, что все это, мол, пропаганда большевиков.

«Речь Джалиля подействовала на всех ободряюще, у нас чувствовался прилив сил, мы были горды тем, что выполнили свой долг перед Родиной», – говорил позднее об этом Ахмет Симаев». (Из воспоминаний М. Иконникова.)

Судья спросил, какова будет последняя просьба приговоренных. Обвиняемые ответили, что хотят только одного – их имена и их судьбу должна знать Родина. Судья с издевкой ответил на это, что о них будут знать лишь как об изменниках, служивших фюреру.

До недавнего времени предполагалось, что джалильцы томились в камерах следственной тюрьмы на площади Мюнхнер. Но Леон Небенцаль после многочисленных запросов и личных обращений разыскал списки заключенных этой тюрьмы за 1944 год. Имен Мусы Джалиля или его товарищей в этих списках нет. Следовательно, джалильцы находились в другой тюрьме Дрездена, очевидно, военной.

Во время поездки в Дрезден в июне 1971 года мне удалось установить, что в городе существовала особая тюрьма для заключенных военного ведомства. Она располагалась на улице Прошубельштрассе. Здание ее сохранилось.

Я обошел камеры этой тюрьмы, но никаких надписей не обнаружил. С тех пор в помещениях не раз делали побелку, и надписи, естественно, не сохранились.

В дни, когда джалильцы томились в этой тюрьме, на съезд деятелей «Идель-Урала» – курултай – съехались националисты-антисоветчики из Татарского комитета в Берлине и подразделений легиона. Курултай открылся 3 марта в местечке Грейфсвальде под Дрезденом. С докладом выступил глава Татарского посредничества Шафи Алмас. (Его доклад недавно обнаружен в трофейных архивах.)

В своей речи Шафи Алмас долго и униженно раскланивался перед присутствующими на съезде Унглаубе, фон Менде и другими немецкими хозяевами и выразил благодарность «великому фюреру», который, мол, поддержал их «в моральном, материальном, а также во многих других отношениях». В самом деле, весь этот эмигрантский сброд держался на немецких штыках. После разгрома фашизма многие из них переметнулись к американцам».

«Я – КОММУНИСТ, А ТЫ – ФАШИСТ...»

Из Дрездена осужденных снова повезли в Берлин и поместили в тюрьму Тегель. Об этой тюрьме и о встречах с Мусой Джалилем рассказывают бывшие заключенные Тегельской тюрьмы Рушат Хисамутдинов и Михаил Иконников.

Из воспоминаний Р. Хисамутдинова

«Тегель. Каменная мышеловка в виде креста. Длинные коридоры. В середине здания огромный сквозной колодец. Благодаря ему тюрьма как бы живет единым дыханием. Из любой камеры слышно, что происходит на всех этажах. Между этажами натянуты стальные сетки на случай, если кто-нибудь из заключенных, доведенный до отчаяния, захочет покончить самоубийством. За малейшую провинность избивали, морили голодом, сажали в карцер. Днем прилечь нельзя: койки сразу же после подъема убирались в стену. На ночь раздевались догола, одежда выносилась в коридор. Бурда, которой кормили в Тегеле, готовилась то из гнилого картофеля, то из овощных отходов. Однажды на прогулке я увидел Абдуллу Баттала и едва узнал его: передо мной был живой скелет, обтянутый кожей.

Дни проходили в полном одиночестве.

Наш перевод в Тегель совпал с тем временем, когда авиация союзников начала совершать регулярные налеты на Берлин. Перепуганные стражники прятались в подвалы. Где-то стреляли зенитки, метались лучи прожекторов. Заключенные, пользуясь отсутствием стражи, бросались к окошечкам. Тюрьма наполнялась криками, становилась похожей на огромный растревоженный улей. Среди заключенных было много немецких антифашистов, были русские, украинцы, французы, поляки, чехи. Кричали все разом, искали друзей, товарищей, земляков. Люди рассказывали о себе, о своих товарищах, о доме, просили передать родным последний привет. И среди тысяч голосов надо найти нужный тебе. Впрочем, жизнь в тюрьме приучила быстро и верно ориентироваться в этом гаме.

Однажды я услышал, как на первом этаже (моя камера была на третьем) кто-то насвистывает мелодию «Синенького платочка». Я подхватил эту песню, а когда кончил, снизу по-русски спросили:

– Кто свистит?

– Рушат Хисамутдинов, – ответил я, – ветврач из Алма-Аты. А ты кто?

– Я капитан госбезопасности Александр Дмитриевич Русанов.

Не знаю, что можно сравнить с волнением и радостью того мгновения, когда находишь в тюрьме земляка! Разве только счастье возвращения в родной дом после долгого и мучительного скитания на чужбине.

Так я познакомился с капитаном Русановым. Пользуясь воздушными тревогами, мы старались как можно больше узнать друг о друге.

До пленения он служил адъютантом начальника штаба партизанского движения на Украине. С особым заданием летел в соединение Ковпака. Гитлеровцы сбили самолет, и Русанов был схвачен. По документам немцы установили его личность. Им заинтересовался начальник имперского управления гестапо. Капитану оставили форму, ордена, за исключением ордена Ленина. С ним всячески заигрывали. Но враги ничего не узнали от Русанова и приговорили его к расстрелу. Ему оставалось жить совсем немного. Александр Дмитриевич был смелым человеком, открыто издевался над тюремщиками, громко бранил гитлеровцев и на всю тюрьму пел советские песни: «Широка страна моя родная», «Идет война народная», «Катюшу» и многие другие.

Выслушав мой рассказ о Джалиле, Александр Дмитриевич сказал, что уже знает о нем.

– Этот – молодец, крепко держится! Прокурору он здорово сказал: «О чем нам говорить с тобой? Я – коммунист, а ты – фашист!»

Мне Русанов советовал:

– Держись! Знаешь, какие люди побывали в этой тюрьме? Эрнст Тельман!

В Тегеле существовал и другой способ общения между узниками – посредством записок. Заключенные незаметно передавали их из рук в руки во время прогулок. Если кто-либо получал записку, адресованную другому или на непонятном ему языке, то на следующий день отправлял ее дальше по кругу. Проходило немало времени, пока послания эти попадали в

руки адресатов.

Таким путем до меня дошли некоторые стихи Джалиля. Я переписывал их и передавал товарищам. Строки эти, полные мужественной скорби, большой и светлой любви к Отчизне, поддерживали нас. «Праздник матери», «Утешение», «Ночь. Тюрма», «Последнее слово» я выучил наизусть.

Я не встречал Мусу в Тегеле, не видел его даже издали. Но однажды ко мне попал клочок бумаги, на котором рукой самого Мусы было написано «Утешение». Я узнал почерк поэта».

Из воспоминаний М. Иконникова

«В декабре 1943 года я познакомился в Тегельской тюрьме с капитаном Русановым, который сидел на первом этаже в одиночке номер два. Из своей 523-й я мог видеть его в окно, так как наши камеры находились в разных концах Г-образных крыльев тюрьмы. Наше первое знакомство состоялось через решетку, когда Русанов распевал «Священную войну».

При первой встрече (в марте 1944 г.) в подвале во время бомбежки капитан Русанов рассказал мне, что в тюрьме сидит группа советских татар. Среди них, сообщил он, находится поэт Муса Джалиль. Я был взволнован этой вестью: Джалиля я знал как представителя татарской поэзии еще до войны.

Русанов сказал, что он, пожалуй, не встречал такого сильного человека, как этот татарин. Джалиль держал себя мужественно, стойко, несмотря на то, что уже знал – его ждет смерть.

Узнав от капитана такую новость, я сообщил ее моему соседу, который подтвердил это и добавил, что сидел с Джалилем еще в Моабите и ходил с джалильцами вместе на прогулку. «Их посадили за подпольную работу в лагерях», – пояснил он.

Однажды – это было весной 1944 года – нас повели в душевую, которая помещалась на третьем этаже. В холодной тюремной душевой за те пять–десять минут, которые отводились на каждого, не отмоешь грязи. Но баня, как прогулка и бомбежки, давала возможность вырваться из камер. В душевой встречались с друзьями, знакомились, обсуждали новости.

Обливаясь холодной водой, я услышал за перегородкой русскую речь, перемешанную с татарской. Выйдя из-под душа, я встретился с одним из них.

– Как «попарился»? – спросил его по-русски.

Сосед удивился:

– Ты русский?

Я перекинулся с ним еще несколькими фразами и узнал, что он татарин. Но каково было мое удивление, когда, напрягая свою память, я вспомнил, что мы с ним раньше встречались. Оказывается, прошлым летом я видел его и его товарищей в бомбоубежище около Потсдама, когда они хотели попасть в русскую редакцию. С момента той встречи мой знакомый очень изменился, похудел, на теле были видны следы пыток.

Мы договорились встретиться снова в душевой.

При второй встрече нам удалось встать под один душ. Новый товарищ назвался Ахметом Симаевым. До сих пор вспоминаю, как этот человек с уверенным взглядом спокойно говорил о смерти как о чем-то обычном.

– Как бы мне хотелось увидеть своих друзей, которые сидят здесь в одиночках! – с тяжелым вздохом проговорил Симаев. Мой новый товарищ полушепотом сообщил, что в Тегеле находится группа казанских татар и что им всем предъявлено обвинение в подрывной деятельности против Германии. Ахмет подтвердил, что в их группе, осужденной на смерть, есть и Муса Джалиль, известный татарский поэт, которого он знал еще по Москве.

Когда я напомнил Ахмету о нашей встрече летом 1943 года в бомбоубежище, он рассказал, что с группой товарищей работал в редакции газеты, которая издавалась на татарском языке. Получали зарплату (как будто около трехсот марок) и жили вблизи редакции в Берлине. Им удалось наладить печатание листовок на русском и татарском языках. Вначале печатали на машинке, а затем на стеклографе. Листовки распространяли через членов подпольной организации – пропагандистов – среди военнопленных, легионеров и гражданского населения (с Украины и из Белоруссии) в Берлине. Регулярно слушали сводки Совинформбюро о положении на фронтах и тоже распространяли их среди военнопленных.

– Но вот произошел провал, и мы теперь здесь, в Тегеле, – закончил свой рассказ Симаев. – Конечно, погибать от рук этих палачей не хочется, нелегко ждать, когда тебе отвернут голову,

как петуху. А еще тяжелее, что умрешь ты в неизвестности. Даже родные не узнают, что с тобой.

После душа Симаев протянул руку и тепло попрощался.

– До следующей встречи, дорогой друг. Если во время прогулок будете видеть в окнах камер руки – мы еще живы.

С тех пор, выходя на прогулку, я каждый раз посматривал на окна камер: руки товарищей, закованных в кандалы, виднелись между прутьями в оконных проемах второго этажа.

Мне еще несколько раз удалось встретиться с Ахметом. Видел я и других джалильцев. Иногда эти встречи ограничивались взаимными приветствиями.

При одной из встреч Ахмет рассказал мне подробности провала их группы, а затем Абдулла Алишев подтвердил эти сведения.

В августе 1943 года в редакции газеты арестовали берлинскую подпольную группу, в которую входили Симаев, Алишев, Булатов, Шабаев и другие. Арест произошел внезапно, когда подпольщики настроили приемник и слушали сводку Совинформбюро.

Около десятка вооруженных гестаповцев ворвались в помещение. Всех подпольщиков быстро и тщательно обыскали, затем надели наручники. Были захвачены записи со сводкой и передатчик, который подпольщики монтировали. В гестапо арестованных допрашивали и пытали: методично избивали, морили голодом, лишали воды.

В один из дней Ахмета ввели в комнату на допрос. На стуле сидел Джалиль, избитый до неузнаваемости. Нет, Ахмет не удивился, не растерялся. Он только слабо улыбнулся и кивнул другу.

– Знаете этого господина? – спросил следователь Симаева.

– Конечно. Это товарищ, с которым мы вместе сидели в лагере, а затем работали в Берлине.

Последовала серия перекрестных вопросов о деятельности подпольной организации, но гестаповец ничего не добился.

Шеф гестапо, палач Мюллер, бывший на допросе, занялся подпольщиками.

Он понимал, что советские люди, бывшие солдаты, коммунисты-подпольщики, выдержавшие нечеловеческие пытки, будут молчать. Гестаповский шеф решил использовать один из своих излюбленных приемов, действовавших, по его мнению, безуспешно на психику заключенных.

– Напрасно, господа, – обратился он к Мусе и Ахмету, – вы корчите из себя героев, патриотов. Не думаете ли вы, что Россия оценит ваш, как вы считаете, подвиг?

– Мы исполнили свой долг – долг советского солдата! – ответил Муса.

– Наивные люди, глупцы! – продолжал Мюллер. – Если говорить начистоту – вы изменники, предатели: сдались в плен, пошли добровольно служить фюреру. Этого, надеюсь, вы отрицать не будете? Дороги на Родину для вас нет, она закрыта раз и навсегда: предателей там ждет виселица, пуля, а ваши семьи подвергнут репрессиям. Кстати, у нас есть некоторые официальные данные, полученные с вашей, то есть с бывшей вашей, стороны...

Мюллер достал газету на русском языке и, ткнув пальцем в одну из заметок, подал Джалилю:

– Читайте. Это сообщение советского командования.

В заметке сообщалось, что группа казанских татар во главе с политруком Джалилем сдалась в плен, служит в Татарском легионе, готова ехать на фронт, воевать против Советов за освобождение Татарстана. В конце заметки было набрано крупным шрифтом: «Позор подлым изменникам! Их ждет заслуженная кара советского народа!»

Мюллер внимательно наблюдал, ожидая увидеть на лицах подпольщиков растерянность, испуг.

– Вот вам и верное служение Родине, – высокомерно сказал шеф, делая ударение на последнем слове. – А вы продолжаете разыгрывать стойких сынов, героев.

Муса не выдержал:

– Врешь, господин шеф! Это фальшивка, и мы этому не верим. Мы были советскими, ими и останемся. Не купишь!

Через месяц после страшных пыток, провокаций и очных ставок джалильцев перевезли в Моабит, где их разместили по разным камерам. На допросы вызывали часто. Бывали случаи,

когда подпольщиков не отвозили обратно в Моабит, а оставляли в гестапо для очередной «профилактики». Гестаповцы старались измотать силы узников, подорвать их здоровье, довести до безумия. Излюбленным приемом при допросах было испытание пищей.

На допросы увозили утром после «обильного» завтрака, состоявшего из пол-литра бурды, называемой «кофе». Допрос начинался с девяти часов и длился без перерыва до пяти-шести вечера. В течение дня следователь три раза принимал пищу. В кабинет приносили дымящийся бон-кофе (лучший сорт), бутерброды с сыром, маслом, на обед – гуляш. В любезной форме следователь предлагал поесть и заключенному, которому тоже приносили еду и ставили перед ним.

И какую силу воли нужно было иметь, чтобы отказаться от пищи, которая была у тебя под носом и ее запах приятно щекотал ноздри! Но подсознательное чувство подсказывало, что это очередной подвох, стремление расслабить твою волю. Как рассказывал Симаев, это была самая мучительная пытка.

Тяжелой моральной пыткой были также поездки из Моабита в гестапо в легковой машине в сопровождении двух ээсовцев. Машина останавливалась около метро, чтобы узник из окна мог увидеть, как оттуда выходят дети, женщины. Гестаповцы рассчитывали, что узник, наблюдая картины мирной жизни, вспомнит свою семью, и у него появится желание жить, выжить во что бы то ни стало. В ходе допросов гитлеровцы обещали сохранить жизнь и предоставить другие блага.

Но ничто не могло сломить воли и мужества сильных духом людей. Джалиль и его товарищи, морально поддерживая друг друга, продолжали борьбу. Муса и здесь, в тюрьме, был идейным вдохновителем группы.

Как я познакомился с Джалилем? Как-то раз мы проходили вторым этажом. Здесь сидели джалильцы. На дверях их камер висели таблички (как мы говорили, «визитные карточки на тот свет»), точно такие, как и на всех: фамилия, имя, национальность заключенного, вероисповедание, кто ведет или вел следствие. У татарских товарищей эти карточки были обведены красным карандашом и имели, кажется, три крестика. Это означало: осуждены на смерть.

Возвращаясь с прогулки тем же путем (а шло нас около сотни, поэтому один из ключников был далеко позади, а второй разводил по камерам), я приостановился на несколько секунд около одиночки Джалиля, открыл на мгновение дверной глазок и увидел сидящего за столом человека. Глазки открывались без малейшего звука, но любой из заключенных инстинктивно ощущал это и сразу оборачивался. Так произошло и в тот раз: сидящий резко повернулся, его взгляд встретился с моим. Что он сделал потом, не знаю, ибо пришлось отойти от камеры: задержка могла навлечь беду. Эта камера имела номер или 112, или 114, фамилии заключенного я разобрать не сумел. Позднее я сообщил об этом случае Симаеву, и он сказал, что это была камера Мусы.

Однажды, когда мы выносили параша, я оглянулся по сторонам и посмотрел вниз. В это время открылась камера Мусы на втором этаже, и он тоже вынес свою ношу. Он был в наручных и ножных кандалах. Я его окликнул и спросил: «Как дела?» Он, улыбаясь, ответил: «Неплохо, во всяком случае лучше, чем у фюрера». Возвратился ключник, стал кричать, браниться. Муса что-то ему ответил, затем приподнял руки в наручниках в знак прощания, и дверь камеры за ним захлопнулась.

В другой раз я его видел, возвращаясь с прогулки, когда он стоял у двери камеры. Выглядел он очень худым, но был бодрым. Он спросил, видел ли я Симаева или других его товарищей. Муса сообщил, что ему уже вручили копию смертного приговора. Но разговор нам продолжить не удалось, сзади подгоняли ключники.

Вспоминается еще одна встреча с татарским поэтом. В сопровождении вахтмана я спускался по лестнице – меня уводили на допрос. Вдруг навстречу вывели заключенного. Это был Джалиль. Так близко Мусу я видел впервые. На его лице сквозь щетину проступала белизна кожи. А какими были глаза!.. Ввалившиеся глубоко в орбиты, они блестели как черные угольки. Черные волосы его поседели. Темный костюм выглядел мешковатым на исхудавшем теле. Вытянув руки в наручниках перед собой, он шел медленно – мешали кандалы. Мы обменялись приветствием и разминулись.

Позднее, когда меня перевели в другое крыло, мне посчастливилось несколько раз

слушать его разговоры с товарищами и даже переговорить с ним.

При одной из встреч с Ахметом Симаевым и Алишем они рассказали, что Джалиль записывал стихи на отдельных обрывках бумаги, которые с большим трудом передавали верные люди из числа рабочих-уборщиков. Если этой возможности не было, Джалиль подтягивался к решетке и через окно диктовал стихи друзьям, которые записывали их. Это бывало обычно при воздушных тревогах.

Стихи Джалиля ходили из камеры в камеру, заучивались наизусть, переводились с татарского на русский и даже немецкий.

Вспоминается один факт, когда Муса написал стихотворение, посвященное дню Первого мая. Вначале он отослал его своему другу Абдулле Алишу, потом оно попало к Русанову, а затем было переслано нам. Мой сосед по камере перевел стихотворение на немецкий. С этим стихотворением я познакомил нескольких немцев и чеха. Они были поражены, узнав, что это писал смертник – человек, ожидавший ежедневно смертной казни. Сколько в нем было веры в грядущую победу над фашизмом, любви к Родине, к весне! Прочитав его, мы почувствовали себя бодрее, радостнее.

Капитан Русанов, который встречался с Джалилем, читал нам на память отрывки из стихов Мусы. Одно из них – «Утешение», посвященное другу Мусы Абдулле Алишу, я запомнил наизусть:

Друг, не печалься, день победы к нам придет,
Должны надежды наши сбыться –
Увидим мы Московский Кремль,
Когда падет фашистская столица.

Об этом стихотворении вспоминает также Рушат Хисамутдинов – он получил его от товарищей.

С Рушатов Хисамутдиновым, который томился в Тегеле семь месяцев, я тоже был знаком. Мы ходили с ним вместе на прогулку, встречались в тюремной душевой. Но, по-видимому, в целях конспирации о деятельности джалильцев он почти не рассказывал.

В последний раз мне удалось переговорить с Мусой во время воздушной тревоги. Мы обменялись мнениями о положении на фронтах. Если раньше Муса обычно шутил, то на сей раз он вспоминал родных, Казань. По-видимому, он предчувствовал, что это наша последняя встреча.

– Друзья! – сказал через решетку Джалиль, обращаясь к заключенным. – Нас скоро увезут. Очень жаль, что мы не дожили до победы, а она так близка. Об одном прошу – кто из вас доживет до освобождения, пусть обязательно расскажет советским людям не только о нас, но и обо всех, кто боролся с фашизмом в гитлеровских застенках, кто погиб за свободу Родины. Скажите, что мы, узники застенков, были преданными Родине до конца. Пусть это будет вашей клятвой.

Затем он говорил с друзьями по-татарски, но вскоре разговор прекратился, так как налет кончился».

«ТАТАРЫ УМЕРЛИ С УЛЫБКОЙ»

Тиммерманс рассказывает, что в августе 1944 года ему довелось встретиться с Джалилем еще раз в тюрьме Шпандау: «Через несколько дней после того, как я очутился в Шпандау, утром, во время прогулки по тюремному двору, я услышал чей-то голос. Кто-то привлекал мое внимание, повторяя шепотом: «Пст, пст». Я долго озирался, но никого не заметил. Через день, на прогулке, я снова услышал этот звук. Окна нижнего этажа тюрьмы были расположены сравнительно невысоко, ставни открывались внутрь, оставляя узкую щель. И вот я вдруг увидел в такой щели голову Джалиля, верней, не всю голову, а только часть лица, потому что щель была очень узкая. Я продолжал ходить по кругу – останавливаться было нельзя. Сделав круг, я снова поравнялся с этим окном и, нагнувшись, сделал вид, что завязываю шнурок на ботинке. Я стоял наклонившись и не видел в то мгновение Джалиля, но слышал его голос. Он шепотом сказал мне по-немецки, что суд состоялся и что ему отрубят голову».

Тиммермансу очень хотелось увидеться с поэтом еще раз. Через товарищей он выяснил, в какие дни водят в душ заключенных того крыла, в котором сидел Джалиль. Рассчитав время, он попал в душевую, когда там мылся Муса (тюрьма после покушения на Гитлера была переполнена, и в ней царил беспорядок). Тиммерманс разыскал Джалиля среди моющихся, встал рядом, поговорил с ним несколько минут. Муса коротко рассказал о суде в Дрездене и повторил, что все они приговорены к смертной казни. Он спросил о судьбе своей тетради. Тиммерманс ответил, что тетрадку удалось переслать на волю. «Он был счастлив», – вспоминает Андре.

В первых публикациях о Джалиле датой его гибели считали январь 1944 года, основываясь на том, что последнее стихотворение Моабитских тетрадей написано 1 января 1944 года. Позднее, когда сосед Алиша по камере Эмиль Майзон переслал на Родину письмо Алиша, стали указывать 7 февраля 1944 года (именно в этот день, как писал Алиш, над ними должен был состояться суд). Свидетельство Тиммерманса позволило отодвинуть дату казни по крайней мере еще на несколько месяцев. Но как выяснить это точнее?

Немецкий публицист и переводчик Леон Небенцаль предпринял широкие поиски в немецких тюремных архивах, сделал многочисленные запросы в различные официальные учреждения, просмотрел тысячи карточек и документов. Но поиски эти, продолжавшиеся много лет, не дали никаких результатов. Дело в том, что часть архивов погибла при бомбежке, другую уничтожили при отступлении сами гитлеровцы, многое осталось на территории Западного Берлина и Западной Германии и практически было недоступно исследователю.

И тогда Небенцаль избрал новое направление поиска.

После войны в Берлине была издана книга бывшего священника тюрьмы Плетцензее Гарольда Пельхау «Последние часы», в которой рассказывалось о казнях и последних минутах многих борцов против фашизма. Небенцаль написал Пельхау, не помнит ли он таких не совсем обычных заключенных, как двенадцать татар во главе с поэтом Мусой Джалилем. Пельхау, к сожалению, не помнил таких узников. Но он переслал письмо Небенцаль бывшим священникам гитлеровских тюрем. На это письмо откликнулся бывший священник тюрьмы Шпандау Георгий Юрытко, проживавший в Западном Берлине.

Он писал, что хорошо помнит узников-татар, сидевших летом 1944 года в тюрьме Шпандау. Все они, по его словам, были казнены. Точной даты казни патер Юрытко не помнил, но полагал, что она произошла осенью того же года.

«Я помню еще поэта Мусу Джалиля, – писал он. – Я посещал его как католический священник, приносил ему для чтения книги Гете и научился ценить его как спокойного, благородного человека. Его товарищи по заключению в военной тюрьме Шпандау очень уважали его. Он сидел в камере с одним инженером, имени которого я не помню (речь идет об одном из друзей Джалиля – Фуате Булатове. – *Р.М.*). Как рассказывал мне Джалиль, он был приговорен к смертной казни за то, что печатал и распространял воззвания, в которых призывал своих земляков не сражаться против русских солдат».

На вопрос, где и как состоялась казнь, Юрытко ответил, что не может в этом моменте положиться на свою память. По его мнению, всех татар расстреляли. Обычно расстрелы узников совершались в Зеебургском тире, в нескольких километрах юго-западнее Шпандау.

В 1958 году в Германию приехал татарский писатель Шайхи Маннур, собиравший материал для своего романа о Джалиле. Узнав от Небенцаль еще об одном очевидце последних дней поэта, Маннур посетил Юрытко в Гатове (район Западного Берлина) и беседовал с ним. Священник так отозвался о поэте: «Умный, приветливый, воспитанный, высокообразованный и, несмотря на ожидание близкой смерти, державший себя очень спокойно, он оставил чрезвычайно хорошее впечатление».

Правда, Юрытко не смог добавить ничего нового к уже сообщенным им ранее сведениям, кроме того, что он приносил поэту незадолго до казни «Фауста» Гете на немецком языке из своей личной библиотеки. Шайхи Маннур попросил разрешения взглянуть на эту книгу, но, к сожалению, она не сохранилась.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что в одной камере с Джалилем и Булатовым сидел какой-то итальянец, также приговоренный к смертной казни, но впоследствии помилованный. Имени его Юрытко не помнил, но после долгих расспросов в конце концов припомнил, что

давал итальянцу читать «Божественную комедию» Данте на итальянском языке. Книга эта, к счастью, у священника сохранилась. И вот на одной из чистых страничек Маннур обнаружил полустершуюся карандашную запись на итальянском языке, о которой до этого не подозревал и сам священник. Ее оставил тридцатисемилетний итальянский военнопленный Рениеро Ланфредини, родом из Мантуи. Здесь же был адрес его родных в Италии.

С разрешения священника Шайхи Маннур взял эту страничку с собой. В тот же день Небенцаль написал письмо в Италию. И хотя Ланфредини за эти годы успел восемь раз сменить место жительства, итальянская почта в конце концов разыскала его и вручила письмо.

Выяснилось, что Ланфредини жив, работает клерком в небольшой конторе города Кремона (Северная Италия), хорошо помнит времена своего заключения и соседа по камере – Мусу Джалиля. Оказывается, сразу после выхода из тюрьмы Ланфредини на основе своих впечатлений написал книгу «Дневник моего заключения», собирался издать ее, но не смог, «так как в Италии это стоило бы больших денег». Опираясь на эти свои записки, он ответил на все поставленные Небенцалем вопросы и назвал точную дату казни Джалиля – 25 августа 1944 года.

Желая проверить точность этой даты, Леон Небенцаль сделал еще один запрос в управление тюрьмы Плетцензее. На этот раз круг поисков сужался, так как дата казни была известна. Через некоторое время он получил по почте копию карточки о казни одного из подпольщиков – Ахмета Симаева. Он, как значилось в карточке, был доставлен в тюрьму Плетцензее в 8 часов утра 25 августа 1944 года и в тот же день казнен. Через несколько лет в тех же архивах была найдена еще одна карточка – о казни сподвижника Мусы Гарифа Шабаева, погибшего тогда же. Так еще раз подтвердилась достоверность свидетельства Рениеро Ланфредини.

Летом 1965 года по приглашению Союза писателей Татарии Небенцаль приехал в Казань. Он привез с собой в дар татарским писателям ценнейшие документы: письма Андре Тиммерманса, копии запросов в берлинские тюрьмы и ответы на них, фотокопии карточек о казни, письма и адреса Георгия Юрытко, Рениеро Ланфредини и другие документы.

Вместе с Гази Кашшафом мы решили еще раз написать Ланфредини, попросив его рассказать подробнее о последних днях Джалиля. Завязалась переписка.

Благодаря своим записям, сделанным сразу же по выходе из тюрьмы, Ланфредини помнил многие детали гораздо лучше патера Юрытко, который, очевидно, уже успел привыкнуть к ежедневным казням, и они не оставляли такого сильного впечатления в его сознании.

«Падре Юрытко навещал меня в камере № 53 два-три раза в неделю, – пишет Ланфредини, – и всегда приветливо разговаривал с Мусой Джалилем и его товарищами. И я не понимаю, почему он не помнит дату их смерти – 25 августа 1944 года, ведь он сам в этот же день пришел ко мне с известием об их смерти. Падре Юрытко должен был навестить и немецкого офицера-католика, повешенного в то же время, когда были казнены татары, – об этом мне сказал тогда сам падре Юрытко».

Кстати, об этом военнослужащем. Нам уже приходилось слышать от бывших военнопленных, что вместе с группой Джалиля и, очевидно, по тому же делу был осужден какой-то немецкий унтер-офицер. Свидетельство Ланфредини подтверждает это. Вот почему в группе джалильцев было двенадцать человек, хотя из России, как писал Симаев, их было одиннадцать.

Союз писателей Татарии пригласил Ланфредини посетить Советский Союз, побывать в Москве и Казани. Но Ланфредини, поблагодарив за приглашение, отказался.

«В 1963 году я перенес жестокий инфаркт, – писал он, – и с тех пор все время нахожусь под наблюдением врачей... Эта Германия сократила мою жизнь на пятнадцать лет...»

В 1967 году Ланфредини свалил второй инфаркт, и последние свои письма он уже не мог писать сам, диктовал товарищам по больничной палате. Несмотря на болезнь, Ланфредини не оставил без ответа ни одного из моих писем, аккуратно и обстоятельно отвечал на все вопросы, а таких вопросов было довольно много. Он писал, что считает своим долгом восстановить правдивую картину последних дней поэта: «Я всегда буду помнить поэта Мусу Джалиля, так как он был моим другом, другом в самом тяжелом несчастье».

По просьбе Ланфредини я послал ему краткую биографию Джалиля в переводе на итальянский и фотоальбом о его жизни и творчестве. Наш итальянский друг был приятно удивлен, узнав, какой любовью пользуется имя Джалиля в нашей стране: «Я всегда считал его большим поэтом, но не столь крупным и известным, что даже один из крупнейших театров Казани носит его имя».

На фотографиях он сразу узнал Джалиля и Булатова, с которыми он сидел в одной камере... Узнал он и других узников-татар, но имен большинства из них он уже не помнил.

Наша переписка продолжалась около года. И наконец в августе 1967 года почта доставила большой белый конверт с яркими итальянскими марками. Нетерпеливо надорвав его, я достал толстую пачку тоненьких, полупрозрачных листков папиросной бумаги, густо забитых убористым, без интервалов машинописным текстом.

С бьющимся сердцем, еще не смея верить своей догадке, я побежал в Казанскую консерваторию к преподавательнице Альбине Абдулловне Лейно, знающей итальянский язык. Мельком просмотрев содержимое конверта, она подтвердила: да, это те самые тюремные записки Ланфредини, которых мы ждали.

«23 мая 1944 года я был приговорен немецким судом к смерти.

5 июня 1944 года меня перевели из Тегельской тюрьмы вместе с другими заключенными-немцами, также осужденными на смерть, в тюрьму Шпандау. Нас везли в закрытом грузовике. Прибыли туда в 10 часов утра. Я впервые увидел пресловутую тюрьму Шпандау, которая показалась мне хищной черной птицей, мрачной, пугающей... Я вошел в первый двор, потом в другой, затем был введен в первый коридор на первом этаже. Прошел через дверь и железную решетку. Там было множество дверей, одна рядом с другой, на которых были карточки с красной каймой, где были написаны имена приговоренных к смерти.

Я ждал, пока были распределены по камерам остальные мои товарищи, потом наступила моя очередь. Мне приказали взять свои вещи, открыли одну из камер и заперли меня в ней. Это была камера поэта Мусы Джалиля и Булатова. Мы познакомились. Они отнеслись ко мне очень сердечно. Поэт был очень худой, но вид имел здоровый и бодрый, глаза его были живые и умные. На глаза ему все время падала прядь волос. На нем был костюм каштанового цвета. Булатов был приземистым и очень коренастым человеком с хорошим здоровьем. Он носил мундир немецкого солдата. Поэт и Булатов были очень внимательны ко мне, даже приготовили мне постель, которая состояла из соломенного тюфячка, лежащего на полу. Добыли они мне также миску (или, скорее, котелок или бачок для еды) и ложку.

...Для меня этот день был очень беспокойным. Меня то и дело вызывали из камеры и водили то туда, то сюда (в разные официальные учреждения) для выполнения различных формальностей. Последнее место, куда меня водили, был склад, где я сдал свои лохмотья. Наконец я вернулся в камеру. Поэт называл себя Ахметом, но Булатов мне сказал его настоящее имя и сообщил мне также, что он был крупным поэтом. Булатов очень уважал поэта.

Вот распорядок дня в Шпандау: подъем в 6 часов. Затем личный туалет и уборка помещения. В 6.30 – кофе, если можно так назвать то, что мы пили; в 7.30 спрашивали, нет ли больных в камере (чтобы вызвать врача); в 9 часов партиями по 12 человек нас выводили на прогулку во двор тюрьмы. Мы всегда были с татарами, так как наши камеры были соседними, и вместе мы всегда образовывали группу в 12 человек. Было строжайше запрещено разговаривать между собой, но иногда украдкой все же удавалось. Поэт говорил со своими товарищами-татарами на совершенно незнакомом мне языке. После прогулки возвращались в камеру. Поэт обменивался с друзьями какими-то записками: читал их и объяснял Булатову на том же непонятном мне языке. Потом эти листочки уничтожались. В 11 часов – раздача рациона: суп и 5 картофелин. В 13 часов – раздача почты. Затем отдых. Время от времени слышны были крики, шум из коридора, разговоры, но никогда ничего не было известно в этой тюрьме. Наш коридор постоянно, днем и ночью, охранялся. В 16 часов – ужин: пластиночка хлеба с капелькой джема и кусочком маргарина. В 18 часов приходили надзиратели. Нас, смертников, заставляли раздеваться и выносили всю одежду в коридор. Потом нам надевали на руки кандалы, и так мы должны были спать. Утром кандалы снимали и приносили одежду. Так было каждый день. В 20 часов гасили свет, и потом – тишина. Слышно было, как ходили по коридору надзиратели, которые время от времени заглядывали в камеру через «глазок».

Среди ночи вдруг зажегся свет, чтобы видеть, чем мы занимаемся. За смертниками тщательно следили. Охранники, за исключением некоторых, очень жестоких и злых, были неплохие, и главным образом инвалиды войны: у кого не было глаза, у кого руки, потерянных на фронте.

Я, католик, вызвал католического священника тюрьмы падре Юрытко, чтобы он поддержал меня духовно. Падре явился почти сразу же. И в дальнейшем он приходил ко мне по два или три раза в неделю. Он часто подолгу разговаривал с поэтом.

Джалиль и Булатов были мусульманами и вечерами молились часто по-своему. Мусульманских священников в тюрьме не было.

Моя вера в бога мне очень помогла в те тяжелые дни. Она заставила меня видеть во всех людях братьев.

Думаю, что эти детали для Вас интересны. Я, со своей стороны, рад хоть чем-то помочь Вам. Я попытаюсь рассказать Вам обо всем с мельчайшими подробностями (каких нет даже в моем «Дневнике»). Только я один знаю, что произошло с татарами, так как только я один был рядом с ними в их последние дни.

Что же происходило в тюрьме Шпандау? В понедельник не было ничего нового, кроме прибытия и отбытия заключенных. Заключенных переводили или в другие тюрьмы (тех, у кого уже закончился процесс), или в концлагеря.

Во вторник было то же, что в понедельник.

Иногда в 9 часов приходили штатские, на мой взгляд, служащие с фабрик. Они приносили нам бумагу, из которой мы делали разные пакеты (которые служили для упаковки мармелада). Поэт работал охотно и тщательно. Булатов – не так.

Самыми скверными днями недели были среда, пятница, суббота, посвященные казням приговоренных к смерти.

В 5 часов утра появлялись солдаты, не прикрепленные к охране в тюрьме, с оружием в руках, не очень любезные... Открывались двери в камеру, назывались имена осужденных, им объявлялось, что генерал Фромм отказал им в помиловании, то есть смертная казнь утверждена. Число осужденных на смерть варьировалось от 5–6 до 9. Каждое утро мы ожидали, что откроется дверь нашей камеры и назовут наши имена. В 5.30 мы слышали, как приговоренные шли по коридору на смерть. Иногда они волновались, кричали, не всегда все было спокойно, они призывали бога, маму, жену, детей. Все это с таким огромным отчаянием, что казалось, могут растрогаться камни. Иногда слышался голос падре Юрытко, который ободрял осужденных. Когда мы потом оказывались на прогулке, мы узнавали о тех, кто был сегодня казнен... Нередко среди них были и те, кто накануне был с нами на прогулке. Наши дела рассматривал генерал Фромм. После 20 июля 1944 года место Фромма занял Гиммлер, который и приговорил татар к смерти, отказал им в помиловании.

Расскажу о нашей жизни в камере, об отношениях между мной, Джалилем и Булатовым.

Я подробно рассказал им мою историю. Поэт сказал, что дело очень серьезное, но можно надеяться на помилование и замену наказания. Помилование солдату Бадольо... Это казалось мне абсолютно невозможным.

Когда поэт выходил из камеры (в баню или к врачу), Булатов рассказывал мне, что он был крупным писателем. Он был всегда очень добр со всеми. Терпелив, никогда не было вспышки раздражения или гнева, он всегда держался с большим достоинством, даже с надзирателями тюрьмы. Поэт рассказывал мне историю своего ареста и приговора вместе с другими татарами. Но сейчас, через 20 лет, я уже не помню подробностей.

Поэт мне рассказывал, что вначале он жил в Берлине или в каком-то другом городе Германии... Чем он занимался там, я не помню. Знаю, что он пользовался относительной свободой. Вместе с другими он говорил немцам, что больше нет смысла сражаться, так как война все равно ими проиграна. Они были преданы одним из своих и были арестованы. До процесса находились в разных тюрьмах Германии. С ними очень плохо, жестоко обращались немцы. Он мне показывал на теле многие следы от побоев и пыток. Если я правильно понял, процесс над всеми татарами происходил в Дрездене, и там они были приговорены к смерти. После процесса, пройдя через многие тюрьмы Германии, они попали в Шпандау. Параграф их обвинения – пропаганда против Германии и фюрера. Когда я прибыл в Шпандау, татары уже около года находились там. Булатов и поэт уже верили в помилование, так как прошло много

времени с момента приговора, а это позволяло надеяться на помилование. В моменты уныния, упадка поэт что-то много писал. Но что писал? Мы не знали. Он перечитывал написанное и потом уничтожал все. Иногда он много и сосредоточенно думал. О чем? Слышались только восклицания «Боже мой!». Иногда говорил, что и у немцев будет скверный конец. Он мне объяснял, как устроено русское правительство, его структуру, рассказывал о двух палатах в парламенте. Говорил о том, что главы русского правительства никогда бы не отказали в просьбе о помиловании. Виновных бы, конечно, наказали (отправили в Сибирь на работу), но сохранили бы им жизнь. Часто он говорил о своей Родине, о том, что, если он умрет, его должна помнить Родина. Поэт рассказывал о своей семье, родных – простых людях, о своей жене и дочери, своей матери. Когда он говорил о них, глаза его были полны слез. Мы ему доверили распределение картофеля, и он всегда пытался самые крупные дать мне или Булатову. Ежедневно нам выдавали по семь сигарет (их выдавали только приговоренным к смерти). Я их отдавал поэту или Булатову, так как сам я не курил. Каждую пятницу нам приносили белье на смену. Но об этом я не хочу даже говорить. Это было настоящее свинство. Баня, медицинские осмотры, смена белья – все это было только формальностью. И конечно, делалось это далеко не регулярно. Приходили к нам в камеру, заставляли раздеться донага и все наши вещи тщательно просматривали. Иногда приходили с обыском солдаты СС. Горе нам, если что-либо находили недозволенное...

Нередко мы коротали время, читая имена и даты осужденных на смерть до нас. Стены в камере были исписаны этими именами людей разных национальностей. Булатов говорил мало, но был большим оптимистом. Я, конечно, говорил больше всех. Когда являлся падре Юрытко, он всегда спрашивал у поэта, как итальянец себя чувствует. Поэт отвечал: он хороший товарищ. Юрытко подолгу разговаривал с поэтом, рассказывал новости, говорил, кого казнили на этой неделе. Он передавал записки поэта в другие камеры (татарам) и приносил ему ответ на следующий день. Он же приносил нам чистую бумагу, хлеб, зубные щетки, зубную пасту. Падре Юрытко был добр со всеми.

Поэт высказал желание изучить итальянский. Мы занимались с ним каждый день. Он быстро запоминал, повторял фразы. Вечером и утром он приветствовал меня по-итальянски. 20 июля 1944 года, в день покушения на Гитлера, мы узнали о произошедшем от охранников тюрьмы. У нас в сердце поселилась великая надежда... Но вот узнали о результате и снова упали духом. Если бы фюрер умер, поэт был бы жив. Наши дела передали в руки Гимmlера, он их быстро перерешил... В день стали казнить по 17 человек. Он же подписал приказ о казни татар.

У нас всегда было очень чисто. Нас даже хвалили тюремные надзиратели. Мы относились друг к другу как братья и с большим уважением. Так же ко мне относились и другие татары. Видимо, поэт им говорил обо мне. Мы приветствовали друг друга их обычным «салам».

...Дни в тюрьме Шпандау были очень однообразными. С поэтом и Булатовым мы часто разговаривали о возможном возвращении на Родину, об окончании войны. В таких случаях поэт бывал печальным и задумчивым: вероятно, он предвидел, что никогда больше не увидит свою Родину. 15 августа 1944 года днем к нам в камеру пришел надзиратель и перевел меня в другую камеру. Поэт и Булатов были очень удивлены, но с немцами не дискутируют. Меня перевели в камеру недалеко от предыдущей. Окно выходило во двор. Я видел, как поэт делал гимнастику. На прогулке я снова был с поэтом и Булатовым. Меня поместили в камеру с друзьями-татарами, их звали: Абдулла, Батталов, Симаев. Я знал их и раньше, так как мы вместе находились на прогулках. Все трое были в немецкой военной форме, относились ко мне очень сердечно, но лучше мне было с поэтом и Булатовым. Из окна в удобные моменты я вызывал поэта. Пришел день 25 августа 1944 года, когда в 6 часов утра камера открылась и случилось то, о чем я писал в одном из своих писем».

В письме, полученном раньше, Ланфредини писал: «Вошли два тюремных охранника со списком в руках, вызвали по именам трех татар и приказали быстро одеться. Те спросили о причине, но конвоиры ответили, что не знают ничего. Но татары сразу поняли, что пришел их час. Немного спустя снова вошли охранники и приказали оставить все и выйти из камеры. Один из татар взял с собой маленькую фотографию. Прежде чем уйти, мы обнялись, как друзья, которые знают, что больше никогда не увидятся. Все остальные татары уже вышли из

камер и находились в коридоре, возбужденно разговаривая между собой. Я подошел к двери, и мы поздоровались с Джалилем его обычным «салам». Немного спустя все они направились к выходу из коридора. В камеру снова вошли охранники и забрали их вещи (бумагу для писем, трубки и туалетные принадлежности). Через час пришли другие охранники и переписали все остальные вещи татар, включая миски, ложки, одеяла и так далее, и заставили меня подписать этот листок. Все это происходило тогда, когда друзья шли на смерть.

В этот же день ко мне в камеру пришел падре Георгий Юрытко и сообщил, что в 10 часов утра все татары были повешены и что они умерли с улыбкой. С ними был казнен и один немецкий унтер-офицер.

Только я, я один был рядом с поэтом и с татарами. Со мной доверительно разговаривал поэт. Я видел, как они ушли из камеры на смерть. Они были очень спокойны. Я бережно храню о них самые дорогие воспоминания.

Уважаемые господа писатели, не забывайте никогда слов падре Юрытко: «Татары умерли с улыбкой».

Я пытался быть очень точным и правдивым в описании. Я не писатель. Вы простите мне литературную форму изложения. Не думал я, что через 23 года смогу быть вам полезным. Если нужно что-либо, напишите мне, я постараюсь сделать все как можно лучше.

Сердечный привет синьоре Джалиль и его дочери.

Всего доброго вам, господа.

Ланфредини».

В день казни Джалиля, 25 августа 1944 года, Ланфредини написал в итальянское посольство просьбу о помиловании. Посольство поддержало его просьбу и направило Гиммлеру, утвердившему приговор, соответствующее ходатайство.

Патер Юрытко рассказал, что он тоже со своей стороны хлопотал о помиловании Ланфредини, так как тот был очень набожным человеком, правоверным католиком. В результате этих ходатайств смертная казнь была заменена 15-летним тюремным заключением. Но дни фашистской Германии к этому времени были уже сочтены.

В мае 1945 года Ланфредини был освобожден наступающими частями Советской Армии. По его словам, с ним дружески разговаривал какой-то советский полковник, и они вместе выпили на радостях по чарке русской водки. Здоровье Ланфредини было сильно подорвано, и его поместили в госпиталь, где были русские врачи и обслуживающий персонал, «все очень добрые и знающие свое дело люди», как пишет Ланфредини.

Немного подлечившись, 10 июня 1945 года Ланфредини вернулся в Италию. «Я сохраняю к русским большую признательность и благодарность,— пишет он,— так как для меня все люди на земле — братья».

Наша переписка продолжалась и после получения «Записок». Меня больше всего интересовал вопрос о стихах Джалиля. До нас не дошло ни одного его стихотворения, написанного после 1 января 1944 года. А ведь почти за восемь месяцев Муса мог написать немало...

Со временем Ланфредини вспомнил одну чрезвычайно важную подробность: «Когда я находился в камере с Джалилем, дирекция тюрьмы выдавала нам через каждые 15 дней книги для чтения. Мне давали обычно иллюстрированные издания, так как я почти не знал немецкого. Поэт же, наоборот, читал толстые книги, так как читал и говорил по-немецки очень хорошо. И в этих книгах, если он находил чистый листок, или страницу, или хотя бы половину страницы, он что-то писал. Нашли ли вы хоть что-нибудь из написанного им там? В библиотеке тюрьмы?»

Выходит, в тюрьме Шпандау была библиотека, и Джалиль оставлял какие-то записки на полях книг? На мой дополнительный вопрос Ланфредини ответил: «Я не знаю, была ли библиотека в Шпандау, но помню, что каждые пятнадцать дней приходили немецкие солдаты (из тюремной охраны) и приносили нам книги, забирая те, которые приносили раньше. То же происходило и в тюрьме Тегель (Берлин). Следовательно, каждая тюрьма должна была иметь библиотеку».

Я написал письмо Юрытко, где попросил его разъяснить этот вопрос. Он ответил, что библиотеки в тюрьме не было и он по просьбе заключенных приносил им свои личные книги.

Так, по его словам, он принес двум русским, соседям Ланфредини, около тридцати книг из своей личной библиотеки. Эти книги оставались в тюрьме и после казни поэта. Об их судьбе Юрытко пишет: «После вступления в Берлин русских в апреле 1945 года я отправился в тюрьму Берлин-Шпандау, чтобы забрать свои книги. Гражданские караульные, фамилии и адреса которых мне, к сожалению, неизвестны, ответили мне, что они сожгли все книги. Соответствовало ли это действительности, я не смог узнать. Возможно, справку об этом могло бы дать управление тюрьмы Берлин-Шпандау по Вильгельмштрассе, 21. Больше, к сожалению, я ничего сообщить не могу, т.к. остальное вне моей компетенции».

Написав письмо по указанному адресу, я выяснил, что в настоящее время в тюрьме Шпандау библиотеки нет и никаких книг не сохранилось.

Был ли у Джалиля блокнот? Остались ли после него какие-то бумаги?

На эти вопросы Ланфредини ответил так: «Поэт писал на кусочках чистой бумаги, которую находил в книге. (Он говорил, что и обо мне что-то писал.) Но у него не было никакой записной книжки, так как почти каждый день в камере устраивали обыск, и у нас, осужденных на смерть, он был особенно строгим. Сурово наказывался тот, у кого находили что-нибудь написанное. Знаю, что Джалиль писал много, но потом сам рвал написанное на мелкие клочки и бросал в сток унитаза в камере...»

Потрясающая деталь: писать, а затем опускать все написанное в сток унитаза... Почему же Джалиль не попытался оставить свои стихи хотя бы тому же Ланфредини? Причина та же – повальные обыски. «Он давал мне свой адрес, но он был отобран у меня во время одного из обысков, которые немцы устраивали по три-четыре раза в неделю», – писал Ланфредини.

Вот почему он не мог сообщить на Родину поэта о его судьбе.

В конце 1967 года состояние здоровья Ланфредини резко ухудшилось, и он перестал отвечать на мои письма. Вскоре из Кремоны пришло сообщение, что 12 декабря 1967 года Рениеро Ланфредини скончался от инфаркта. Не стало единственного свидетеля последних дней поэта, искреннего друга нашей литературы, простого, открытого и душевного человека.

«СВЕТЛЫЙ ОБЛИК ДЖАЛИЛЯ Я НАВСЕГДА СОХРАНИЛ В ПАМЯТИ»

В фильме «Моабитская тетрадь» есть такая сцена: на свидание с Джалилем в тюрьму приходит юноша, совсем почти подросток. Он смотрит на поэта удивленными и восхищенными глазами. Для него Джалиль – человек из другого, непонятного и загадочного, мира. Ему трудно понять, откуда в этом человеке такая жизнестойкость, спокойное мужество и оптимизм – даже в ожидании казни.

Эпизод этот имеет под собой жизненную основу. Многие бывшие военнопленные рассказывали о том, что в тюрьму к Джалилю приходил и приносил ему передачи какой-то татарский юноша по имени Ильдар Идриси. Про него было известно только то, что он сын татарина, выходца из России, того самого Галимджана Идриси, который принимал участие в создании комитета «Идель-Урал». Известно было также, что Ильдар интересовался своей далекой Родиной и то ли изучал медицину, то ли собирался посвятить себя ей. Конечно, очень заманчиво было бы встретиться и поговорить с ним. Но попробуйте найти человека по столь скудным сведениям, тем более что о судьбе родителей Ильдара тоже ничего не было известно.

Я искал Ильдара Идриси в Берлине, Дрездене и других городах ГДР, писал запросы в Турцию, Италию, Западную Германию и другие места, куда он предположительно мог выехать после войны, – и безрезультатно.

Как это нередко бывает, мне помог случай. В ФРГ побывала группа советских туристов, среди них – женщина-врач из Казани. При встрече с ней я поинтересовался, не попадался ли ей среди немецких врачей или деятелей медицины некто по имени Ильдар Идриси. Знакомая на минуту задумалась:

– Такой человек мне не попадался, но фамилию эту я, кажется, где-то встречала.

Она припомнила, что видела это имя в выходных данных какого-то солидного медицинского журнала.

– Я обратила внимание на необычное для немцев имя, но решила, что это скорее всего выходец из Турции или других мусульманских стран.

Я навел справки и выяснил, что в Мюнхене действительно издается медицинский журнал «Селекта», издателем которого является доктор Ильдар Идрис (или Идриси), татарин по происхождению. Я тут же написал письмо в Мюнхен. Через месяц еще одно. Ответа долго не было. Наконец получаю лаконичную телеграмму: «Приезжайте. Готов ответить на интересующие вас вопросы».

...Мы сидим в номере аугсбургской гостиницы «Гольдене гlocke» (под Мюнхеном). Моему собеседнику 47 лет. У него спокойные, внимательные, чуть-чуть раскосые глаза, скупые жесты. Разговор идет на татарском языке. Доктор Идриси немногословен. На вопросы отвечает односложно, старательно избегая какого бы то ни было домысла. И то, что я излагаю далее в виде связного рассказа, перемежалось десятками наводящих вопросов, уточнений и повторений.

Впервые с Мусой Ильдар встретился в начале 1943 года, когда Джалиль только что начал работать в Татарском комитете в Берлине и несколько раз бывал в квартире Идриси. Рассказывал о России, о Татарии, читал свои стихи. (Доктор Идриси уже не помнит этих стихов, но его сестра Гульнар-ханум, также встречавшаяся с поэтом, припомнила, что Джалиль читал стихи о нелегкой доле военнопленного и о стране Алман. В Моабитских тетрадах есть стихотворение «В стране Алман». Я прочел его Гульнар-ханум, но она говорит, что это не совсем то.)

Встреча с Джалилем была особенно памятной для Ильдара потому, что он впервые видел человека иного мира, своего соплеменника, да к тому же еще поэта. С первой встречи он проникся к поэту огромным уважением и симпатией. Его преклонение было так велико, что он не решался подойти и заговорить с Джалилем, только смотрел на него издали. Хорошо помнит Идриси и многих соратников Джалиля (он узнал их на привезенных мною фотографиях). Особенно близко подружился он с Ахметом Симаевым, работавшим в то время в редакции радиопропаганды.

И вдруг через несколько месяцев Идриси узнает страшную новость: Джалиль и его ближайшие друзья арестованы. Эмигрантское общество в Берлине заметалось: все дрожали за свою шкуру, никто и слышать не хотел о «тайных агентах большевиков». Ильдар, хотя его и отговаривали дома, стал наводить справки, выяснил, что Муса заключен в Моабитскую тюрьму, узнал, по каким дням можно приносить передачи. В течение нескольких месяцев он приходил в тюрьму еженедельно – сначала это была тюрьма Моабит, затем Тегельская, наконец – Шпандау. Приносил хлеб, продукты, по просьбе Мусы принес теплые белье, кое-что из одежды, бумагу и карандаш. Со слов соседа по камере Андре Тиммерманса мы знаем, что кто-то передал Джалилю с воли теплые белье и белую рубашку. Но бумагу поэту тюремщики, очевидно, не передали, так как Моабитские тетради написаны на бумаге, купленной в тюремной лавочке со штампом «фельдпост» – «полевая почта».

Дважды Ильдару разрешили свидание с поэтом. Джалиль, конечно, ничего не говорил Ильдару о своей подпольной работе, не называл никаких имен. Жаловался на тяжелые условия содержания. Тюрьма не отапливалась, в ней было очень холодно и сыро. Говорил, что по утрам его мучает кашель, что при допросах ему отбили почки, и он сильно опухает. Но что все это, мол, теперь, когда уже вынесен смертный приговор, не имеет никакого значения. Вспоминал о жене Амине, о дочери Чулпан. Просил передать привет всем, кто будет интересоваться им на воле.

Встречи произвели на Ильдара столь сильное и тягостное впечатление, что он загорелся желанием как-то помочь поэту. Но что мог сделать в тех условиях семнадцатилетний подросток, к тому же не немец по происхождению? Он обратился к отцу, но отец, по его словам, не захотел ввязываться в это небезопасное политическое дело. Все-таки Ильдар уговорил отца, чтобы тот проводил его к муфтию, с которым был лично знаком. Муфтий опекал всех мусульман Германии и оккупированных областей, в том числе и военнопленных. Ильдар рассказал муфтию, кто такой Джалиль и какова его роль в литературе татарского народа и всего мусульманского мира. Он говорил, что, конечно, не надеется на полное освобождение татар, но пусть муфтий хотя бы сохранит им жизнь. Муфтий внимательно выслушал Ильдара, сделал какие-то пометки и пообещал поговорить по этому вопросу лично с Гиммлером.

Ильдар побывал на приеме у муфтия еще раз, и тот сказал, что выполнил его просьбу и

что дело группы джалильцев пересматривается. Ильдар вернулся домой окрыленный надеждой. Но когда он через какое-то время пришел в тюрьму Шпандау, ему сказали, что Мусы здесь уже нет. Его и всех его товарищей увезли в тюрьму Плетцензее, где, как уже знал Ильдар, обычно совершались казни.

Ильдар беседовал с надзирателем этой тюрьмы, который, очевидно, присутствовал во время казни. По словам надзирателя, все татары встретили смерть исключительно спокойно, мужественно. Когда их повели на смерть, они запели какую-то песню на своем языке. (Эти детали полностью совпадают с показаниями патера Юрытко и Рениеро Ланфредини.)

Я поинтересовался, знал ли доктор Идриси о том, какой большой отклик получили стихи Джалиля в Советском Союзе.

– Да,– ответил он,– знал об этом по газетам. Но свое участие в судьбе поэта считал слишком скромным, чтобы как-то афишировать это.

– Еще одна встреча с поэтом произошла у меня всего несколько лет назад,– рассказывает в заключение Идриси.– Я приехал по делам журнала в Югославию. Кажется, это был портовый город Пула. Я гулял по набережной и вдруг увидел, как в гавань входит белоснежный океанский лайнер под советским флагом. Когда теплоход подошел ближе, я разглядел надпись, сделанную крупными буквами: «Муса Джалиль». Это было до того неожиданно, что я растерялся и не смел верить, тот ли это Джалиль. Потом расспросил и выяснил, что да, теплоход носит имя того самого Джалиля, которого я видел в Берлине, знал немного и светлый облик которого я навсегда сохранил в своей памяти...

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Мнение западногерманского «советолога» о жизни и деятельности Мусы Джалиля

Творчество Мусы Джалиля давно уже стало фактом мировой литературы. По числу переводов на иностранные языки, статей и упоминаний о нем в зарубежной прессе Джалиль, вне всяких сомнений, занимает лидирующее положение среди татарских писателей.

У меня в архиве хранится ксерокопия книги западногерманского ученого-историка Патрика фон цур Мюлена «Между свастикой и советской звездой. Национализм советских восточных народов во второй мировой войне». Книга издана в 1971 году издательством «Дюссельдорф».

В книге на основании документов из архивов ФРГ прослеживается история создания восточных легионов и их использование во второй мировой войне. Довольно объективно рассказывается о положении военнопленных восточных народов, оказавшихся между свастикой и красной звездой, как между молотом и наковальней. Гитлеровская пропаганда постоянно внушала им, что Сталин отказался от них, как от предателей и перебежчиков (и в этом была немалая доля правды). Всячески подогревала националистические чувства и устремления. Щедро обещала создать национальные «независимые» государства. Поддерживала игру в национальные «правительства» и «парламенты», не переходя при этом известной грани и не связывая себя никакими обязательствами. И в то же время ставила своей основной целью использование военнопленных восточных народов в качестве пушечного мяса.

В книге прослежена история создания и деятельности «Боевого союза тюрко-татар Идель-Урала» (так одно время назывался созданный в Берлине татарскими эмигрантами и военнопленными Татарский комитет). Как отмечает автор, по сравнению с другими национальными комитетами, например Туркестанским, здесь было намного меньше взаимных склок и групповой борьбы за власть. Рассказывает о курултае в Грейсвальде, который состоялся с 3 по 5 марта 1944 года и принял программу и проект будущего государства «Республика Идель-Урал». Касается автор также жизни и деятельности Мусы Джалиля. Привожу соответствующий отрывок из книги Мюлена.

«Достойна упоминания, конечно, судьба татарского писателя Мусы Джалиля, который работал в учрежденной комитетом театральной и артистической труппе для легионеров. До войны Муса Джалиль был председателем Татарского союза писателей. Как вспоминают его соотечественники, он был большим поклонником Мирзы Султан-Галиева, чей татарский национализм он разделял. Как и тот, он отрицательно относился к кириллическому шрифту

для татарского языка и выступал за ранее имевший хождение арабский алфавит, чтобы подчеркнуть принадлежность своего народа к Востоку. Он – приватно (в частных беседах) – всегда оставался мусульманином и постоянно принимал участие в мусульманских богослужениях, проводимых Комитетом для легионеров. Как признавался сам поэт, он вынужден был с сожалением отклонить заявление освобожденного из-под ареста Султан-Галиева с просьбой о приеме в Татарский союз писателей.

Итак, Муса Джалиль во время войны попал в немецкий плен и из лагеря для военнопленных был переведен в уже упоминавшийся учебный лагерь Вустрау, из которого был освобожден в феврале 1943 года. Комитет поручил ему работать в артистической труппе для легионеров. Перед лицом все более отчетливо обрисовывающегося немецкого поражения и ввиду многочисленных разочарований и обид небольшая группа вокруг Мусы Джалиля решила тайно работать на Советы. В листовках, раздаваемых в местах квартирования татар, Муса Джалиль и его друзья призывали земляков вести подпольную работу в интересах Советского Союза и по мере возможности переходить через линию фронта на советскую сторону.

Летом 1944 года деятельность этой маленькой группы была – вероятно, благодаря доносу – раскрыта, и Муса Джалиль был заключен гестапо в берлинскую тюрьму Моабит. Тщетно старался комитет освободить его, делая ряд поспешных шагов. В качестве ходатая привлекли, в частности, эль-Хусейни, великого муфтия Иерусалимского. Однако эти попытки – непосредственно после путча 20 июня 1944 года были обречены на неудачу, и Муса Джалиль был казнен гестаповцами. Незадолго до своей смерти он доверил свои последние записи бельгийскому арестанту, сокамернику, которому довелось остаться живым и передать эти записи в Советский Союз.

Сегодня Муса Джалиль стал татарским национальным героем. Памятник ему стоит в Казани, Татарский национальный оперный театр носит его имя, о его судьбе написана в Советском Союзе опера».

Комментируя этот отрывок, хочется выделить два принципиально важных момента. Первый касается совершенно не затронутого в советской литературе вопроса об отношении Мусы Джалиля к М. Султангалиеву.

В газете «Эшче» (1930, 12 янв.) поэт опубликовал статью «Султангалиевщина в истории комсомола», в которой М. Султангалиев расценивается как «оппортунист», «буржуазный националист», пытавшийся внести раскол в молодежное движение. В это время М. Джалиль – член ЦК комсомола и ответственный секретарь татаро-башкирской секции ЦК ВЛКСМ, так что статью нужно рассматривать не как личное мнение поэта, а как отклик работника ЦК. Джалилю в то время было 23 года. Он многого не понимает, многое принимает на веру. Возможно, со временем он стал смотреть на вещи иначе. Но в условиях сталинского режима Джалиль вынужден был молчать об этом, скрывать свои взгляды. Лишь в плену он мог откровенно говорить со своими товарищами и о незаконно репрессированном Султангалиеве, и о насильственной смене татарского алфавита.

Мне доводилось слышать от бывших военнопленных историю, которую будто бы Джалиль рассказывал в плену. Будучи председателем Союза писателей Татарстана, он получил заявление от Мирсаида Султангалиева, временно освобожденного из тюрьмы и занимавшегося одно время переводами, с просьбой о принятии в Союз писателей. Джалиль всем сердцем сочувствовал ему и хотел поддержать его, но понимал, что сделать это практически невозможно. Все же собрал заседание правления Союза и прочитал заявление Султангалиева. Члены правления единодушно выступили против, и вопрос этот отпал сам собой.

Поскольку М. Султангалиев был вновь арестован в 1937 году, а Джалиль стал руководителем Союза писателей Татарстана лишь в 1939 году, я решил, что это очередной миф, не имеющий под собой никаких оснований. Однако ссылка Мюлена, отличающегося особой скрупулезностью в отношении к приведенным фактам, заставляет думать, что факт этот имеет какие-то основания. Возможно, М. Султангалиев обратился к Мусе Джалилю с просьбой о рекомендации в Союз еще до 1937 года.

Второй момент касается отношения М. Джалиля к религии. В многочисленных публикациях о Джалиле (в том числе и автора этих строк) поэт однозначно расценивался как

атеист. Действительно, М. Джалиль не раз выступал в печати с атеистических позиций. В частности, в журнале «Фһн цһм дин» («Наука и религия») напечатано более десятка его статей на антирелигиозную тему: «Антирелигиозное воспитание детей» (1929, № 2), «Комсомол в борьбе против религии» (1928, № 15), «Красная армия и атеизм» (1929, № 15), «Почему курица иногда поет петухом?» (1990, № 2) и др. Немало антирелигиозных выступлений поэта опубликовано в журналах «Кечкенђ иптђшлђр» и «Октябрь баласы», газетах «Эшче», «Коммунист» и др. В 1931 году Центральное издательство народов СССР в Москве выпустило отдельной брошюрой пособие по антирелигиозной пропаганде «Юные безбожники», составителем и автором большинства материалов в котором был Муса Джалиль.

Те же мысли и идеи звучат в стихах Джалиля «Нота», «Слезай с минарета», в поэме-памфлете пародийного характера «Новая история пророков» и др. Однако нетрудно заметить, что почти все эти статьи, стихи и другие материалы написаны в двадцатые и самом начале тридцатых годов. По мере творческого и человеческого возмужания Джалиль прекращает нападки на религию, более того, выступает против перехлестов в этой области. И только в плену поэт в частных беседах высказывается, по свидетельству Мюлена, как мусульманин и посещает богослужения. Таким образом, эпизод с Кораном, который принес в камеру смертника мулла Гани Усманов и на котором поэт и его друзья прощались с жизнью, вовсе не был случайным.

Возникает вопрос: как же в душе Мусы Джалиля могли сочетаться коммунизм и религия? Очевидно, примерно так же, как они сочетались в душах многих священнослужителей, работавших в мечетях в советские годы. Все они, как правило, исходили в своих проповедях из того, что ислам и коммунизм имеют достаточно много общего и равно выступают за социальную справедливость, равенство и братство всех людей.

Некоторые моменты из книги Мюлена требуют уточнения. Так, он пишет, что Джалиль и его товарищи решили работать на Советы, побуждаемые к этому успехами Советской Армии и скорым разгромом фашизма. Однако собранные мною материалы свидетельствуют о том, что начало подпольной организации Джалиля было положено вскоре после его пленения, летом и осенью 1942 года, когда успехи немецкого оружия казались бесспорными и о разгроме фашистской Германии можно было только мечтать.

Мюлен неоднократно называет группу Джалиля малочисленной. Действительно, казненных в Плетценцзее татар было всего одиннадцать. Всего же по этому делу было арестовано несколько десятков человек. Однако, по условиям конспирации, подпольная группа и не могла быть слишком большой. Это поставило бы под удар всю подпольную работу. Как бы то ни было, подпольщикам удалось переправить к белорусским партизанам партию легионеров численностью около 800 человек, а это не так уж мало. Сотни легионеров бежали к польским, итальянским и французским партизанам. А главное, подпольщики сумели предотвратить использование татарских легионеров в войне против своей Родины. В этом немеркнущая заслуга Мусы Джалиля и его боевых товарищей.

Требуется пояснения еще один момент: действительно ли Татарский комитет в Берлине принимал какие-то меры, пытаясь вызволить из тюрьмы М. Джалиля и его товарищей?

Обратимся к свидетельству одного из членов подпольной группы Джалиля Мингали Газиева. В годы войны он попал в плен, прошел ужасы лагерей для военнопленных. По согласованию с подпольной организацией согласился работать в министерстве пропаганды Геббельса, в редакции передач на татарском языке радиостанции «Винета». Непосредственным руководителем группы была Шамсельбанат Идриси, жена известного татарского публициста и общественного деятеля Галимджана Идриси. Военнопленные называли ее Доктор-ханум, так как она имела медицинское образование.

По заданию подпольщиков, М. Газиев печатал на пишущей машинке редакции прокламации, тексты, которые давал ему Ахмет Симаев. Затем эти листовки размножались на гектографе. Во время массовых арестов в легионе и Берлинском комитете М. Газиев и работавшие вместе с ним Ф. Мингалин и Ш. Идриси были арестованы. Однако прямых улик против них у гестапо не было. Сами они ни в чем не признавались. А. Симаев заявил на допросах, что сам печатал листовки. Кроме того, за работников радио усиленно хлопотал муж Ш. Идриси, занимавший ответственный пост в министерстве иностранных дел Германии. Так что через некоторое время работников радио выпустили из тюрьмы.

Как рассказывает М. Газиев, сразу после выхода из тюрьмы они с Ф. Мингалиным начали думать о том, как помочь М. Джалилю и его товарищам. Сами они, понятно, сделать ничего не могли. Руководитель Татарского комитета Шафи Алмас также не захотел вступаться за «смутьянов». Оставалась последняя надежда на – семью Идриси. И Галимджан, и Шамсебанат всем сердцем сочувствовали поэту и выражали готовность помочь. Но боялись преследований со стороны гестапо, набравшему к тому времени большую силу. Для начала они согласились послать своего шестнадцатилетнего сына Ильдара в тюрьму Моабит: узнать о судьбе Джалиля и передать ему кое-какие продукты. Вместе собрали денег для передачи, так как с продуктами в Берлине было туго. Но охранники взяли у Ильдара только сигареты.

После этого Ильдар побывал в тюрьме еще несколько раз. Ему удалось передать поэту продукты и кое-что из одежды, увидеться и поговорить с ним.

Одновременно Г. Идриси хлопотал за поэта и его товарищей, наняв хорошего адвоката и подготовив бумаги от имени Татарского комитета. Было решено привлечь к этому делу проживающего в Берлине великого муфтия Иерусалимского Эмина эль Хусейни, с которым Г. Идриси был лично знаком. Г. Идриси побывал на приеме у муфтия, сумел уговорить его подписать бумаги. Именно этим, видимо, объясняется то, что, хотя М. Джалиль и его товарищи были приговорены к смертной казни Имперским судом в Дрездене еще в первой половине февраля 1944 года, казнь над ними все откладывалась, и они провели в различных тюрьмах еще более полугода. Максимальный же срок исполнения решения суда со дня вынесения приговора составлял в фашистской Германии 99 дней. Это рождало в сердцах узников надежду. Они могли надеяться если не на полное помилование, то хотя бы на замену смертного приговора длительными сроками заключения. А это в условиях стремительно приближающегося конца войны означало надежду на жизнь.

Однако после покушения на Гитлера в июле 1944 года положение резко изменилось. Дела политических заключенных если и пересматривались, то лишь в сторону ужесточения наказания. А всех приговоренных к казни свозили из разных тюрем Берлина в тюрьму Плетцензее, специально оборудованную для казней, и спешно приводили приговор в исполнение. Именно в этой тюрьме 25 августа 1944 года оборвалась жизнь Мусы Джалиля и его товарищей.

В СТРАНЕ АЛМАН

Мусе Джалилю пришлось находиться почти во всех наиболее известных берлинских тюрьмах: Моабит, Тегель, Шпандау... Надо было на месте увидеть те детали, которые не передаст никакая переписка, никакая фотография. И я выехал в Берлин...

У развалин Моабита

Поднимается полосатый шлагбаум. Пограничник Германской Демократической Республики, вежливо козырнув, пропускает машину на нейтральную зону. Мы медленно проезжаем несколько метров, отделяющие Восток от Запада.

У второго шлагбаума машина снова останавливается, но рослый западноберлинский полицейский, увидев дипломатический номер машины, открывает путь. Я ожидал тщательной проверки документов, сличений подписей и фотографий, каких-либо придинок. Вместо этого полицейский поворачивается к нам спиной, всем своим видом выражая полное безразличие.

Машина идет по людным, оживленным улицам. Яркие вывески, сверкающие витрины богатых магазинов, кричащие, невольно обращающие на себя внимание рекламы, поток разноцветных машин, запрудивших улицы, пестро раскрашенные бензоколонки – все точно так, как я и представлял себе по десяткам книг и кинофильмов. Много новостроек. Среди стоящих плотными рядами темно-серых или темно-коричневых зданий старого Берлина в пять-шесть этажей возвышаются новые, отделанные яркими керамическими плитками, сверкающие стеклом и алюминием дома по пятнадцать–двадцать этажей.

Проезжаем мимо рейхстага. Верхние этажи и центральный купол еще скрыты строительными лесами, а внизу ремонт уже закончен. Чистенькие, стройные колонны, высокие сверкающие окна, аккуратно подметенные и политые водой асфальтированные

дорожки. Как будто здесь никогда не было ни копоты разрывов, ни выбоин от пуль и снарядов, ни росписей советских бойцов.

За рейхстагом почти сразу же попадаем в кварталы развалин. Странно и неприятно видеть в самом центре большого, многолюдного города безжизненные руины. В Восточном Берлине я тоже видел отдельные, еще не залеченные следы войны, но такое встречаю впервые.

Прокопченные, выщербленные стены без крыш и междуэтажных перекрытий... Пыль, щебень, бесформенные груды обломков и битого кирпича. Ветер раскачивает на уровне третьего этажа кусок ржавой водосточной трубы.

Вот и первая цель нашей поездки – улица Лертерштрассе. В самом начале этой небольшой тихой улочки, недалеко от вокзала городской электрички, находилась военная тюрьма Моабит. Ее нередко путают с известной всему миру гражданской тюрьмой Моабит, в которой томились Эрнст Тельман и другие видные антифашисты. Между тем это разные тюрьмы, хотя и расположенные в одном Моабитском микрорайоне. Гражданская тюрьма Моабит действует до сих пор, а в военную в конце войны угодила бомба. Одно крыло тюрьмы, построенной в форме многолучевой звезды, было разрушено. Оставшуюся часть снесли уже после войны.

Тюрьма на Лертерштрассе, 3, считалась сравнительно небольшой – здесь содержалось около двух тысяч заключенных, как правило, подсудимых. После окончания следствия заключенных отправляли в концлагеря, а приговоренных к смертной казни – в тюрьму Плетцензее.

Мы выходим из машины. Перед нами высокая крепкая стена из темно-красного, прокопченного временем кирпича. Через равные промежутки возвышаются сторожевые башни с зубчатым верхом, чем-то напоминающие средневековые замки. В нескольких метрах от кирпичной стены с наружной стороны еще одна чугунная ограда, слегка замаскированная кустами акаций. Между оградями – пустое, хорошо просматриваемое пространство. Главный вход построен в виде глухого кирпичного свода, сейчас уже полуразрушенного. Видны остатки тяжелых железных ворот. Вероятно, под этим сырым гулким сводом не раз проезжал в закрытой машине Джалиль, когда его возили на допросы в гестапо.

Обширный двор тюрьмы безлюден. Только в дальнем углу ведется какая-то стройка. В беспорядке валяются кучи камня, битого кирпича, куски бетонных балок и плит, из которых торчат заржавленные и погнутые концы железной арматуры. Местами под грудями обломков выступают большие, плотно подогнанные друг к другу каменные плиты.

В щелях между ними пробивается молодая травка. Это остатки прогулочной дорожки, о которой рассказывал Тиммерманс. Я живо представляю, как медленно, заложив руки за спину и слегка ссутулившись под зорким взглядом надзирателя, кружили заключенные по этим плитам во время пятнадцатиминутной прогулки. Кажется, камни еще хранят следы их тюремных башмаков.

Вскоре после войны писатель Юрий Корольков – в то время корреспондент «Правды» в Берлине, – осматривая сохранившуюся часть тюрьмы, обнаружил на стене камеры №382 надпись:

Мы прошли через сорок смертей и не покорились.

Муса Джалиль

Здесь, в мрачном каменном мешке, за железными засовами создавались бессмертные моабитские стихи.

...Как волшебный клубок из сказки,
Песни – на всем моем пути...
Идите по следу до самой последней,
Коль захотите меня найти!

И вот по следам песни я дошел до последнего пристанища поэта. Но самого его не нашел. Поэтическим памятником его подвига осталась только песня, неумирающая песня.

Тому, «кто любил вольнодумца Гейне и смелой мысли его полет», пришлось изведать на себе и пытки, и побои, и издевательства фашистских палачей. «Ты ударил меня, германский парень, и еще раз ударил. За что? Ответь!» – с тоской и болью спрашивал поэт в одном из своих стихотворений. Мог ли он подумать тогда, что пройдет каких-нибудь пятнадцать лет, и

другие германские парни будут снимать фильм о его героическом подвиге. Фильм этот – «Красная ромашка» по сценарию Эриха Мюллера – с большим успехом демонстрировался по телевидению ГДР и других стран народной демократии. Стихи Джалиля, переведенные на немецкий язык, публиковались почти во всех крупных периодических изданиях Германской Демократической Республики, выходили отдельными сборниками.

Тридцать минут в западноберлинской тюрьме

Громадную крестовину Тегельской тюрьмы я узнал еще издали, хотя никогда до этого не видел ее даже на фотографиях. О ней мне немало рассказывали бывшие узники – Фарит Султанбеков и Рушат Хисамутдинов.

Мы подходим к главному входу. Большие кирпичные ворота фигурной кладки украшены затейливыми готическими башенками. Чисто подметенный асфальт, зелень газонов, аккуратно подстриженные деревья вдоль красной кирпичной стены – с улицы тюрьма выглядит вполне мирно и даже привлекательно.

Я достаю фотоаппарат, но мой спутник не советует делать снимки. Тюрьма действующая, в ней содержатся особо опасные уголовные преступники Западного Берлина, и кто знает, как могут истолковать фотографирование... Оглядываюсь по сторонам. Возле тюрьмы не видно ни одной живой души, из-за ворот не слышно ни звука, как будто все вымерло. Но за круглым «глазком» железных ворот угадываются чьи-то внимательные глаза, зорко наблюдающие за нами.

– Давайте подойдем, попросим разрешения, – предлагаю я. – А может, и в тюрьму пустят.

Спутник мой скептически пожимает плечами. Еще до нашей поездки он пытался получить разрешение на посещение западноберлинских тюрем, но это ему не удалось. Для этого нужно обращаться в западноберлинский сенат, пройти через долгую волокиту, и еще неизвестно, каков будет ответ. Все же, уступая моим настояниям, он подходит к воротам. Едва он это сделал, как железная дверца, прорезанная в одной половине ворот, с лязгом распаивается и стоящий за ней стражник в военной форме вежливо предлагает нам войти. Как будто только нас и дожидался!

Я не успеваю понять, что к чему, как железная дверца, пропустив нас, гулко закрывается. Щелкает массивный засов. Стражник поясняет, что ни на какие вопросы не отвечает. Просит обратиться к старшему охраннику.

В проходной сумрачно, сыро, неуютно. Здесь нет уже никаких «архитектурных излишеств», никакой готики. С двух сторон глухие железные ворота, а над головой кирпичный свод со следами сырости. Пропустивший нас стражник отвернулся от нас и снова прильнул к своему «глазку». Я не могу отделаться от ощущения, будто кто-то невидимый в упор разглядывает нас. Только когда глаза немного привыкают к полумраку, замечаю окошечко в стене и сидящего за ним хмурого человека в военной форме. Над нашей головой несколько зеркал, и, куда ни помотришь, всюду встречаешь тот же неприветливый взгляд. Хотя и знаешь наперед, что ты зашел сюда ненадолго и по своей воле, но все равно неприятно.

Старший, в отличие от своего коллеги, не расположен улыбаться. Долго и тщательно рассматривает наши документы, что-то выписывает, дотошно спрашивает, что нам надо, и не спешит ни пропускать нас в тюрьму, ни выпускать за ворота. Попросив нас обождать, он захлопывает окошко и принимается звонить по телефону.

Томительно тянутся минуты. Деловитой походкой входит служитель в военной форме, протягивает в окошечко свой пропуск и, получив в обмен длинную картонную бирку с номером и ключи, скрывается за воротами. Со двора выезжает темно-серая машина. Сидящий рядом с шофером охранник предъявляет документы, старший что-то помечает в них, осматривает машину и только после этого пропускает за ворота. Когда ворота снова с лязгом запираются, нам обоим уже не терпится выбраться отсюда.

Вот появляется еще один охранник со связкой ключей на поясе. Старший негромко отдает ему какие-то приказания. Потом подзывает нас, вручает по такой же картонной бирке и велит следовать за стражником.

Проходим мимо главного корпуса. Я внимательно вглядываюсь в зарешеченные окна, но

за ними ничего не видно. Во дворе тюрьмы, кроме стражи вдоль стен и нескольких служителей, спешащих куда-то по своим делам, также никого нет. Подходим к стоящему в глубине двора четырехэтажному зданию. Сопровождающий отпирает ключом железную дверь, пропускает нас вперед и снова тщательно запирает ее за собой. Пройдя немного по совершенно пустому коридору, мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Меня поражает почти больничная тишина и чистота. Беленый потолок, покрытые серо-голубой краской стены, лоснящийся, прямо-таки вылизанный пол.

Стражник приводит нас в комнату, уставленную вдоль стен какими-то шкафчиками, видимо, тюремную канцелярию. За низким столиком, возле окна, стучит на машинке молоденькая секретарша. Нас встречает холеный мужчина средних лет в хорошо сшитом сером костюме и ослепительно белой сорочке с ярким галстуком. Склонив свою прилизанную, зачесанную на косо пробор голову, он просит уточнить, что именно мы хотели бы осмотреть. Мы снова рассказываем о Мусе Джалиле и о цели нашего посещения. Поняв, что точный номер камеры, в которой сидел Муса Джалиль, мы не знаем, господин с сожалением качает головой, затем, извинившись, уходит.

Его нет довольно долго. Мы теряемся в догадках.

Минут через тридцать холеный господин появляется вновь и объясняет, что произошло недоразумение, что мы попали сюда по ошибке, и, если мы хотим получить разрешение на осмотр тюрьмы, нам надо обратиться в западноберлинский сенат. Затем тем же путем нас выводят обратно. Когда за нами с грохотом запирается последняя дверь, мы с облегчением вздыхаем...

Шпандау

Мимо тюрьмы Шпандау мы едва не проехали. Ввел в заблуждение обманчивый внешний вид: зубчатые башенки, карнизы фигурной кладки, красная черепица... Но это – фасад. Стоит зайти сбоку – станет виден мрачный темно-кирпичный корпус с сотнями маленьких пыльных зарешеченных окон. Однообразием линий, явной непригодностью для жилья он напоминает заброшенное фабричное строение. Действительно фабрика – фабрика смерти.

После войны Шпандау превратили в международную тюрьму для главных нацистских преступников. Ирония судьбы: в той самой тюрьме, где были заточены жертвы фашизма, оказались сами палачи. Но постепенно, одного за другим, их выпустили на свободу. Незадолго до нашего приезда из тюрьмы вышли последние нацистские главари, отсидевшие двадцатилетний срок, и в тюрьме остался один Рудольф Гесс, приговоренный к пожизненному заключению.

Охрану Шпандау поочередно в течение месяца несли воинские части четырех держав – СССР, США, Англии и Франции. Я рассчитал свою поездку так, чтобы приехать в «наш» месяц. Но в комендатуре тюрьмы выяснилось, что по существующим правилам посторонние сюда не допускаются. Все мои уверения о том, что я вовсе не собираюсь устроить Гессу побег, ни к чему не привели. Узнав, что скоро в тюрьму должен приехать директор (их тут четыре – по одному от каждой союзной державы), я решил дожидаться его и поговорить с ним.

Нас провели в комнату ожидания, где на столах лежали советские и немецкие газеты и журналы, шахматы, домино. Услышав о нашем приезде, сюда зашли несколько советских офицеров. Они жадно расспрашивали о Москве, о театрах, о том, как выглядят улицы столицы. Чувствовалось, что они стосковались по Родине и бесконечно рады своим.

Мы, в свою очередь, расспрашивали их о Берлине, о тюрьме и режиме заключенных. Разговор зашел о Гессе.

Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по фашистской партии, член Тайного совета империи – был важной фигурой в фашистском государстве. В списке главных военных преступников на Нюрнбергском процессе его имя стояло вторым после Геринга. Гесс избежал петли только потому, что врачи признали его психически ненормальным.

По словам моих собеседников, в облике Гесса нет ничего ужасающего, мрачного. Сейчас это просто дряхлый старик – хилый, сгорбленный, благообразный. Встретишь такого на улице – и пройдешь мимо, не обратив внимания. И совесть, видимо, его не мучает. Во всяком случае, он не выражает никаких признаков беспокойства. В положенное время встает, съедает

завтрак, обед и ужин, ложится спать....

К приезду директора я подготовил страстную речь о роли Джалиля в советской поэзии и о том интересе, который вызывает она у миллионов читателей. Но речь не произвела на него никакого впечатления. Все мои аргументы разбивались о его незыблемое: «Нельзя – значит, нельзя».

– Но поймите, – продолжаю я, – совсем недавно со слов бывшего итальянского военнопленного Рениеро Ланфредини мы узнали номер камеры, в которой сидел поэт в этой тюрьме... Неужели...

– «Недавно!» – усмехнулся директор. – Мы уже шесть лет назад знали, что Джалиль сидел сначала в камере номер сто пятьдесят семь, а потом, до самого дня казни, в камере номер пятьдесят три.

Вот это новость! Ланфредини действительно сидел с поэтом в камере № 53, а о камере № 157 я слышу впервые.

– Откуда вы это узнали?

– По документам в тюремном архиве.

– А разве они сохранились?

– Выходит, сохранились, если я видел их собственными глазами.

– И можно ознакомиться с ними?

– Нет. Мы уже передали все архивы в западноберлинский сенат. Раньше надо было...

Раньше... Но кто мог знать!.. На все запросы о заключенных из группы Джалиля в тюрьме Шпандау советник по делам юстиции Западного Берлина отвечал, что «таковые в списках не обнаружены».

– Но вы хотя бы осмотрели эти камеры? – продолжаю я допытываться. – Может быть, там остались какие-то надписи, завешание поэта, еще что-нибудь в этом роде...

– Осматривали, и не раз. Ничего обнаружить не удалось. Даже если и были какие-то надписи, то многолетняя сырость и плесень давно изъели их. Штукатурка во многих местах отошла, обвалилась. Нет, сейчас уже ничего невозможно различить.

Я пытаюсь выяснить хотя бы то, как выглядят эти камеры. Директор пожимает плечами. Камеры как камеры. Размеры примерно два на три метра. Цементный пол. Кирпичные оштукатуренные стены. Под потолком окошко размером примерно восемьдесят на сто сантиметров. Решетки на окнах толщиной в руку крепкие, наглухо заделанные в стену. В камере – откидные железные нары, две прикрепленные к полу табуретки. Под окном – бетонная плита, заменяющая стол. В углу – унитаз. Вот и весь «инвентарь».

«МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД НИМИ...»

Берлин, Эркнерштрассе, 23... Мы сидим в уютном, со вкусом обставленном рабочем кабинете Леона Небенцала. По стенам – стеллажи с книгами, куклами в ярких национальных костюмах и сувенирами из разных стран мира. Передо мной крупный, немного грузноватый, но еще очень подвижный и бодрый для своих шестидесяти лет мужчина с гладко зачесанными назад редеющими волосами и обаятельной, располагающей к себе улыбкой.

– Как вы думаете, Леон Федорович, почему в архивах тюрьмы Плетцензее были обнаружены только две карточки о казни?

– Вначале я объяснял это недостаточной тщательностью поисков. Но затем, после целого ряда дополнительных запросов, пришел к выводу, что дело не в этом. Очевидно, в архивах действительно сохранились только две карточки.

– Не допускаете ли вы мысли, что осужденных разделили? Одних казнили в тюрьме Плетцензее, а других, как говорил вначале патер Юрытко, расстреляли в Бранденбурге. Именно такой версии придерживается Шайхи Маннур в своем романе «Муса».

– Я глубоко уважаю Шайхи Маннура, но ведь он пишет роман и, следовательно, может видоизменять факты соответственно своему художественному замыслу. У нас нет никаких оснований для подобных предположений. Мне представляется более вероятным иное.

Леон Небенцаль достает с полки книгу Гарольда Пельхау «Последние часы».

– Посмотрите, что пишет бывший священник тюрьмы Плетцензее. По его словам, после

покушения на Гитлера 20 июля 1944 года у фашистских палачей стало столько работы, что они не успевали заполнять карточки на всех казненных и из группы в десять–пятнадцать человек записывали только одного-двух. Речь идет, заметьте, об августе 1944 года. Найденные карточки носят на себе следы как раз такой спешки.

– Неужели так никогда и не удастся найти подлинные документы о казни патриотов? Ведь мы даже не знаем имен всех казненных вместе с Джалилем.

– Видимо, надо искать какие-то иные пути... Я еще подумаю, сделаю новые попытки...

Леон Небенцаль сдержал свое обещание. Через несколько месяцев после возвращения из Германии я получил сообщение, что ему удалось найти документы о казни одиннадцати советских патриотов в архивах штандесамта.

В 1968 году, 15 февраля – в день рождения Мусы Джалиля, – в Берлине состоялась организованная Обществом германо-советской дружбы пресс-конференция, на которой Леон Небенцаль ознакомил немецких и зарубежных журналистов с обнаруженными им новыми документами.

«Как я вообще напал на мысль искать в загсе? – писал Небенцаль в ответ на мой вопрос. – Западноберлинский сенатор юстиции в прошлом году, присылая карточки Симаева и Шабаева, посоветовал обратиться в Центральный архив в Кобленце (ФРГ). Запрос остался безрезультатным. В связи с этим я обратился в наше министерство внутренних дел и спросил у знакомого мне сотрудника Центрального управления документации, не имеют ли они деловых контактов с архивом в Кобленце. Таких контактов не оказалось, но при этом он указал мне на то, что они сами лишь недавно установили факт регистрации казней в загсах».

Как выяснил Небенцаль, казни, проводимые в тюрьме Плетцензее, регистрировались в загсе западноберлинского округа Шарлоттенбург.

К счастью, архивы загсов всех округов оказались на территории демократического Берлина. Это значительно облегчило поиски. Здесь и обнаружил Небенцаль документы о казни.

Привожу полный, дословный перевод с немецкого карточки о казни Мусы Джалиля (карточки отпечатаны на специальных бланках типографским способом, остальное напечатано на машинке. Подписи сделаны от руки):

«№ 2970

Берлин, Шарлоттенбург, от 26 августа 1944.

Писатель Муса Гумеров-Джалиль, мусульманин, проживающий в Берлине, Шарлоттенбург, Хафельштрассе, 9, умер 25 августа 1944 года в 12 часов 18 минут в Берлине, Шарлоттенбург, Кенигсдамм, 7.

Умерший был рождения 2 февраля 1906 года в Мустафино (Оренбург).

Номер свидетельства загса (не заполнено. – *Р.М.*).

Отец – Мустафа Гумеров-Джалиль, последнее место жительства неизвестно.

Мать – Рахина (Рахима. – *Р.М.*) Гумерова-Джалиль, урожденная Сайфуллина, других сведений нет.

Умерший был женат на Амине Гумеровой-Джалиль, урожденной Сайфуллиной.

Заполнено на основании устных показаний помощника надзирателя Пауля Дюррхауэра, проживающего в Берлине, Мантейфельштрассе, 10.

Сообщивший эти данные известен и заявил, что является личным свидетелем смерти.

Прочитано вслух, подтверждено и подписано

Пауль Дюррхауэр

Соответствие с подлинником заверено.

Берлин, Шарлоттенбург, 26 августа 1944 года.

Исполняющий обязанности служащего загса

Глюк

Причина смерти: обезглавлен».

Как видим, этот потрясающий документ составлен с методичной скрупулезностью и хладнокровием убийц. Все данные о поэте приведены с поразительной точностью, за исключением неизбежных в таких случаях незначительных орфографических ошибок. Перепутана только девичья фамилия матери Мусы – вместо нее дважды записана девичья фамилия его жены, Амины Сайфуллиной. Дата рождения поэта указана по старому стилю.

Значение этой находки не только в том, что она позволила окончательно и с документальной точностью установить время и место гибели Джалиля. Документы впервые позволили уточнить состав группы Джалиля и выяснить имена всех героев, казненных с поэтом. Вместе с Джалилем легли под нож гильотины детский писатель Абдулла Алиш, инженер Фуат Булатов, учитель Гайнан Курмаш, финансовый работник Гариф Шабаев, журналист Ахмет Симаев, колхозник Абдулла Баттал, товаровед Зиннат Хасанов и бухгалтер Фуат Сайфельмулюков. Их имена уже были нам знакомы по блокноту Джалиля и воспоминаниям оставшихся в живых подпольщиков (хотя родных Фуата Сайфельмулюкова до последнего времени найти не удавалось). В карточках приводятся имена еще двух советских людей – Ахата Атнашева и Салима Бухарова, о которых мы до этого ничего не знали.

Опираясь на слова патера Юрытко, Ланфредини утверждал, что татар казнили в 10 часов утра 25 августа 1944 года. Документы дают возможность уточнить время казни. Судя по записям, все патриоты были обезглавлены на гильотине в течение получаса – с 12 часов 06 минут до 12 часов 36 минут 25 августа 1944 года. Казни следовали одна за другой с интервалом в три минуты.

Находка новых документов в Берлине еще раз напоминает нам о зверином облике фашизма и о той угрозе, которую он несет с собой всему человечеству.

Свое выступление на пресс-конференции Леон Небенцаль закончил следующими словами: «Мы, граждане Германской Демократической Республики, чтим Мусу Джалиля не только как борца против фашизма, но и как интернационалиста. Даже находясь в камере смертников, он хорошо видел разницу между силами реакции и милитаризма в Германии, которые он ненавидел и против которых он боролся до последнего дыхания, и немецким народом, который он ценил и чьих великих сынов – Маркса и Тельмана, Гете и Гейне, Баха и Бетховена – он почитал и любил. Об этом говорит нам одно из его последних стихотворений, написанное в тюремной камере Моабита, – «В стране Алман». Муса Джалиль обращается здесь к прогрессивным силам немецкого народа, к силам, с которыми он чувствовал себя связанным и которым, разоблачая фашистских палачей, всегда верил:

С песней придите.
Придите так же,
Как в девятнадцатом шли году:
С кличем: «Рот фронт!»,
колоннами,
маршем,
Правый кулак подняв на ходу!
Солнцем Германию осветите!
Солнцу откройте в Германию путь!
Тельман пусть говорит с трибуны!
Маркса и Гейне отчизне вернуть!

В немецком государстве, в котором мечты Джалиля сбылись и где возродилась трибуна Тельмана, где Маркс и Гейне вновь обрели гражданские права, борцы, как Муса Джалиль и его товарищи, обрели высшие почести и уважение. Мы преклоняемся перед ними».

Мне хочется привести еще одно письмо Леона Небенцала, в котором даны любопытные комментарии к обнаруженным в Берлине документам (письмо написано в ответ на мою просьбу прислать копии этих документов в Казань):

«Дорогой Рафаэль!

Получил Ваше письмо, а также еще несколько других, которые подтвердили, что примененный мною метод публикации новых документов был правильным. Мне кажется, что отклик и у нас, и в СССР был больше, чем при публикации их только в Казани. Статья в «Известиях» еще раз напомнила всему Союзу о значении подвига Джалиля – и это совсем неплохо.

Документы я, конечно, еще до Вашего письма отправил в Казань – Вам, Союзу писателей и Государственному музею. Я думаю, что Вы их уже получили и разъясните Вам, исследователю-джалиловеду, их значение излишне. Документ остается документом, и, как показывает пример с казнью, полагаться даже на самого честного очевидца (Рениеро

Ланфредини) нельзя. Ведь он утверждал, что джалильцев повесили, и я у других очевидцев (Пельхау) нашел даже факты, подтверждающие вероятность его указания. Документы доказывают другое – смерть на гильотине. Была ли она исправлена, или существовала еще запасная гильотина, или Пельхау что-то перепутал – сейчас сказать трудно. Нужно придерживаться документов. Это относится также к числу джалильцев (я еще раз справился в архиве – их было всего одиннадцать, и в последующие дни тоже никого из советских граждан не казнили).

Как эти документы нашлись, Вы наверняка прочли в приложенном немецком материале. Однако хочется сообщить Вам кое-какие дополнительные соображения.

Фашизм слепо уничтожал десятки и сотни тысяч людей. Трудно назвать даже приблизительно число его жертв, не говоря уже об именах... Но фашизм многолик, у него различные образы, не менее человеконенавистнические, но различные. Между ними и внешне корректный, деловитый облик. Фашизм, ведущий тройную бухгалтерию смерти...

В тюрьме Плетцензее, на месте казни, учет вели прежде всего палачи. Сохранилась справка, в которой указывалось число казней, например 606 в августе 1944 года. Этот учет палачи вели тщательно, так как от него зависела их «зарплата» – 300 марок за каждую казнь. Понятно, что палачей интересовало лишь число казней, а не имена казненных.

Но ведь эти кровавые палачи были лишь мелкими сошками по сравнению с теми, кто приказывал проводить казни. А этих главных преступников, главарей фашистского государства, интересовали имена. Имена учитывались в картотеке. Как эти карточки выглядят, мы знаем по карточкам Симаева и Шабаяева, которые удалось найти в Плетцензее после долгих розысков. Но этот учет, по-видимому, в последние месяцы войны пришел в неисправность, как об этом пишет Пельхау.

Не думаю, что такую неисправность предвидели фашистские власти, но по какой-то причине они решили вести тройную бухгалтерию и приказали регистрировать каждую казнь как любой, обычный факт смерти (!).

Согласно этому приказу, 26 августа 1944 года, на следующий день после казни, в штандесамт (загс) явился помощник надзирателя тюрьмы Плетцензее Пауль Дюррхауэр (не в первый раз, так как он был чиновнику штандесамта «известен» и не должен был предъявлять документы) и заявил, что «он осведомлен из собственного знания» (так гласит старомодная формула протокола) о смерти 11 татарских легионеров. Затем он привычно продиктовал чиновнику Глюку для регистрации в штербебухе (книга о фактах смерти) все необходимые данные. Всю эту процедуру, конечно, затруднили непривычные для Глюка имена, он многое перепутал и провозился дольше обычного с оформлением документов, – кто знает, может быть, дольше, чем те полчаса, которые понадобились палачам, чтобы казнить 11 героев!

Интересна одна деталь: при некоторых регистрациях в штербебухе фашисты скрывали факт казни, указывая фальшивую, безобидную причину смерти. В случае с джалильцами они это не сочли нужным. Быть может, они думали – кто там будет интересоваться этими татарами?! Они ошиблись и в этом...

Сердечный привет Вам. *Леон Небенцаль*».

ЛОБНОЕ МЕСТО ЕВРОПЫ

Приземистое кирпичное строение... Два широких сводчатых дверных проема, с которых сняты железные двери, напоминают зияющие пасти крематория. Это неказистое строение во дворе тюрьмы Плетцензее получило название лобного места Европы. Здесь совершалось большинство казней по приговору суда над политическими противниками гитлеровского рейха (миллионы замученных в концлагерях, сотни тысяч убитых во всех странах и в самой Германии без всякого суда и следствия в это число не входят).

Голые стены, серый цементный пол... Часть стены отделана белым кафелем – чтобы легче было смывать кровь. Сюда же подведены краны, к которым присоединялся резиновый шланг. Рядом в стену вмуровано несколько крепких железных крюков.

В этом мрачном зале когда-то стояла гильотина. Мне рассказывали, что палачи Плетцензее, получавшие плату с головы казненного, предпочитали гильотину всем другим

орудиям казни.

Только здесь до меня по-настоящему дошел страшный смысл строк Джалиля:

...Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.

Да, поэт писал свои песни под топором палача. И это была не поэтическая метафора, а трезвая, беспощадная реальность.

Тускло светятся два узких сводчатых окна. Их прорубили уже после войны – прежде здесь было совершенно глухое помещение. На полу – огромный венок из живых цветов. Лепестки ярко-алых тюльпанов кажутся капельками крови...

Накануне казни приговоренный имел право на три последних желания: пригласить священника, написать письмо и заказать обед. Но советских людей казнили без соблюдения этого средневекового этикета: нередко палачи не успевали записывать даже фамилии казненных, – где уж там церемониться!

Как совершалась казнь? Гитлеровские палачи, многие из которых и сейчас еще доживают свой век в Западной Германии, предпочитают помалкивать об этом. Но в книге бывшего священника тюрьмы Плетцензее Гарольда Пельхау «Последние часы» дано подробное описание казней: «...Казни, число которых неудержимо возрастало с каждым годом, не могли более приводиться в исполнение ручным способом. Гитлер, очевидно, с самого начала представлял свои намерения: уже в конце 1933 года он заказал 20 гильотин. Они были изготовлены арестантами тюрьмы Тегель, которая имела хорошую слесарную и столярную мастерские.

С конца 1934 года ручное уничтожение людей было окончательно заменено машинным способом.

В Плетцензее гильотина находилась в особом бараке – помещении для казней. Оно располагалось во дворе для прогулок тюрьмы №3, которая находилась внутри целого комплекса тюремных зданий. Отсюда не было никакой возможности бежать. Это была часть длинного складского здания с разными складскими помещениями. Из него дверь вела в мертвецкую, которая замыкала здание. В этом помещении складывали штабелями деревянные ящики для трупов казненных. Сюда быстро сбрасывали трупы, если предстояла целая серия обезглавливаний.

Большой черный занавес, который молниеносно раздвигался и закрывался лебедкой, разделял барак для казней на две части. В меньшем помещении установили гильотину, которая вначале была скрыта от взоров приговоренных. В большем помещении стоял стол для судьи с распятием. Распятие позднее вынуждены были убрать.

В последние полчаса перед приведением приговора в исполнение старый сапожник развивал в Плетцензее бурную деятельность. Он посещал осужденных в их камерах, связывал им руки за спиной, снимал обувь и менял ее на предписанные инструкцией деревянные башмаки. Женщинам он укорачивал волосы настолько, чтобы оголить шею. Это считалось льготным правом сапожника. Говорили, что он прерывает любой свой отпуск, чтобы оказать последнюю услугу, как он называл это. Делал он это совершенно спокойно, без всякого движения души и с полным тупым равнодушием.

Изредка смертников в их камерах посещали палач и его подручные. Они осматривали рты осужденных в поисках золотых зубов, которые позже можно было бы выломать.

Связанного арестанта с обнаженной верхней частью туловища вводили в барак для казней. После зачтения приговора в присутствии обычных свидетелей прокурор обращался к палачу с привычной формулой: «Палач, приведите приговор в исполнение».

В этот момент палач резким движением раздвигал черный занавес. Я никогда не смогу забыть этот душераздирающий скрип! Теперь гильотину было видно в сиянии электрического света.

Осужденный должен был встать к высоко откинутой доске, имеющей у верхнего конца выемку для головы. Прежде чем он мог опомниться, помощники палача бросали его на эту доску, которая была шарнирно закреплена и откидывалась назад. Осужденный, опрокинутый доской, молниеносно попадал в положение, в котором его голова находилась точно под гильотиной. В «искусство» подручных входило правильно предугадать высоту жертвы. В ту

же самую секунду палач нажимал на кнопку. Нож гильотины со свистом срывался вниз, и голова казненного летела в специальную плетеную корзину...

В этот момент палач с той же быстротой задергивал черный занавес... Вновь скрип, который проникал до самого мозга. Вытянувшись по стойке «смирно», палач докладывал: «Герр обер-прокурор, приговор приведен в исполнение». При каждой казни тюремный врач должен был регулярно констатировать и свидетельствовать смерть.

Весь процесс совершался с невероятной быстротой. Благодаря внезапному характеру манипуляций палачи избавлялись от «лишней траты времени» на привязывание, необходимое в иных случаях, и другие меры безопасности.

Интервал между казнями был предусмотрен в 3 минуты. Но казни давно уже не занимали предусмотренное время. «Умелый» палач и его натренированные подручные укладывались в 11–13 секунд.

Таким образом, казни могли происходить конвейерным способом. Мне приходилось видеть по 30–40 казней, следующих друг за другом без перерыва».

Имя палача в документах о казни джалильцев не указано. Но, судя по найденному «акту о зверских злодеяниях немецких властей и администрации тюрьмы Плетцензее в отношении заключенных лиц иностранных национальностей», в августе 1944 года многие казни производил лично главный палач Германии Эрнст Раендель. Это объясняется, видимо, тем, что в это время здесь казнили участников заговора против Гитлера. (Так, в августе в том же бараке были казнены фельдмаршал фон Витцлебен, полицейпрезидент Берлина граф Хельдорф, начальник гарнизона Берлина генерал фон Хазе, граф фон Шуленберг и др.)

Я заинтересовался судьбой палача. Выяснилось, что в конце войны, не успев бежать на Запад, он укрылся под чужой фамилией в небольшом городке неподалеку от Берлина. Но кто-то из немецких граждан узнал его и сообщил об этом советской администрации. Задержать палача было поручено работникам контрразведки «Смерш» 77-й гвардейской Черниговской дивизии, офицерам-татарам З. Ишееву и Н. Максютову.

Я встретился с ними (оба они жили в Казани), интересовался подробностями этой операции. По их словам, операция прошла спокойно. Когда они прибыли по указанному адресу, навстречу им вышел немолодой уже господин, тщательно одетый, гладко выбритый и надушенный. Он сразу же признался, что он и есть главный палач Германии.

В ходе следствия выяснилось, что и отец, и дед, и еще несколько поколений семьи Раендель кормились ремеслом палача. «Ремесло» позволило накопить определенный капитал: Эрнст Раендель был владельцем доставшегося ему по наследству мыловаренного завода.

Жаль, что в то время еще ничего не было известно о подвиге Джалиля, и вопросов о нем Раенделю не задавали. Но отраднее, по крайней мере, то, что палачу не удалось уйти от возмездия, – суд военного трибунала приговорил его к расстрелу.

«Я ПОД СНЕЖНОЙ ЗАСНУ ПЕЛЕНОЮ...»

Накануне поездки в Германию Амина Джалиль просила меня привезти горсть праха с той земли, где похоронен Муса. Но как установить место могилы героев?

Кладбище тюрьмы Плетцензее известно – оно находится невдалеке от местечка Дебориц, западнее Берлина. Я посетил это кладбище.

За невысокой оградой тянутся, как по линейке, ряды однотипных могильных холмиков. В изголовье каждого установлен одинаковый небольшой кирпичик с фамилией, инициалами, датой рождения и смерти. Это казарменное однообразие действует особенно угнетающе.

Я долго бродил среди могил, внимательно вглядываясь в надписи и стараясь не пропустить ни одного кирпичика. Но ни имени Джалиля, ни имен его товарищей найти не удалось. До меня такие же поиски предпринимали Шайхи Маннур и Леон Небенцаль, и также безрезультатно. Леон Небенцаль разыскал старого кладбищенского сторожа, проработавшего здесь всю жизнь. Изо дня в день записывал он имена всех, кто похоронен на этом кладбище. По просьбе Небенцала он еще раз просмотрел кладбищенские книги, но имен казненных патриотов не обнаружил. Правда, не все имена похороненных известны. На кладбище много кирпичиков, где вместо фамилии и имени стоит одно только слово – «неизвестный». Но,

скорее всего, это те, кто скрывал свое имя от суда и следствия.

Священник Юрытко в качестве возможного места могилы назвал Зеебургский тир. С помощью бургомистра городка Зеебург Бригитты Свиерс я разыскал место этого тира.

За невысоким сосновым леском у самой границы Западного Берлина открылось ровное, теперь уже возделываемое поле. Когда-то оно было обнесено колочей проволокой, а жителям городка строго-настрого запрещалось подходить к нему, так как, по словам фашистов, там проводились учебные стрельбы. Но многие догадывались, что это были за стрельбы, потому что по ночам со стороны Берлина сюда приезжали крытые тюремные машины, грохот выстрелов перемежался с криками, стонами и проклятиями.

После войны здесь обнаружили огромные рвы, наполненные трупами. Вскоре после освобождения состоялся митинг жителей Зеебурга, на котором выступили несколько антифашистов, освобожденных из тюрем и концлагерей. Позднее сюда приезжала специальная комиссия. Один из рвов был вскрыт. В нем обнаружили трупы в мундирах немецких офицеров. Возможно, это были участники заговора против Гитлера.

Сейчас рвы заросли кустарником, мелкими сосенками и елочками, уже едва угадываются. Хоронили ли в них только расстрелянных здесь или привозили и казненных в другом месте? Этого Бригитта Свиерс не знала. Но она пообещала уточнить и написать мне.

Действительно, через полгода после поездки в Зеебург я получил письмо от Бригитты Свиерс. Она писала, что Зеебургский тир, как ей удалось установить, принадлежал военной фашистской тюрьме Шпандау. Если учесть, что джалильцы считались узниками этой тюрьмы, а в Плетцензее они провели всего несколько часов, то, вероятнее всего, могила Джалиля и его соратников находится здесь.

Белым саваном стали снега.
И не грядка теперь, а могила.
И береза, стройна и строга,
Как надгробье, цветок осенила,—

писал Джалиль в стихотворении «Могила цветка», предчувствуя свой печальный конец, но веря в бессмертное торжество жизни.

Как увядший цветок, в забвении
Я под снежной засну пеленою,
Но последние песни мои
Расцветут в вашем сердце весною.

ОБОРВАННЫЕ НИТИ

Как волшебный клубок из сказки,
Песни – на всем моем пути...
Муса Джалиль. Волшебный клубок

Первая Моабитская тетрадь содержит шестьдесят, вторая – пятьдесят стихотворений. Семнадцать из них, – очевидно, те, которые поэт считал наиболее важными, – повторяются. Итак, в двух тетрадках до нас дошло девяносто три стихотворения, написанных рукой самого поэта. Эти стихи вошли в золотой фонд советской литературы. Они переведены почти на все языки народов СССР. Их знают и многие читатели за рубежом. Но все ли это, что написал Джалиль в фашистской неволе?

На обложке второй тетради поэт оставил горькую надпись: «В плену и в заточении – 1942.9–1943.11 – написал сто двадцать пять стихотворений и одну поэму. Но куда писать? Умирают вместе со мной».

После этой записи Джалилю удалось, видимо, раздобыть несколько листов бумаги, и он записал на них еще семнадцать стихотворений. Большинство из них, судя по датам, написаны в декабре 1943 года, а последнее – «Новогодние пожелания» – 1 января 1944 года. Часть же моабитских стихотворений написана раньше сентября 1942 года, в июле и августе (девять стихотворений).

Таким образом, основываясь на свидетельстве самого поэта, можно сделать вывод, что с

июля 1942 по 1 января 1944 года он написал не менее 150 стихотворений и одну поэму.

Но Джалиль, по словам Тиммерманса, напряженно работал и после 1 января 1944 года. Рениеро Ланфредини подтверждает, что в тюрьме Шпандау поэт постоянно что-то писал, хотя он и не знает, что именно. Если за четыре месяца в Моабите Джалиль создал более шестидесяти стихотворений, то сколько он мог написать еще за восемь месяцев – с 1 января по 25 августа 1944 года?

Конечно, все эти подсчеты весьма приблизительны. Но несомненно одно: до нас дошла лишь меньшая часть из того, что написано Джалилем в фашистской неволе.

Что можно сказать об этих найденных песнях? Как дальше вести поиски? И есть ли надежда на то, что хоть какие-то стихи Джалиля будут найдены?

Одна, самая толстая по объему, тетрадь поэта потеряна где-то в Волховских болотах. Надежд на то, что она могла сохраниться, практически нет. Вполне возможно, что в критическую минуту поэт сам уничтожил ее.

Некоторые из написанных в период окружения стихов поэт послал в тыл авиапочтой, но они не дошли до Казани. Война есть война...

Из того, что написано Мусой в окружении, реальной представляется мне находка лишь тех стихов, которые были переведены на русский и опубликованы на страницах «Отваги».

Немало стихов и песен утрачено за месяцы скитаний по лагерям для военнопленных. Поиски утраченного наследия не прекращаются до сих пор. Редкие находки перемежаются с досадными неудачами и даже попытками прямой фальсификации. Об одном из таких случаев следует рассказать подробнее.

В первые дни 1956 года в редакцию «Литературной газеты» позвонили из далекого башкирского города Стерлитамака. Взволнованный голос, приглушенный тысячеверстным расстоянием, сообщил, что в редакцию городской газеты поступили неопубликованные стихи Джалиля. В Башкирию немедленно выехал писатель Юрий Корольков. Он встретился с человеком, принесшим в редакцию стихи, – столяром Талгатом Гимрановым, записал его рассказ и привез в Москву тетрадку со стихами.

Вкратце рассказ Гимранова сводился к следующему. Осенью 1942 года Гимранова с эшелоном военнопленных привезли на польскую станцию Едлино, где формировался легион «Идель-Урал».

Талгат попал в рабочую команду. В соседнем бараке роты пропаганды жило человек двадцать. Все это были грамотные, образованные люди: артист из Казани, художник, учителя. Однажды, зайдя в этот барак, Талгат увидел, что его обитатели, сгрудившись вокруг невысокого черноволосого человека, слушают стихи. Гимранов присоединился к ним. Стихи ему так понравились, что он, выбрав удобный момент, подошел к этому человеку и попросил разрешения списать их.

– А не боишься? – спросил тот, испытующе глядя на Гимранова. – Ведь за это можно поплатиться головой.

Поговорив с Талгатом и посоветовав ему быть осторожнее, человек дал ему ненадолго свой блокнот в темно-вишневой обложке.

Достать бумагу в лагере было нелегко. Гимранов раздобыл несколько пергаментных оберток из-под маргарина, тщательно протер их, высушил и смастерил себе крошечный, размером не больше спичечной коробки, блокнотик. Остро отточенным карандашом мельчайшим почерком он переписал двадцать наиболее понравившихся ему стихотворений – около четырехсот стихотворных строк. Это была лишь незначительная часть того, что хранилось в блокноте незнакомца.

Как-то, увидев, что Гимранов мастерит портсигар, его новый знакомый – поэт спросил: «А нож ты можешь сделать?» Талгат ответил утвердительно. Из полоски стали он сделал и наточил финский нож с удобной деревянной рукоятью. Поэт похвалил Талгата: «Молодец! Нож тоже оружие». В другой раз он попросил Гимранова собрать компас, потом – достать карту Польши. Талгат выполнил и эти поручения. В конце июня или начале июля 1943 года Гимранов получил более ответственное задание – установить связь с польскими партизанами. Он несколько раз бывал в соседнем польском хуторе, договорился даже со связным партизанского отряда, но тот почему-то не пришел. Однако, как понял Талгат из разговоров с поэтом, подпольщикам удалось установить связь с партизанами другим путем.

В легионе готовилось вооруженное восстание. Талгат был предупрежден об этом, хотя и не знал точного срока. А в середине лета прошли массовые аресты... Фашисты схватили поэта и почти всех, кто был вместе с ним в соседнем бараке. Больше с ними Гимранов не встречался.

Поэт не назвал своего имени, да Гимранов и не спрашивал. Правда, он дал Талгату адрес своей семьи, но эта бумажка потерялась во время скитаний по лагерям. Только когда были напечатаны Моабитские стихи, Гимранов решил, что его знакомый – Муса Джалиль.

3 марта 1956 года в «Литературной газете» появилась большая статья Ю. Королькова «По следам песен Джалиля». В этой статье человек, с которым встречался Гимранов, без всяких колебаний назван Джалилем. Но когда вскоре после этого с Гимрановым встретился Гази Кашшаф, рассказ столяра вызвал у него целый ряд сомнений. Да, все приведенные Гимрановым факты о легионе и борьбе подпольщиков соответствовали действительности. Но человек, которого описывал Гимранов, очень мало походил на Мусу. Ни внешность, ни привычки, ни черты характера не давали возможности утверждать, что это Муса Джалиль. Кто-кто, а уж Кашшаф хорошо знал все склонности своего друга.

Например, по словам Талгата, его знакомый много курил, и Гимранов даже подарил ему самодельный портсигар. Но Муса никогда не курил. И все, кто видел его в лагерях для военнопленных, подтвердили это. Гимранов рассказывает, что поэт ходил в немецкой военной форме. Это также расходится с показаниями других очевидцев, в один голос утверждающих, что Муса в то время носил штатскую одежду.

По мере того как накапливались новые факты о пребывании Джалиля в немецком тылу, в рассказе Гимранова открывались новые несоответствия. Так, он рассказал, что поэт принимал деятельное участие в подготовке восстания в первом батальоне, давал конкретные указания лицам, которые отправлялись на фронт в составе этого батальона. Но, как удалось установить, в период подготовки восстания Джалиль находился не в Едлино, а в лагере Вустрау под Берлином. Гимранов утверждает, что его знакомый жил в бараке пропагандистов. А Джалиля, как известно, перевели из Вустрау в Берлин, и он бывал в Едлино лишь наездами.

Итак, сейчас уже совершенно ясно, что человек, с которым встретился Гимранов, – не Джалиль.

В то же время его рассказ – не досужая выдумка (к сожалению, в процессе поиска приходится сталкиваться и с такими случаями). Многие детали, впервые рассказанные им (ход подготовки восстания в первом батальоне, побег пяти легионеров с целью установить связь с советским командованием, распространение подпольных листовок и так далее), подтвердились в дальнейшем из других источников.

А самое главное – он привез стихи. Пламенные, зовущие к борьбе, которые ни выдумать, ни подделать невозможно. Во многих из них явственно звучат интонации Джалиля. Да, именно Муса мог с такой болью и страстью обращаться к ветрам и просить их «песнь тоски по любимой земле донести до просторов родных». Его горячая убежденность звучит в строках:

Пусть умру и в земле мне лежать,
Остановит пусть смерть мою кровь,–
Будет в песнях моих звучать
Вера в Родину, к жизни любовь.

Этими стихами заинтересовались такие известные поэты и переводчики, как А. Ахматова, М. Исаковский, М. Светлов. Около десяти стихотворений в их переводе были напечатаны в «Литературной газете», а впоследствии и в других изданиях.

Если человек этот был поэтом, мы должны допустить, что он не уступал по таланту Джалилю. Или же – что тоже не исключается, – находился под его сильнейшим влиянием. В оригинале это чувствуется особенно отчетливо, но в какой-то мере это можно увидеть и в переводе:

До чего хорош он, край родной,
В шапочках соломенных избушек!
Трудовая песня, что слилась
С ручейковой песней на опушке.

Там зимой и летом хорошо,
Там всегда любой погоде рады,
Там джигитов звучные камчи,
Черноглазых девушек наряды.
Пусть до дома песня долетит,
И друзья споют ее сердечно...
Не согласен одиноким жить
На чужбине, в скорби бесконечной.
Если в жилах онемееет кровь,
Если мне лежать в могиле скоро,
Жить вовеки делу моему,
Даже пусть меня раздавят горы!

Или:

Блистая вновь, взойдет над миром солнце,
И росы на равнины упадут.
Тебе привет мой, дальний, одинокий,
Пусть западные ветры принесут.
Передо мной военная дорога,
Остался позади отцовский дом.
Дождись меня! К тебе вернусь я скоро
Освободившим Родину бойцом.

Свойственным Джалилю мягким лиризмом и задушевностью проникнуты и некоторые другие стихотворения из блокнота Гимранова. И все-таки мы не можем с полной достоверностью утверждать, что они принадлежат Джалилю. Многие в плену брались за перо. Даже из числа казненных вместе с Джалилем одиннадцати героев трое, не считая его самого, писали стихи. Смущает и то, что в ряде стихотворений, привезенных Талгатом Гимрановым, есть несвойственная Мусе сентиментальность, альбомный надрыв. В одном из стихотворений герой говорит о себе, что он родился и вырос на Волге, а Муса, как известно, провел свое детство в Оренбуржье. В другом – автор обращается к матери как к живой. Между тем мать Джалиля умерла еще задолго до войны, и в Моабитских тетрадах не встретишь таких прямых обращений.

Еще до выхода первого издания книги «По следам поэта-героя» за установление авторства стихов, привезенных Гимрановым, взялся уфимский исследователь Н. Лешкин. Он вновь встретился с Талгатом и откровенно высказал ему все свои сомнения. Гимранов был явно смущен и откровенно признался, что его самого давно уже мучает совесть. Вот отрывок из его собственноручной объяснительной записки:

«Находясь в легионе, я не слышал, чтобы в Едлино приезжал Муса Джалиль. Я ничего не слышал о нем до войны и не читал его стихов. Впервые о нем услышал после ареста легионеров (речь идет о массовых арестах подпольщиков в августе 1943 г. – Р.М.). Передавая блокнот с записями стихов, я высказал мнение, что эти стихи *могут* принадлежать Джалилю. При этом я спрашивал, не сохранилась ли газета «Идель-Урал», тогда можно было бы сверить с газетами и установить, чьи это стихи. Но журналисты, которым я передал блокнот, раздули эту историю до размеров невероятных, присочинив, якобы с моих слов, и то, чего вовсе не было».

Анализ привезенных Гимрановым стихов привел Лешкина к выводу, что они принадлежат перу разных лиц. Просмотрев дошедшие до нас экземпляры газеты «Идель-Урал», он обнаружил, что два стихотворения из блокнота Гимранова – «Весны придут» и «Матери» – были опубликованы в этой газете. Первое подписано буквой «Х», второе «М. Гэлиша» – очевидно, вымышленным именем. Между газетным вариантом и вариантом Гимранова имеются различия. Так, в газетном варианте, иногда даже в нарушение элементарной ритмики, к месту и не к месту втиснуты слова «Идель-Урал». Вариант же Гимранова свободен от такого грубого вмешательства.

Таким образом, вопрос об авторстве привезенных Гимрановым стихов все еще остается открытым.

Вскоре после публикации в «Литературной газете» стихов, привезенных Талгатом Гимрановым, Гази Кашшаф получил письмо от каменщика Гарафа Фахрутдинова из среднеазиатского города Алмалык. Фахрутдинов писал, что у него тоже есть около тридцати

неопубликованных стихотворений Джалиля. Завязалась переписка. Любопытно, что среди стихов, присланных Фахрутдиновым, были и такие, которые имелись в блокноте Гимранова (Фахрутдинов не мог их знать, так как татарский оригинал не был опубликован). А два стихотворения – «Поэт» и «К Висле» – были знакомы по Моабитским тетрадам. Причем это были не точные копии, а варианты этих стихотворений (второе, например, в блокноте Джалиля называлось «К Двине»), что еще больше повышало их ценность для исследователя.

Как попали к Фахрутдинову эти стихи?

Как известно, в Едлино Гараф Фахрутдинов выступал на вечерах художественной самодеятельности в составе хоровой капеллы. Тексты песен и стихи для публичного исполнения он получал от Курмаша. Когда Гараф поинтересовался, чьи это стихи, тот ответил: «Твое дело – петь, об остальном – не спрашивай».

Время от времени в легион приезжал Муса Джалиль. Каждый раз он приветливо разговаривал с Гарафом, расспрашивал его о настроениях пленных, иногда по просьбе Гарафа диктовал ему одно-два стихотворения. В последний раз Муса привез с собой новую музыкальную комедию «Шурале». Джалиль широко использовал в комедии мелодии народных песен и песни татарских композиторов, написав к ним новые слова. Фахрутдинов должен был принять в ней участие и начал разучивать песни и арии.

Во время арестов и обысков немцы конфисковали текст «Шурале» и весь репертуар хоровой капеллы, который хранился в наволочке Курмаша. Блокнот со стихами Джалиля Гараф зарыл в землю. Но когда части легиона переводили в городок Ле-Пюи во Франции, Гараф не смог достать его из тайника, и стихи пропали.

Однако, вернувшись на Родину, Фахрутдинов записал по памяти около тридцати песен и стихов. Те из них, которые продиктовал ему сам Джалиль (восемь стихотворений), были опубликованы на татарском языке в журнале «Совет эдэбияты» (1957, № 6).

Но и среди этих стихов, как показали дальнейшие исследования, есть такие, которые написаны другими.

В текстах Гимранова и Фахрутдинова есть разночтения, вполне объяснимые условиями, когда печатного текста не существовало и каждый исполнитель или переписчик чувствовал себя в какой-то мере соавтором.

Например, в варианте стихотворения «Письмо к матери от погибшего сына», привезенном Талгатом Гимрановым, есть строки:

Сына молоком своим вспоила,
От меня отрады ты ждала.
Лишь тринадцать стукнуло, пустила
В дальний путь, на трудные дела.

В варианте же Фахрутдинова говорится, что разлука произошла, когда стукнуло 25 лет. Первое понятно: с тринадцати лет Муса остался без отца и начал самостоятельную трудовую и творческую жизнь. Второй вариант очень своеобразно толкует Фахрутдинов. Джалиль в этом стихотворении обращается не к своей матери, утверждает он, а к матери-Родине. Когда поэт попал в плен, Советской власти как раз исполнилось 25 лет. Действительно, подлинник допускает и такое толкование. По словам Фахрутдинова, все военнопленные хорошо понимали этот скрытый смысл стихотворения.

Фахрутдинов напоминает, что Джалиль в этот период был вынужден маскировать свои мысли. В Моабитских тетрадях он мог уже выражаться откровеннее. Другая особенность стихов в том, что среди них много текстов на мотивы популярных песен. Это тоже затрудняет окончательное определение авторства. Вполне возможно, что часть стихотворений принадлежит перу Курмаша. Окончательный и вполне достоверный ответ могла бы дать только находка автографов самого Джалиля.

Несколько песен, приписываемых Джалилю, привез бывший военнопленный Абдулла Гафуров.

Как-то летом 1943 года военнопленных-татар Демблинского лагеря согнали на вечер художественной самодеятельности. На вечере исполнялись татарские народные песни. Затем выступал какой-то невысокий плотный человек с черными, зачесанными набок волосами, в темном, ладно сидящем костюме, белой сорочке и галстук. Собравшимся его представили

как Гумерова. Однако вскоре среди пленных прошел слух, что это известный татарский поэт Муса Джалиль.

Гафуров и его товарищи недоумевали: как же так – в стихах говорится о верности Родине, о долге перед матерью-отчизной, а сам этот человек ходит без конвоя и, как говорят, занимает высокий пост в Берлине. Поэтому его встречали довольно сдержанно. Но стихи понравились всем, и после его отъезда каким-то образом они начали распространяться среди пленных. Гафуров тоже переписал себе несколько стихотворений и смог привезти их на Родину. Но ведь Муса мог читать на вечере не только свои стихи...

В 1966 году журнал «Казан утлары» напечатал еще ряд стихотворений, возможно, принадлежащих Джалилю. Их привез из фашистского плена Бакый Абдрашитов.

Абдрашитов много раз пытался бежать из лагеря. Однажды ему удалось миновать почти всю Германию и половину Польши. Но в конце концов его схватили немецкие патрули, жестоко избили и послали на каторжные работы в шахту. Однако Абдрашитов ухитрился бежать и отсюда вместе с группой узников. Но их настигла погоня. На этот раз Абдрашитова избили так, что очнулся он уже в тюремной камере в городе Франкфурте-на-Майне. Как он сюда попал – не помнит. Может быть, у него временно отшибло память. Когда начал немного приходить в себя, увидел, что вместе с ним в камере находится еще один человек, тоже татарин. Сосед заботился об Абдрашитове, ставил примочки, подавая воду, хотя его самого ежедневно водили на допросы и жестоко пытали. Был он русоволос, среднего роста, с толстыми губами и густыми бровями. Вначале Абдрашитову было не до разговоров – трудно было даже разомкнуть спекшиеся губы. Но постепенно они разговорились. Сосед рассказал, что до войны работал председателем колхоза в Татарии, что дело его очень серьезно и что ему уже не выбраться отсюда.

Когда Бакый стало немного лучше, сосед раздобыл где-то бумагу и карандаш и стал диктовать стихи. «Эти стихи ты должен выучить наизусть и, если останешься жив, передать понимающим людям на Родине», – повторял он. Абдрашитов негнуцимися пальцами с трудом записывал стихи, а потом добросовестно заучивал их, хотя и не очень верил в то, что ему удастся выбраться отсюда. Так он затвердил более двадцати стихотворений. Сосед обещал ему рассказать в свое время историю этих стихотворений, но не успел: после очередного допроса он не вернулся.

Однажды во время воздушного налета в тюрьму попала бомба. Выбравшись из-под обломков, Бакый пополз в сторону леса. На этот раз ему удалось скрыться и со временем присоединиться к партизанам.

Абдрашитов полагает, что его соседом был Джалиль. Но поэт сидел в это время в другой тюрьме. Внешность, привычки, факты биографии соседа Абдрашитова также ни в чем не напоминают Джалиля. Мы располагаем сведениями, что Джалиль поддерживал связь с антифашистским подпольем во Франкфурте-на-Майне. У подпольщиков была там даже своя явка. Видимо, это был один из соратников Джалиля.

Среди стихов, которые он продиктовал Абдрашитову, есть стихотворение Мусы Джалиля «Пташка». Есть среди них и стихотворение «Ночь», вариант которого под названием «Ночь. Тюрьма» вынес из Тегельской тюрьмы Хисамутдинов. Одно из стихотворений написано Рахимом Саттаром. Некоторые стихи, привезенные Абдрашитовым, уже знакомы нам по блокнотам Гимранова и Фахрутдинова.

Сосед Абдрашитова по камере и сам сочинял стихи. Одно из них, «Прощание», он посвятил Абдрашитову. Достоин восхищения то, что даже в свои последние дни он прежде всего думал о том, как спасти стихи друзей. Видимо, он верил в эти стихи, верил в то, что они нужны народу и будут поняты им.

Около десяти стихотворений запомнил и вынес Заки Аглиуллин из поселка Карабаш. Сейчас его уже нет в живых, а стихи были найдены в его бумагах. Одно из них есть в блокноте Абдуллы Алиша. Авторство остальных пока точно не установлено.

ТРЕТЬЯ МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ ДЖАЛИЛЯ: СЛЕДЫ ЗАТЕРЯЛИСЬ В МОСКВЕ

Письмо из Турции

В конце 70-х годов мне позвонили из приемной Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР:

– Салих Гилемханович Батыев просил познакомить вас с одним письмом, пришедшим на его имя из Турции. Речь идет о неизвестной тетради Мусы Джалиля...

Вскоре я был в Казанском кремле и держал в руках послание, написанное на татарском языке латинскими буквами. Один из бывших татарских военнопленных, оказавшийся после войны в Турции (фамилию его меня попросили не разглашать), разыскивал своих родных. И как бы между прочим сообщал, что знает человека, который вынес из берлинской тюрьмы стихи Мусы Джалиля и его товарищей. Это известный тюрколог Казим Миршан, проживающий ныне в Анкаре.

Это имя было мне уже знакомо. Его называли люди из окружения Мусы Джалиля в Берлине. Но сведения о нем были очень противоречивы. Одни называли его китайцем, другие – турком. Говорили, что он неплохо знал татарский язык, интересовался жизнью, бытом и культурой татарского народа. Его не раз видели рядом с Джалилем. Вот, пожалуй, и все, что было о нем известно.

Поездка в Анкару

Наше письмо в Турцию по указанному бывшим военнопленным адресу осталось без ответа. Он писал, что тяжело болен, возможно, доживает последние дни, и хотя бы перед смертью желает узнать о судьбе своих близких. Видимо, его состояние ухудшилось. А может, его уже не было в живых. Иначе он непременно поблагодарил бы нас за сведения о его родственниках и сообщил нам точный адрес Казима Миршана.

Когда еще две-три попытки разыскать Миршана с помощью переписки не увенчались успехом, я решил поехать в Турцию. К тому же подвернулся удобный случай: в ноябре 1978 года в Турцию выехала официальная делегация Союза писателей СССР, в состав которой включили и меня.

...После шумного, пестрого Стамбула с его узкими кривыми улочками, непередаваемой красоты мечетями, бесчисленными лавчонками и сказочно голубым Босфором Анкара кажется немного скучноватой. Это вполне европейский город с широкими прямыми проспектами, домами, построенными по проектам английских и немецких архитекторов, и вбитыми кое-где бетонными «гвоздями» небоскребов.

В муниципалитете Анкары мне помочь не смогли, посоветовали обратиться в научное общество языкознания Турции «Диль куруму», дали номер телефона. Позвонив туда, я узнал, что Казим Миршан – известный ученый-тюрколог, автор нескольких монографий о прошлом тюркских народов. Мне сообщили также его адрес и номер телефона.

Он оказался нашим соплеменником

Случилось так, что переводчица нашей делегации не смогла поехать со мной на эту встречу. И я очень волновался, сумеем ли мы понять друг друга, – ведь турецкий я знаю весьма приблизительно. Но первая же фраза, произнесенная этим немолодым (под семьдесят) человеком с резкими чертами лица и пронзительно-острым взглядом, была сказана на чистейшем татарском языке:

– Исџнмесез! Якташымны кърергѳ мин бик шатмын. (Здравствуйте! Рад встретиться со своим земляком.)

– Так вы татарин?

– Чистокровный. Хотя родился в Китае, вырос в Турции, а высшее образование получил в Германии.

Выяснилось, что дед Казима Миршана был крупным татарским торговцем, имел тесные связи с Китаем (торговал чаем, шелками, фарфором и т.д.). В смутное время выехал в Китай, где и родился Казим. Затем семья переехала в Турцию, где К. Миршан закончил колледж. А потом его для продолжения образования послали в Германию. Здесь его и застала война.

– А как вы познакомились с Мусой Джалилем?

К. Миршан рассказал, что хотя он и учился в техническом вузе, но всегда горячо интересовался историей, культурой и языками тюркских народов. Часами просиживал в берлинских библиотеках, знакомясь с материалами на эти темы. И вот однажды в руки ему попала газета «Идель-Урал», выходящая в Берлине на татарском языке. По указанному в газете адресу он разыскал редакцию, встретился с ее сотрудниками. В основном это были военнопленные-татары, недавно освобожденные из лагерей. По словам К. Миршана, в вопросах истории и культуры татар они «мелко плавали». Но зато сообщили Миршану, что скоро из лагерей для военнопленных немцы должны освободить поэта Мусу Джалиля, и он ответит на все его вопросы.

Я спросил у него, слышал ли он до этого имя Джалиля. «Конечно! – ответил он. – Я слушал по радио отрывки из оперы «Алтынчеч», знал некоторые его стихи и песни. Понимал, что это большой поэт и талантливый либреттист». – «Его так и называли – Мусой Джалилем?» – «Вообще-то его предпочитали официально именовать Гумеровым. Но все знали, кто скрывается под этим именем».

Через некоторое время Казим Миршан пришел в редакцию еще раз, и на этот раз застал там поэта. По его словам, Муса был очень худ и изможден. Гражданский костюм висел на нем как на вешалке. Особой радости от встречи с Миршаном он не испытывал, но и не сторонился его. Видя, что Джалиль все еще не может прийти в себя от голода, Миршан пригласил его в китайский ресторанчик – одно из немногих мест, где можно было поесть без продуктовых карточек (туда пускали только китайских подданных и их гостей). Муса не отказался. Потом они были в этом ресторанчике еще несколько раз. Говорили в основном о культуре татарского народа и его знаменитых деятелях, о происхождении тюрков.

По словам К. Миршана, у Джалиля были обширные познания в этой области и он на многое открыл ему глаза.

«Я спас Моабитские тетради...»

На мой вопрос, знал ли он что-либо о подпольной работе Джалиля и его товарищей, К. Миршан только усмехнулся: «Нет, конечно. Если бы знал, возможно, даже избегал бы встреч с ним. Уверяю вас, гестапо ничуть не лучше ГУЛАГа...»

Узнал он об этом только после ареста Мусы Джалиля и его друзей. Событие это вызвало в редакции «Идель-Урала» настоящий переполох. Начались аресты. Шепотом, с оглядкой, ему рассказали, что, оказывается, в Берлине и подразделениях Волго-татарского легиона существовала разветвленная сеть подпольной организации. Подпольщики печатали листовки, в которых призывали советских людей устраивать саботаж на военных предприятиях Берлина. Тех же, кто был насильно зачислен в легион, призывали с оружием в руках переходить на сторону Советской Армии. И кое-что подпольщикам действительно удалось сделать. Так, около тысячи легионеров, посланных на Восточный фронт, перешло на сторону белорусских партизан.

После ареста поэта Миршан хотел как-то помочь ему – хотя бы передачу в тюрьму отнести. Но решиться на это было непросто. За малейший проступок его могли выслать из страны как нежелательного иностранца. И это еще в лучшем случае. А в худшем можно было загреметь в подвалы гестапо. И все же, узнав, что передачи заключенным носить можно, и уточнив, что Джалиль и его товарищи находятся в западном крыле берлинской тюрьмы Шпандау, он пошел туда.

Но передачу у него не взяли. Человек, сидевший за окошечком администратора, заглянув в свои списки, сказал ему, что всех названных им лиц уже казнили. Увидев его расстроенное лицо, администратор поинтересовался, кем он им приходится. Миршан ответил, что родственников у татар здесь нет, а он их земляк. И тогда администратор предложил ему забрать вещи Мусы Джалиля и других казненных. Миршан согласился. Его направили в какое-то подсобное помещение за пределами тюремных стен и показали эти вещи. По словам Миршана, это были личные вещи заключенных: кое-что из одежды (всякое тряпье), миски, чашки, ложки. Короче, не нужный никому хлам. Были среди этих вещей и небольшие тетрадки со стихами и какими-то записями. Расписавшись в журнале, К. Миршан взял эти

тетради.

– Вот так я вынес из тюрьмы стихи Джалиля и его товарищей. А потом, уже в 1946 году, в январе, передал их в советское посольство в Риме. (После войны судьба забросила его в Италию.)

Оказалось, что Миршан искренне считал себя спасителем моабитских тетрадей. Он следил за публикациями в советской и зарубежной прессе о Джалиле, восхищался им. И недоумевал, почему никто нигде не упоминает его имени. Мне пришлось долго втолковывать ему, что первую тетрадку со стихами Джалиля (арабским шрифтом) вынес из тюрьмы татарский военнопленный Габбас Шарипов, вторую (латинским шрифтом) – бельгиец Андре Тиммерманс. А тетради, вынесенные им, видимо, где-то затерялись. Но он, по-моему, так и остался при своем мнении.

Продолжение поиска

По словам Миршана, тетрадок было штук семь-восемь (точнее он не помнил). Две из них содержали стихи Мусы Джалиля, одна – Ахмета Симаева. Имена других авторов он забыл. Некоторые тетрадки были написаны арабским шрифтом, иные – на латинице или кириллице.

«Это были впечатляющие, патриотические произведения», – говорит Миршан. Его поразили стихи Мусы Джалиля. Они дышали подлинной страстью и верностью Родине.

На мой вопрос, есть ли у него какие-либо доказательства, Миршан ответил, что осталось несколько разрозненных листочков, в которых повторялись стихи из блокнотов. Найти их сразу он не смог. Но на следующий день принес пять ломких желтых листочков, на которых были написаны стихи. У восьми стихотворений внизу стояла подпись: «Ахмет Симаев». Одно стихотворение было подписано соратником Джалиля Абдуллой Батталом. Кроме имени, там было указано и место: «Берлин. 1944. Тюрьма Вест-Шпандау». И наконец, еще одно стихотворение – «Ахмету Симаеву», принадлежащее Мусе Джалилю. (Правда, судя по почерку, оно было написано не рукой Джалиля, а Ахмета Симаева.)

Расставаться с этими листками К. Миршан не захотел. Но позволил снять ксерокопии.

Вернувшись в Казань, я сделал несколько запросов в Министерство иностранных дел. Но вразумительного ответа о судьбе переданных тетрадок так и не получил.

Спустя несколько лет поисками этих бесценных документов занялся заведующий отделом общественных связей КГБ нашей республики Ровель Кашапов. Ему удалось выйти на человека, который в годы войны и первые послевоенные годы был резидентом советской разведки в Риме. Его фамилия – Горшков Н.М.

По словам Горшкова, еще в ходе Отечественной войны к ним в Рим поступали сведения, что в Берлине и частях татарского легиона создана подпольная организация под руководством Мусы Джалиля. Они даже давали задание своим агентам, направляемым по подпольным каналам в Германию, связаться с этой организацией и по возможности оказать ей помощь. Более того, в случае необходимости предлагалось провести Мусу Джалиля и его товарищей к своим через линию фронта. Однако связаться с подпольщиками не удалось – немцы успели разгромить подпольную организацию и заключить в тюрьму ее членов.

Н.М. Горшков отлично помнил и то, что К. Миршан приходил в советское посольство в Риме, приносил тетради со стихами и подсказал, где следует искать эти документы. Опираясь на его данные, Р. Кашапов весной 1991 года сделал запрос в Комитет государственной безопасности СССР и получил следующий ответ.

Письмо из КГБ СССР

Председателю КГБ Татарской ССР
генерал-майору Калимулину Р.Г.

С учетом бесед Ваших сотрудников с т. Горшковым Н.М. и в результате проведенных нами дополнительных поисков в архивных материалах ГПУ в отношении обстоятельств получения дневников Мусы Джалиля установлено следующее.

В архивном деле переписки с римской резидентурой за 1946 год (а не в 1944 г., как сообщил т. Горшков Н.М.) в числе многих других материалов 4.01.46 г. в Центр были

направлены, как указано в тексте сопроводительного письма, 9 записных книжек, принадлежащих: Мусе Джалилю, Абдулле Алишу, Фуаду Булатову, Гарифу Шабаеву, Сайфулле Малюкову, Абдулле Баталову и Ахмеду Симаеву.

В указанном документе также сообщается (приводим дословно), что «книжки принес в посольство некий Казим Миршан 1921 г.р. ур. гор. Кульджи-Синьцзян, который заявил, что все эти лица находились в плену у немцев и 7.11.1944 года были расстреляны в Дрездене. Перед арестом они все якобы просили Миршана взять все записи и передать их на Родину. Вследствие того, что мы не можем прочесть их содержания, мы не смогли установить, что за люди их авторы. Просим передать эти книжки в отдел по эмиграции» (перечисленные выше лица, в том числе Миршан, по нашим учетам проверены, сведений на них не имеется).

В другом архивном деле бывшего отдела по эмиграции с материалами в отношении репатриации советских граждан с территорий иностранных государств нами найдена копия сопроводительного письма № 1/9/1848 от 28.01.46 года за подписью начальника I управления НКГБ СССР генерал-лейтенанта Фитина о том, что полученные 9 записных книжек направлены заместителю начальника ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР генерал-лейтенанту Бабичу.

Каких-либо других данных о местонахождении дневников в архивных делах ГПУ не обнаружено.

Одновременно сообщаем, что оперативные материалы бывшего ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР, в частности касающиеся участия советских граждан в борьбе против фашистов в гитлеровских лагерях на территории Германии, хранятся в архиве УКГБ СССР по Саратовской области. Возможно, в указанных материалах могут сохраниться сведения о дальнейшей судьбе рукописей.

Против обнародования сведений о причастности т. Горшкова Н.М. к получению технической документации на американский самолет В-29 возражений не имеем.

Начальник Первого главного управления КГБ СССР генерал-лейтенант
Шебаршин Л. В.

Надежда еще не потеряна

Из этого пространного документа, который был лишь недавно рассекречен и публикуется полностью, следует, что К. Миршан говорил абсолютную правду. 4 января 1946 года он действительно передал в советское посольство в Риме 9 записных книжек со стихами Мусы Джалиля и его товарищей.

Правда, он ошибся, сказав, что джалильцев расстреляли 7 ноября 1944 года в Дрездене. На самом деле, судя по немецким документам, их казнили «посредством отсечения головы» 25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плетцензее. Скорее всего Казим Миршан побывал в тюрьме Шпандау именно в тот день – 7 ноября 1944 года и его просто неправильно поняли.

Судя по документам КГБ, тетрадки со стихами Джалиля и его товарищей благополучно прибыли в Москву. Затем их передали для проверки в Главное управление Красной Армии «СМЕРШ». После чего следы затерялись. Во всяком случае, в архиве Управления государственной безопасности по Саратовской области найти их не удалось. Нас, правда, уверяют, что все, что попадает в такого рода архивы, хранится вечно и ни в коем случае не уничтожается.

Так что надежда отыскать новые, не известные миру стихи Джалиля и его товарищей еще не потеряна.

ЧТО СКАЗАЛА ЭВМ?

В пятидесятые годы, когда «Моабитские тетради» были только что опубликованы и имя Джалиля прогремело на весь мир, наблюдалась тенденция все вновь обнаруженные стихи приписывать Мусе Джалилю. Но ведь помимо Джалиля стихи в плену слагали такие профессиональные писатели и журналисты, как Абдулла Алиш, Хайрутдин Музай, Рахим Саттар, Ахмет Симаев, учитель Гайнан Курмаш и другие. Кроме того, в тяжелейших условиях неволи к перу потянулись десятки молодых поэтов, имен которых мы даже не знаем.

Сложность еще и в том, что если не все, то большинство поэтов из ближайшего окружения Джалиля находились под его сильнейшим воздействием, вольно или невольно подражали его стилю и поэтической манере. Поэтому один лишь стилистический анализ не позволяет установить авторство с достаточной достоверностью. Приходится учитывать и то, что большинство таких стихов дошло до нас в устной передаче, при которой неизбежны искажения, замены, вольное или невольное редактирование (исходя из своего уровня и степени понимания), сокращения и добавки.

В начале семидесятых годов при подготовке четырехтомного издания сочинений Джалиля вопрос этот вновь встал со всей остротой. Включать стихи, приписываемые Джалилю, или не включать? Если включать, то все или некоторые, по выбору? В конце концов и составитель Гази Кашшаф, и редактор Татарского книжного издательства Киям Миннебаев, и редколлегия издания в составе Нила Юзеева (главный редактор), поэтов Ахмеда Исхака и Шауката Галеева пришли к единодушному выводу: включить лишь те стихи, которые и по идейному пафосу, и по содержанию, и по стилистическим особенностям больше всего соответствуют поэтической манере Джалиля. Во второй том четырехтомника включено двенадцать таких стихотворений и либретто музыкальной комедии «Шурале» (его восстановил по памяти Г. Фахрутдинов).

Однажды, разговаривая со своим другом, кандидатом математических наук, преподавателем КГУ, специалистом в области кибернетики Рошалем Абдулхаевичем Нигматуллиным, я поинтересовался, нельзя ли привлечь для определения авторства ЭВМ. Рошаль Абдулхаевич, кстати, тонкий знаток и ценитель литературы и поклонник поэзии Мусы Джалиля, загорелся этой идеей. Он встретился в Москве с доктором математических наук, лауреатом Ленинской премии Юрием Ивановичем Журавлевым, занимавшимся задачами по распознаванию объектов с помощью ЭВМ, ввел его в курс дела и также сумел увлечь его этой новой для него задачей. Еще в 1974 году группа советских ученых под руководством Ю.И. Журавлева в содружестве с польскими учеными разработала специальную модель распознавания близких по характеру объектов с использованием обучающего материала. Привлекательная черта этого метода в том, что он строится на использовании качественных признаков.

За непосредственное решение задачи и выполнение всей математической стороны работы взялась дипломница механико-математического факультета КГУ Рахилия Шигапова. Руководство дипломной работой осуществлял Ю.И. Журавлев.

Для начала, исходя из объема работы, мы решили остановиться на тех тринадцати наиболее близких к манере Джалиля произведениях, которые вошли в четырехтомник. Задача формулировалась таким образом: какова степень вероятности их принадлежности Джалилю?

Как сразу же предупредил меня Юрий Иванович, машина не дает однозначного ответа, она может лишь прийти к заключению типа: если такие-то и такие-то исходные признаки определены достаточно четко и полно, то более вероятно, что автором является такой-то. Для упрощения задачи было решено, что речь в данном случае может идти о принадлежности произведений либо Джалилю, либо Алишу, либо кому-то третьему, условно названному Инкогнито.

Прежде всего предстояло «обучить» машину распознавать этих трех авторов по определенным параметрам на основе уже известных произведений. Поначалу я взялся за дело с известной долей скепсиса, но постепенно задача увлекла меня. Как очень скоро выяснилось, наши привычные, ставшие уже штампами оценки и готовые литературоведческие определения не очень-то подходили для ввода в ЭВМ. Скажем, при определении качественных особенностей Моабитского цикла чаще всего говорится о высоком патриотизме Джалиля (что совершенно справедливо и бесспорно). Но можно ли сказать, что у Алиша или у кого-то из начинающих «менее высокий патриотизм»? Мы говорим о гражданственности поэзии Джалиля, твердости его духа, вере в победу и т.д. Но для машины нужны были такие оценки, которые поддавались бы количественной градации. Не скажешь же, к примеру, что у поэзии Джалиля гражданственность равна единице, а у Алиша – 0,5... То же самое можно сказать и о мотивах их лирики – вере в победу, тоске по Родине, по близким, верности воинской клятве и т.д. Все они в равной мере могли проявиться и у Джалиля, и у Алиша, и у какого-нибудь неизвестного начинающего поэта. Работа с ЭВМ с неожиданной для меня наглядностью показала, насколько зыбки, приблизительны наши исследования и заключения

о творческом своеобразии писателей вообще и творчестве Мусы Джалиля в частности. Вот эта зыбкость и неразработанность филологической стороны так или иначе могла сказаться и на выводах ЭВМ.

В конце концов я остановился на двенадцати параметрах. Здесь не место перечислять и тем более обосновывать каждый из них. Отмечу лишь, что при выработке этих параметров учитывались поэтическая интонация Джалиля, ритмический рисунок, особенности рифмовки, оригинальность поэтических образов, метафор, сравнений, уверенное владение традициями татарской, русской, зарубежной классики и т.д. Помимо этих чисто филологических параметров, по настоянию математиков был введен и тринадцатый – субъективное мнение специалиста. При этом имелась в виду степень уверенности специалиста в принадлежности того или иного стихотворения Джалилю (или другому автору).

На основе этих совместно выработанных параметров мы начали анализировать вначале уже известные стихи Джалиля. Рахилия Шигапова чертила по каждому стихотворению отдельную схему с условными обозначениями и количественными выражениями того или иного параметра, затем все это вводилось в «память» машины. Такая же работа была проделана и по дошедшим до нас стихам А. Алиша. И лишь после того как машина научилась по предложенным ей параметрам распознавать эти стихи, ей были «предложены» те двенадцать стихотворений и одна пьеса, о которых я уже говорил выше.

О математической стороне работы не буду ничего говорить по той простой причине, что ничего в ней не понимаю. Скажу лишь, что Рахилия Шигапова потратила полный учебный год на стажировку в Москве у Ю.И. Журавлева для овладения методом, перевод полученных данных на язык машины и обработку результатов.

Итак, что же сказала ее величество машина по поводу этих стихов? Результаты получились не просто обнадеживающие, как принято выражаться, а, по мнению специалистов, прямо-таки блестящие. В одиннадцати случаях из тринадцати машина прямо подтвердила мнение «совета специалистов» (в данном случае – редакционной коллегии четырехтомника), лишь в одном случае – отвергла его и в одном отвергла сильному сомнению.

Вот результаты анализа на машине предложенных ей произведений (по степени убывания черт, присущих поэзии Джалиля): «Шурале» – 9,6 балла, «Последнее слово» – 7,7, «Висле» – 7,6, «Ночь. Тюрьма» – 6,8, «Марш возвращения» – 4,8, «Другу Гарифу» – 4,3, «Родина» – 3,4, «Песня» – 3,3, «Весны придут» – 2,8, «Заря» – 2,5, «Сыну» – 2.

Что представляют собой эти загадочные баллы? Это общая сумма черт, присущих поэзии Джалиля. Так что вполне понятно: чем выше общее число баллов, тем выше и вероятность принадлежности произведения Мусе Джалилю. Одновременно машина подсчитывала и число баллов «за Алиша» и «за Инкогнито». Инкогнито отпало во всех без исключения случаях. Это и понятно. Мы выбрали для анализа наиболее художественно зрелые стихи, принадлежность которых Джалилю наиболее вероятна. Уровень же Инкогнито был заранее определен нами как уровень начинающего поэта. В некоторых анализируемых стихах машина увидела и черты, свойственные поэзии Алиша: «Ночь. Тюрьма», «Висле», «Последнее слово», «Другу Гарифу», «Шурале», «Родина». Сравнив с баллами, собранными «за Джалиля», убеждаемся, что черты, свойственные поэзии Джалиля, безусловно преобладают. Во всех остальных случаях число баллов, собранных «за Алиша», менее единицы и может не приниматься в расчет.

Чтобы нагляднее показать, что скрывается за этими баллами, приведу для примера число баллов, набранных стихами самого Джалиля (откуда машине было знать, что их написал Муса? Она разбирала их в обычном порядке): «Песни мои» – 15,7 балла, «Последняя песня» – 13,2, «Прости, Родина» – 12,4, «Не верь» – 11,4. Это наиболее высокие показатели.

Теперь о стихах, с определением авторства которых машина не согласилась. Это прежде всего «Марш свободы». Результаты его анализа таковы: вероятность принадлежности Джалилю и Алишу одинакова – 0,01751376. Вероятность принадлежности Инкогнито – 0,00283480. В переводе на обычный человеческий язык это означает, что вероятность принадлежности Джалилю и Алишу равна и в одинаковой степени мала. Еще меньше вероятность принадлежности этого стиха неизвестному начинающему поэту. Что из этого следует? Очевидно, то, что существовал какой-то не учтенный нами и не заложенный в программу четвертый поэт (Курмаш, Симай или кто-нибудь другой), уровень которого был заметно выше начинающего, а творческий почерк отличался и от джалилевского, и от

алишевского. К сожалению, мы пока еще располагаем очень малыми сведениями о поэтах группы Джалиля. Это-то и поставило машину в тупик. По словам Рахили Шигаповой, машина просто «отказывалась» брать это стихотворение, оно явно не укладывалось в заданные параметры.

Примерно то же произошло и со стихотворением «Марш рассвета». Формально машина отдала предпочтение Джалилю и вроде бы согласилась с редакцией четырехтомника. Но сумма черт, свойственных поэзии Джалиля, настолько мала (менее единицы), что скорее всего и это стихотворение написано кем-то четвертым, кого не было в заданных параметрах.

Защита дипломной работы на кафедре кибернетики КГУ прошла блестяще. Рецензенты единодушно отмечали оригинальность и высокий математический уровень проведенной работы, говорили о незаурядных способностях дипломницы. Работе Р. Шигаповой была поставлена оценка «отлично», а сама она рекомендована в аспирантуру при Вычислительном центре АН СССР.

Самое же главное заключается в том, что работа показала не только возможность, но и плодотворность определения авторства с помощью ЭВМ. Пока это лишь первый, во многом пробный, этап работы. При дальнейшем усовершенствовании модели и расширении филологической базы исследования открывается возможность определения авторства всех стихотворений, приписываемых Джалилю.

Чтобы читатели могли наглядно убедиться, насколько непросто распознать авторство, приведу несколько стихотворений, приписываемых Джалилю (переводы Ю. Окунева и Н. Беляева). Два из них («Ночь. Тюрьма» и «Последнее слово») принадлежат Мусе Джалилю (во всяком случае, мнения специалистов и ЭВМ в этом вопросе не расходятся). Два других («Марш Свободы» и «Письмо-привет») внешне очень близки манере Джалиля, но, скорее всего, написаны не им. Необходимо оговориться при этом, что ЭВМ «анализировала» стихи в оригинале.

Ночь. Тюрьма

Ночь. Тюрьма. Сплошная тишина,
Ни души. Ни шороха. Ни слова.
Надвигается из темноты
Кованая поступь часового.
Мне не спится, вижу дом родной,
Дочь мою и мать, а вот и сестры...
И последнее письмо жены
Отдается в сердце болью острой:
«Милый, письма я храню твои.
На земле сильнее нет страданья:
Ждать и ждать во сне, в тоске, в любви.
Ждать, не зная, будет ли свиданье?..»
Я б вернулся с радостью к тебе,
Если бы в руках держал я волю.
Нет меча на поясе моем,
Нет зари и нет путям раздолья!
Горькой жизни ветер встретил я;
Нет ружья и нет меча, лишь бьется,
Бьется сердце в тишине ночной,
Нет меча, но сердце не сдаётся!
Ночь. Тюрьма. Сплошная тишина.
Ни души. Ни шороха. Ни слова.
Только надвигается, гремит
Кованая поступь часового.

1944 (?)

Марш Свободы

Земля задрожит, и, огонь
по врагу
взметнув до небес,
Мы с песней,

мы с песней вернемся домой,
свершив священную месть.
Спешив вперед и вперед, джигит!
Заря засияла вновь!
Отдай свободе весь жар души,
Все силы свои и кровь!
Не жить на земле нашим врагам,
покуда наши сердца
Живут надеждою и мечтой,
свободе верны до конца!

Письмо-привет

С яростью львиной бросаюсь
в бой,
Свободой дышал молодой
джигит.
Сегодня, как птица в клетке
стальной,
Тоскуя о вас, он главу
преклонит:
«Привет тебе, сердце мое,
салям...
Привет тебе, юности друг,
салям...
Привет из чужих и недобрых
стран,
Из черной тюрьмы – салям!
К тебе мы вернемся, любимый
край,
Свободу вернем, перебором
печаль,
Улыбкой, любимая, нас
встречай,
Набросив на плечи синюю шаль.
Оркестры грянут победный
марш.
Зажгутся сердца, ликованием горя.
Друзья восхищенные встретят
нас,
И в нашу честь засияет заря!»

Последнее слово

Улочкой узкой, где свет голубой,
Где мелет снега январь,
Три автоматчика – черный
конвой,
Уводят, толкая перед собой,
Джигита в ночную даль...
Огни. Переулки. Бюргеров сны.
Последний буран хулиганит.
Прощайте, ручьи небывалой весны.
Она еще грянет, грянет!
По улочке, вдаль, за фонарь
голубой,
В поле, к оврагу – прочь!
Три автоматчика – черный конвой,
Уводят, толкая перед собой,
Уводят джигита в ночь.

Несколько слов о ненайденной поэме Джалиля. В Моабитских тетрадах есть два четверостишия, объединенные общим подзаголовком – «Фрагменты». В скобках после трех звездочек написано: «Эпос Масгут Батыр». Видимо, это отрывок из большого эпического

произведения. Слово «Масгут» написано в тексте арабскими буквами так, что его можно читать и как «Москва». Сделано это, по-видимому, в целях конспирации. Первый отрывок, должно быть, передает главную идею поэмы:

Придет, придет Москва! Нас вызволит Москва
Из темной ямы хищника-урода.
На красном знамени Москвы горят слова:
«Жизнь и свобода».

Второй отрывок, по-видимому, отражает лирическую тему произведения:

Юность, юность, сердце обжигая,
За собой меня ты не зови:
Дочка у меня уже большая,
Старикан я. Мне не до любви.

Вот и все, что мы пока знаем об этой поэме.

Бывший узник берлинской тюрьмы Тегель, а позднее учитель в городе Архангельске Михаил Иконников рассказывает, что как-то в начале лета 1944 года за попытку передать записку товарищу надзиратель жестоко избил его. Иконникову пришлось обратиться в тюремную амбулаторию. В очереди на прием он увидел своего старого знакомого Ахмета Симаева. Они незаметно кивнули друг другу. Пропустив несколько человек, Симаев оказался рядом. Стараясь не привлечь внимания дежурных надзирателей, Симаев прошептал, что получено утверждение смертного приговора. «Нужно во что бы то ни стало спасти тетрадку со стихами Джалиля», – сказал он и передал ее Иконникову.

Завернув в плотную бумагу, Иконников подвязал блокнот к окну камеры. Даже во время самых тщательных обысков немцам не удалось его обнаружить. Но однажды, когда он достал блокнот, чтобы убедиться в его сохранности, в камеру ворвался надзиратель и отобрал его. За хранение недозволенных вещей карали очень строго. Иконников думал, что его ожидает по меньшей мере карцер. Однако ночью его вызвал к себе начальник отделения тюрьмы фельдфебель Генрих и вернул блокнот, посоветовав в дальнейшем быть осторожнее. Позднее Иконников слышал, что фельдфебеля арестовали за содействие побегу немецкого коммуниста.

Как-то раз в тюрьму попала бомба. Иконникова контузило, но, едва придя в себя, он позаботился о тетрадке, которая, к счастью, была цела.

В начале мая 1945 года Иконников был освобожден наступающими частями Советской Армии. Его направили на сборный пункт. Здесь Иконников показал блокнот Джалиля группе бывших военнопленных-татар. Собравшись вместе, они читали стихи, и многие, по словам Иконникова, не могли сдержать слез.

Комендант лагеря попросил сдать документы и вещи погибших в плену офицеров. Коротко рассказав историю Джалиля, Иконников отдал тетрадку коменданту и попросил непременно переслать ее в Союз писателей Татарии.

Долгие годы он был убежден, что опубликованные в печати стихи Джалиля взяты именно из этого блокнота. И только много позднее выяснилось, что тетрадь утеряна.

По словам Иконникова, блокнот Джалиля был размером примерно семь на девять сантиметров, сшит из серой и желтой оберточной бумаги, в обложке из серого картона, весь заполнен убористым арабским шрифтом. Всего в тетради было примерно тридцать страниц, на которых записано около сорока стихотворений. На последней странице – завещание Мусы и фамилии товарищей, приговоренных вместе с ним к смертной казни. В блокнот была вложена написанная по-русски записка с адресом, которую дал Ахмет Симаев.

Предпринятые в последние годы упорные поиски не дали пока никаких результатов. Удалось найти только одного из тех, кто читал стихи Джалиля на сборном пункте и подтвердил рассказ Иконникова.

Каковы перспективы дальнейшего поиска ненайденных песен Джалиля? Думается, необходимо активизировать розыск за рубежом. Вполне возможно, что где-нибудь в архивах гестапо еще лежат либретто Джалиля «Шурале» и блокноты со стихами, отобранные у поэта при аресте. Наиболее же перспективными представляются мне поиски книг из тюремных

библиотек Моабита и Шпандау. Думается, все они не могли исчезнуть. Если Джалиль делал многочисленные записи на полях и чистых листах библиотечных книг, то что-нибудь непременно должно сохраниться.

ГИТЛЕР ХОТЕЛ СТАТЬ ХАНОМ У ТАТАР

В последнее время среди части татарской молодежи начинают распространяться весьма своеобразные представления об Отечественной войне. Усиленно муссируются слухи (видимо, кто-то распространяет их намеренно), что, дескать, фашистская Германия собиралась предоставить свободу и независимость угнетенным народам Советского Союза. Даже подвиг поэта-патриота Мусы Джалиля ставится под сомнение: он, дескать, отстаивал интересы не своего народа и его государственности, а «колониальную политику имперской России».

Дело доходит до того, что иные юные горячие головы не только скептически оценивают подвиг своих отцов и дедов в минувшей войне, но и ставят под сомнение результаты Отечественной войны. Если бы, дескать, победил Гитлер, мы бы, возможно, жили в независимом татарском государстве, зарплату получали в марках, а по вечерам пили баварское пиво...

Исследование Искандера Гилязова

Баварское пиво, конечно, отличная штука... Что же касается намерений Гитлера и его политики в отношении малых народов Советского Союза, в том числе и татар, то здесь дело обстоит куда сложнее...

Именно этим проблемам посвящена монография молодого ученого Искандера Гилязова «На другой стороне. Коллаборационисты из поволжско-приуральских татар в годы второй мировой войны». Монография посвящена изучению проблем, которые в нашей исторической литературе до сих пор почти не освещались. Автор более года провел в Германии, работал в доселе закрытых немецких архивах, изучил гору материалов о попытках нацистской Германии привлечь к военному и политическому сотрудничеству восточные народы СССР. В основном речь в книге идет об истории так называемого Волго-татарского легиона и политике Гитлера в отношении поволжских татар.

Приведем некоторые факты из этой монографии.

Знал ли Гитлер о существовании татар?

Еще в 1930 году в беседе с Отто Штрассером Гитлер выразил мнение, что Советский Союз представляет собой образование «со славяно-татарским телом и еврейской головой». Примерно такого же мнения придерживалась позднее и официальная нацистская пропаганда. Так, центральный орган фашистской партии – газета «Фолькишер беобахтер» 25 июня 1941 года писала, что «большевизм – это не что иное, как современная форма той силы, которая была приведена в движение Аттилой и Чингисханом».

В первый период войны официальная печать Германии то и дело именуется Советский Союз «славяно-монгольской смесью народов». Татары если и упоминаются, то непременно как дикари-кочевники, которые за двести лет владычества оставили свой неизгладимый след в духовном и психическом складе огромной страны (отрицательный, разумеется). Между татарами и большевизмом проводится прямая параллель: «Большевизм – это политическое кочевничество, которое восходит к последствиям татарского нашествия» (журнал «Национал-социалистский ежесеместник», 1941, авг.). Основной же целью похода на Восток провозглашается «истребление азиатского (читай: татаро-монгольского.– *Р.М.*) влияния на европейскую культуру».

Ни о каких национальных государствах на территории Советского Союза в этот период нет и речи. На знаменитом совещании 16 июля 1941 года Гитлер четко сформулировал стоящие перед фашистской Германией задачи: «Перед нами стоит задача разрезать территорию этого громадного пирога так, как это нам нужно, с тем, чтобы, во-первых, господствовать над ней,

во-вторых, управлять ею и, в-третьих, эксплуатировать ее». На этом же совещании Гитлер формулирует свой «железный принцип» – только немец вправе носить оружие. Ни один из представителей народов СССР, а тем более «азиаты», «дикари», «кочевники», такого права не имеют.

О том, какими нацисты старались представить своему народу «азиатов», наглядно свидетельствует пропагандистская брошюра «Унтерменш» (т.е. «недочеловек, получеловек»). Именно так именовали татар и представителей других восточных народов гитлеровцы): «Их раскосые глаза горят жаждой убийства, и за ними стоит пустыня, убийство, пожары и уничтожение». Татары ассоциируются в этой брошюре с «гуннскими ордами», сметающими на своем пути все, с «апокалипсисом воочию, оставляющим после себя огонь и смерть, насилие, убийства и ужасы».

В листовках и пропагандистских брошюрах, которые печатались в фашистской Германии миллионнами экземпляров, врагу непременно придавались «татарско-азиатские» черты.

Практика нацизма

На практике эти теоретические установки проявлялись в так называемой зачистке лагерей для военнопленных. Согласно директиве шефа имперской безопасности Гейдриха специальные команды «очищали» лагерь для военнопленных от «комиссаров», евреев и других «нежелательных элементов». Обнаруженные И. Гилязовым документы свидетельствуют, что в начальный период войны в лагерях для военнопленных такие команды расстреливали не только евреев, но и всех прошедших обряд обрезания пленных, в том числе и татар, и представителей кавказских и среднеазиатских народов. Шеф гестапо Мюллер был искренне удивлен, узнав, что магометане практикуют обрезание. И, желая привлечь на свою сторону «азиатов», издал специальный приказ, требуя, чтобы во время «зачисток» это приняли во внимание.

Но это произошло уже тогда, когда стало ясно, что идея «блицкрига» – молниеносной войны – провалилась. После громадных потерь в живой силе и технике вермахт стал испытывать острую нужду в «пушечном мясе». Вот тогда-то фюреру и предложили использовать в своих целях «исламский фактор».

«Исламский фактор»

В августе 1942 года министерство пропаганды Геббельса дало указание прессе не включаться в полемику против татар и туркестанцев, а еще через несколько месяцев пресс-службой этого министерства было дано такое пропагандистское указание: «Если мы захотим высказывать недружественные мысли в отношении татар, которые нам, немцам, ничего плохого никогда не сделали... то мы становимся запоздалыми жертвами старой царской агитации... Для того чтобы найти козла отпущения за все те прегрешения и ущерб, имевшиеся уже в старой России, все мусульманские народы именовались нами «ужасными татарами», чьим средневековым господством и объяснялись все современные противоречия».

Началось формирование так называемых легионов, в том числе и легиона «Идель-Урал» из поволжских татар. И Гитлер с чисто пропагандистской целью решил изображать из себя покровителя тюркских народов и «духовного отца» ислама. Об изменении официальной нацистской политики в отношении «азиатов» свидетельствуют и те «шуточки», которые стал позволять себе Адольф Гитлер.

В декабре 1942 года он заявил Мартину Борману: «Я намереваюсь стать религиозным деятелем. Скоро я буду высшим главой татар. Арабы и марокканцы уже называют мое имя в своих молитвах. А у татар я стану ханом. Только одно я не могу себе позволить: есть вместе с ними баранину. Я вегетарианец».

Несмотря на все эти пропагандистские штучки, гитлеровцам так и не удалось склонить татар к борьбе против своей Родины.

Ни одно из подразделений Волго-татарского легиона так и не приняло участия в боевых действиях против Советской Армии. А многие сотни и тысячи военнопленных-татар перебежали к партизанам и с оружием в руках воевали против фашистских полчищ. И

немалая роль в разложении легиона принадлежит подпольной организации Мусы Джалиля.

ГАЙНАН КУРМАШ

Смелых узнают всегда в бою,
В горе проверяется герой.

Муса Джалиль. О героизме

Победу мы отпразднуем, друзья,
Мы это право заслужили,—
До смерти – твердостью и чистотой
Священной клятвы дорожили...

Муса Джалиль. Утешение

Подвиг Джалиля, имя Джалиля получили широчайшую, поистине мировую известность.

Но ведь Джалиль был не один. Рядом с ним, плечом к плечу встретили смерть десять его боевых товарищей – и ни один из них не дрогнул.

К сожалению, о боевых друзьях поэта-героя мы знаем пока очень мало. Имена некоторых из них стали известны всего несколько лет назад, после находки в Берлине новых документов о казни советских патриотов.

Нет сомнения в том, что жизнь каждого из них достойна целой книги. Пока же считаю необходимым познакомить читателя хотя бы с теми скудными, отрывочными сведениями о героях-джалильцах, которые удалось собрать в последние годы.

Первым под нож гильотины фашистские палачи бросили Гайнана Курмаша... Это не было простой случайностью – Второй имперский суд в Дрездене не без оснований признал Курмаша одним из главных «зачинщиков» подпольной деятельности в легионе.

Довоенная биография Гайнана Курмаша уместается в нескольких строках. Родился 27 февраля 1919 года в городе Актюбинске. Там же окончил шесть классов, некоторое время работал наборщиком, затем учился в Парангинском педагогическом техникуме (Марийская АССР). Увлекался литературой, посылал свои первые, еще очень неуверенные стихи в татарский детский журнал «Октябрь баласы» («Дитя Октября»), редактором которого был Муса Джалиль. Стихи, правда, не напечатали, но Муса написал Гайнану большое письмо, в котором подробно анализировал достоинства и недостатки его стихов, советовал серьезнее относиться к литературе.

После окончания техникума несколько лет работал учителем в Парангинском районе и в городе Актюбинске. Руководил школьной художественной самодеятельностью, одно время даже работал по совместительству худруком в одном из клубов Актюбинска. Его уважали и любили и учащиеся и педагоги. В 19 лет Гайнана назначили директором школы...

В 1939 году Курмаша призвали в армию. Он окончил школу младших командиров, получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в боевых операциях против белофиннов. Перед началом Отечественной войны служил в Гомельской области. С первых же дней войны принимал участие в боях. В армии Курмаш изучил радиodelo, и его, как человека абсолютно надежного и проверенного, забросили во вражеский тыл со спецзаданием. С этого задания Гайнан не вернулся.

Из воспоминаний Фарита Султанбекова

«В одиночной камере варшавской тюрьмы я увидел в окно Гайнана Курмаша, которого вывели на прогулку. Он был в своей обычной военной форме, только без ремня. Держался подтянуто и бодро. Курмаш заметил меня и приветственно помахал рукой.

На следующий день Курмаш приветствовал меня первым и незаметно для стражника, но так, чтобы видно было из окна, обронил на землю белый бумажный квадратик. Выйдя на прогулку, я поднял его и, вернувшись в камеру, прочел. Там было написано: «Не забывай клятвы». Оторвав узенькую полоску, я нацарапал ответ: «Умру, но не забуду». На следующий день я обронил записку на том же месте и видел в окно, что Курмаш ее подобрал.

Через несколько дней мне довелось встретиться с Курмашем в тюремном душе. Он сумел

подсказать мне, как держаться на допросах, что отвечать на тот или иной вопрос.

А потом начались кошмарные дни и ночи допросов, пытки, побои, издевательства... Больше я Курмаша уже не видел...»

Из воспоминаний Рушата Хисамутдинова

«Курмаш для меня больше, чем просто боевой товарищ. Ему я обязан жизнью. Какой это был замечательный человек! Душевный, мягкий, деликатный и в то же время твердый как кремль.

Однажды – это было в Тегельской тюрьме – меня избили до потери сознания и полумертвого бросили в камеру. На следующий день следователь заговорил со мной мягким и вкрадчивым тоном:

– Мне вас жалко, молодой человек. Вы человек образованный, у вас хорошая мирная профессия, с которой нигде не пропадешь (он знал, что я по специальности ветеринарный врач). Зачем так мучить себя? Нам все известно, ваши товарищи давно признались, сейчас их никто не беспокоит. Только признание может облегчить вашу участь. Конечно, вы понесете наказание, но жизнь вам будет сохранена. Если же будете упорствовать, я не гарантирую, что останетесь живым...

А я упорно твердил свое:

– Мне не в чем признаваться.

Вдруг следователь перевел разговор на Курмаша, принялся расспрашивать, что я знаю о нем. Я был начеку и старался отвечать осторожно. Ведь немцы знали, что мы совместно работали в музыкальной капелле.

Следователь с сожалением покачал головой: вот вы, мол, стараетесь выгородить Курмаша, а он все про вас рассказал... И протягивает мне листы с показаниями Курмаша.

Я взглянул – и сердце мое упало. В показаниях говорилось обо всем том, что я до сих пор упорно отрицал. Я едва не клюнул на эту удочку. Но какое-то подсознательное чувство подсказало мне: что же им еще надо от меня, если и без того все известно? Нет, что-то тут не так. И я сказал:

– Все это неправда. Не мог Курмаш давать таких показаний. Мало ли что можно написать на бумажке... Устройте мне с ним очную ставку.

Я думал, следователь, по своему обыкновению, накинется на меня, будет кричать, бить по голове, но он, видимо, решил на этот раз быть любезным до конца.

– Хорошо, – говорит, – будет вам очная ставка.

Меня увели. И надо же так случиться, что на другой день, когда меня выводили на прогулку, я увидел в коридоре Курмаша. Надзиратель немного отстал, и мы смогли перекинуться несколькими словами. Не успел я рта раскрыть, как Гайнан зашептал:

– Как же так, Рушат-абый? Неужели ты меня выдал?

Я даже оторопел.

– Кто, – говорю, – сказал?

– Следователь...

– А мне, – говорю, – следователь сказал то же самое про тебя, даже показания предъявил...

В этот момент подбежал надзиратель, заорал на нас, растолкал в разные стороны. Но на душе сразу как-то потеплело.

Через несколько дней состоялась очная ставка. Двое стражников ввели в комнату следователя Гайнана. Только тут я смог как следует рассмотреть его. Он осунулся, похудел. Лицо сплошь в ссадинах и кровоподтеках. Сидел он как-то неестественно выпрямившись. Видимо, крепко доставалось ему во время допросов. Впрочем, я, наверно, выглядел не лучше.

Следователь говорит Курмашу:

– Повторите свои показания о подрывной деятельности Хисамутдинова.

Курмаш пожал плечами и говорит:

– Ни о какой подрывной деятельности Хисамутдинова ничего не знаю и никаких показаний о нем я не давал.

Следователь даже побелел весь.

– Кто, – кричит, – распространял листовки в легионе?

– Листовки распространял я один, – твердо отвечает Курмаш.

По знаку следователя двое эсэсовцев схватили Курмаша, бросили на пол и принялись избивать стальными прутьями, топтать сапогами...

Меня снова увели. Потом еще несколько раз вызывали на допросы, но уже не били и не пытали. Курмаш отвел от меня беду, принял на себя всю вину, все муки и истязания. Больше мне не пришлось встречаться с Курмашем, но те, кто видел его на прогулке после «бесед» со следователем, говорили, что он был сильно изувечен и хромал».

АБДУЛЛА АЛИШ

«Каждая встреча с этим человеком, незаметным со стороны, но при первом же знакомстве согревавшим тебя каким-то внутренним теплом, человечностью и добротой, оставляла на негативе памяти четкий, не стираемый временем отпечаток. Его легко представить среди своих собратьев по перу. Он избегает быть в центре внимания и держится обычно чуть в сторонке, внимательно, не перебивая, слушая окружающих. В его скромности нет никакой позы. При случае он и сам не прочь рассказать веселую историю, звонко рассмеяться и рассмешить других. Чувство юмора и жизнелюбия было присуще ему в высшей степени».

Гази Каишаф

«Алиш был добродушным, тихим, скромным, но до страсти любил шутки, песни, веселье. Его тактичность, мягкость и задушевность помнятся мне до сих пор. Жил среди нас красавец человек, а мы не замечали...»

Байназар Альменов, художник

Джалиль посвятил Алишу одно из лучших своих стихотворений – «Другу»:

Мой друг, ведь наша жизнь – она лишь искра
Всей жизни Родины – страны побед.
Пусть мы погаснем – от бесстрашной смерти
В отчизне нашей ярче вспыхнет свет.
...И если молодости ствол подрубят,
В народе корни не исчезнут ввек.
И скажут юные:
«Вот так, отважно,
Смерть должен встретить каждый человек!»

Абдулла Бареевич Алишев родился 15 сентября 1908 года в деревне Куюки Куйбышевского района Татарской АССР. В 1927 году после окончания школы-семилетки поступил учиться в Казанский землеустроительный техникум. Еще в школе пробовал писать стихи, в техникуме помещал статьи, рассказы, стихотворения в рукописном журнале литературно-творческого кружка. Окончив техникум, работал мелиоратором в Мензелинске, десятником на строительстве КазГРЭС, техником на стройках Казани.

В 1933 году Алиш перешел на журналистскую работу. Был ответственным секретарем журнала «Техника» и «Пионер каляме» («Пионерское перо»), а перед самой войной – редактором Татарского радиокомитета. В 1938 году поступил учиться на вечернее отделение Казанского педагогического института. Но окончить институт не успел – помешала война.

Алиш был человеком увлекающимся. Съездив в середине тридцатых годов в Феодосию, он был так восхищен полотнами художника Айвазовского, что даже сына своего в его честь назвал Айвазом. С одинаковой энергией он брался и за повесть, и за пьесу, и за очерк, и за стихи, увлекался техникой, музыкой. Но была одна страсть, которую Алиш пронес через всю жизнь и которая во многом определила его творческий путь. Это – любовь к детям.

Алиш часто бывал в школах, где все его знали. Стоило ему переступить порог школы, как классы с быстротой молнии облетала весть: пришел «дядя, который рассказывает сказки».

Свою увлеченность он умел передать и детям. Из числа его учеников вышли такие известные художники, как Харис Якупов и Лотфулла Фаттахов. А скольким он сумел привить любовь к литературе, развить чувство прекрасного! Достаточно назвать хотя бы таких

писателей, как Атилла Расих и Джавад Тарджиманов, которые в свое время посещали организованный Алишем литературно-творческий кружок и стремились во всем подражать ему.

В 1931 году вышел первый сборник рассказов Абдуллы Алиша «Знамя пионерского отряда». В следующем году был опубликован его большой очерк – «Кабан побежден», посвященный строительству Казанской тепловой электростанции на озере Кабан. Алиш более года проработал на этой стройке десятником и позднее не раз возвращался к этой теме (повесть «У светлого озера», брошюра «Ленинский комсомол – шеф над электричеством» и др.).

В середине тридцатых годов Алиш уверенно входит в литературу и получает широкое признание как один из ведущих детских писателей. Критика положительно отзывалась о его книгах «Волны», «Клятва», «Вдвоем с Ильгизом», «Мой брат» и других. Он пробует свои силы и в области драматургии. В театрах республики шли пьесы Алиша «Соседи» (1934 г.), «Звезда» (1935 г.), написанные в содружестве с А. Ахметом. А перед самой войной, в 1941 году, вышла одноактная пьеса Алиша «Маленький узник», в которой писатель поднимает животрепещущую тему борьбы против фашизма. Думал ли Алиш, работая над пьесой, что всего через несколько месяцев он сам станет узником...

Муса Джалиль и Абдулла Алиш работали перед войной в одном здании, встречались почти ежедневно, дружили семьями. Джалиль, сам много писавший для детей, внимательно следил за успехами своего друга, написал несколько рецензий на его книги и пьесы.

...Муса и Алиш подали в военкомат заявления в одно время, но на фронт Алиш попал раньше.

Сейчас накопилось немало свидетельств о героической жизни и борьбе Алиша.

Осенью 1941 года в окружении под Брянском раненый Алиш попал в плен. В его блокноте сохранилась лаконичная запись: «Зиму 1941 года провел в лагере для военнопленных близ литовского города Алитус. В лагере было 17 тысяч пленных. За зиму погибло 14–15 тысяч».

Встретившийся с ним в одном из лагерей Газим Кадыров рассказывает, что однажды фашисты жестоко избили Алиша и бросили в подвал. К нему применили пытку светом – заставили всю ночь смотреть на наведенную прямо в глаза яркую электрическую лампочку.

В лагере появлялись рукописные листовки с последними сводками Совинформбюро и призывами не верить гитлеровской лжи. Хотя Алиш не обо всем рассказывал Кадырову, но тот чувствовал, что Абдулла тоже имеет какое-то отношение к этим листовкам.

В начале 1943 года в лагере Вустрау под Берлином Алиш встретился с Джалилем. С этого времени в жизни Алиша начинается период организованной конспиративной борьбы. По решению подпольного комитета Алиш дал согласие работать сотрудником литературного отдела в газете «Идель-Урал». Это дало ему доступ в типографию и позволило наладить регулярное печатание антифашистских листовок.

Однажды Алиш написал стихотворение «Лжец». В нем он высмеял липового «президента» Шафи Алмаса, разоблачив его лживую и продажную сущность. Отпечатав стихотворение на машинке, Алиш давал его прочесть самым надежным из сотрудников.

В начале 1944 года Алиш сумел передать из тюрьмы записку, в которой говорилось, что все они арестованы как государственные преступники, ждут суда и не надеются на благополучный исход. По словам бывших военнопленных, Алиш обратился с письмом к Шафи Алмасу. В нем он писал примерно следующее: «Я ничего не хочу для себя, прошу Вас только об одном: спасите Мусу. Он нужен всему татарскому народу».

Шафи Алмас, как рассказывают, получив это письмо, только выругался.

28 января 1944 года Алиш написал письмо родным. Его вынес на волю и передал в Казань сосед Алиша по камере, бельгийский патриот Эмиль Майзон.

«Моя дорогая подруга жизни, любимая мать, мои дорогие дети, родные и друзья! Шлю вам, быть может, последний свой пламенный привет.

...В августе 1943 года был арестован по обвинению в распространении листовок среди татарских военнопленных, так называемых легионеров... Мы просидели полгода в Берлинской тюрьме. Суд должен состояться 7.2.44 г. в Дрездене. Пришел, боролся и ушел. Такова уж наша, видно, судьба. Мы останемся до последнего вздоха верными нашему народу. Ах, как хочется жить, увидеть вас, мои дорогие, и рассказать все пережитое... Много написанных и

обдуманной вещи уходят с нами в забвение.

Целую вас крепко-крепко (особенно моих Алмаза и Айваза). Постарайтесь дать им образование.

Прощайте.

Ваш верный сын, супруг и друг

А. Алиш».

Рениеро Ланфредини, проводивший своих соседей по камере – татар – в последний путь, вспоминает, что они, даже уходя на казнь, подбадривали его, старались поселить в его сердце надежду.

До нас дошло всего пятнадцать стихотворений Алиша – незначительная часть того, что было создано им в тюремной камере. И каждая строка этих стихотворений дышит верностью Отчизне, воинской клятве.

Золото – мусор.

Джигит ли отдаст

Край родной за золота звон?

Нет! Ибо только подлец продаст

Мать, которою вскормлен он.

Эти строки перекликаются со словами Мусы Джалиля:

Чем, шкуру сохранив, забыть о чести,

О, пусть я лучше стану мертвецом!

Какая ж это жизнь, когда отчизна,

Как Каину, плюет тебе в лицо?!

В условиях тюремной изоляции Муса и Алиш, видимо, не имели возможности общаться, обмениваться мыслями. Но думали они об одном, одинаково верили в победу и сделали все, что было в их силах, чтобы хоть на день, хоть на час приблизить ее приход.

Не только о своей воле, а о свободе родной отчизны мечтали они в последние минуты своей жизни:

Если б вдруг сказали мне:

«Для жизни

По душе ты место выбирай»,

Я б ответил:

«Я стремлюсь к отчизне:

Лишь она –

Для сердца лучший край!»

Скажут:

«Счастлив будешь,

Но на годы

Родину придавит кабала».

Я скажу:

«Не надо мне свободы,

Лишь бы вольной Родина была...»

В этих строках Алиша звучит та же непреклонная воля и мягкий, проникновенный лиризм, которые свойственны Моабитским тетрадам Джалиля.

АХМЕТ СИМАЕВ

Невысокий, худой, подвижный, с монгольским разрезом хитровато прищуренных глаз, он обладал способностью мгновенно загораться и так же быстро остывать. Любил шутки, анекдоты, всякие веселые истории и мастерски рассказывал их. Порой мог прикинуться таким простачком, недотепой. Но того, кто «клевал» на эту удочку, немедленно жестоко разыгрывал и выставлял на всеобщее посмеище. Иные упрекали его в несерьезности, легкомысленности. И только ближайшие друзья знали, что за маской беспечного рубахи-парня и балагура скрываются и высокая образованность, и недюжинный ум, и прочный

внутренний стерженок, который нельзя было ни согнуть, ни сломать. Таким встает перед нами Симаев по воспоминаниям современников.

Ахмет Садритдинович Симаев родился 28 декабря 1915 года в деревне Усть-Рахмановка бывшего Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне республика Мордовия). В 1928 году он переехал к старшему брату, работавшему на одном из московских заводов. Учился в школе-семилетке, закончил строительный техникум, получил специальность лаборанта по бетону. С 1933 года работал на строительстве Московского метрополитена. На ударной комсомольской стройке мужала его воля, закалялся характер. Здесь же он получил и первые навыки газетчика.

В те годы выходила газета на татарском языке «Коммунист на Метрострое». Ахмет вскоре сделался ее постоянным корреспондентом. Он писал о достижениях в труде, рассказывал о хороших людях, бичевал лодырей и разгильдяев. Пенсионер Г. Охтямов, работавший вместе с Симаевым, вспоминает, как однажды Ахмет написал большую критическую статью о неполадках в работе бетонщиков. Статья вызвала на стройке большой отклик, и недостатки, о которых он писал, были устранены.

В той же газете Ахмет опубликовал и свои первые стихи. Материал для них он черпал в окружающей жизни. Об этом говорят сами названия его стихотворений: «Метрострой», «Бригадир Кугошев», «Письмо из колхоза»... В его стихах показан нелегкий, но почетный труд горняков. Перед глазами встают длинные подземные тоннели, по которым вот-вот побегут голубые экспрессы. Мы видим, как вспыхивают в кромешной тьме яркие вспышки электросварки, тускло светятся фонари. С трудом поддается спрессованный тысячелетиями грунт, каплет за воротник ржавая вода. Но проходчики идут и идут вперед.

Позднее, уже в фашистских застенках, Ахмет Симаев не раз повторял, что его специальностью была проверка бетона на прочность. «А теперь, – говорил он, – наступила пора испытания на прочность человеческих характеров, человеческой воли».

В тридцатые годы в Москве при Татарском клубе был организован литературно-творческий кружок, которым руководил Джалиль. Здесь-то и встретились впервые будущие соратники по подполью. Муса заметил талант Симаева, поддержал его, делающего первые шаги в литературе. Нередко занятия кружка затягивались за полночь, и возбужденная молодежь, не переставая спорить и читать на ходу стихи, шла провожать своего вожака по гулким и пустынным в этот час улицам Москвы до Столешникова переулка. Писатель Абдурахман Абсалямов, который в те годы тоже посещал кружок Джалиля, рассказывает, что Симаев был одним из самых активных кружковцев. Нередко он приводил на занятия даже своего брата Фаттаха – человека, далекого от литературы.

Творческие встречи Симаева и Джалиля постепенно переросли в дружбу, которая продолжалась и после того, как Ахмет, решив целиком посвятить себя газетной работе, переехал в город Воскресенск под Москвой и поступил на работу в редакцию районной газеты «Коммунист». За несколько лет (с 1936 по 1940 год) он прошел путь от помощника корректора до ответственного секретаря редакции.

В 1939 году Ахмет Симаев поступил заочно на литературный факультет Московского педагогического института. Но через год, в связи с призывом в армию, ему пришлось прервать учебу.

Симаев много писал, переводил с татарского на русский и с русского на татарский (с особенным увлечением он переводил стихи Есенина), но печататься не спешил. Уходя в армию, он оставил папки со своими рукописями в редакции. Эти папки, как пишет нынешний секретарь «Коммуниста» Сергей Кристи, были уничтожены вместе со всем редакционным архивом при приближении немцев к Москве.

Кристи высказывает предположение, что, возможно, стихи Джалиля в тюрьме на русский язык переводил именно Ахмет Симаев.

С первых же дней войны Симаев на фронте. В армии он изучил радиodelo и парашютный спорт. В качестве разведчика-десантника его не раз сбрасывали с ответственными заданиями в глубокий тыл врага.

Ахмет Симаев не любил показывать на людях свои чувства, и многим поэтому казалось, что он суховат. И только самые близкие знали, как горячо, страстно умел он любить, мечтать, ненавидеть... В немногих сохранившихся лирических стихах Симаева перед нами

открываются эти стороны его натуры.

Вот строки из стихотворения, посвященного жене Валентине. (Она в это время ждала ребенка.) Симаев сам перевел стихотворение на русский язык:

Скоро, очень, очень скоро
Ненадолго ты покинешь дом,
Потемнеют чуть на окнах шторы,
Поселится скука над углом.
Буду ждать с волнением, зная,
Что вернешься не одна – вдвоем.
Принесешь, как дар теплоты мая,
Схожий с нами розовенький ком...

Перебираю письма Симаева к жене:

«...Валя, ради бога, береги свое здоровье и нашу с тобой дочь, пойми ты, господи, как я вас люблю, как хочу вас видеть.

...2 марта 1941 г. Даурия».

«...Страшно переживаю войну, навязанную моему жизнерадостному свободному народу этими насильниками, черными извергами рода человеческого.

16 сентября 1941 года».

«Фронт. Ночь холодная и темная, но сравнительно спокойная; лишь изредка, разрывая тишину и сотрясая землю, охают дальнобойные орудия. В землянке тесно, дымно и темно. Ребята, полулежа, почти друг на друге, спят крепким, но тревожным сном, часто тормошась и бормоча. Ночь длинная, а сон их короткий. Скоро начнется рассвет, с грохотом, треском, в огне появится день, боевой день! Зима, война, фронт...

Во мне еще не отошли привычки давней юности моей, по-прежнему люблю думать наедине, когда кругом все спит и молчит. Вот и сейчас сижу и думаю, думаю; хочу написать тебе хорошее письмо, такое, чтобы оно хоть немного изгладило, уменьшило твою тревожную тоску, чтобы оно донесло до тебя теплоту моего сердца, искринки моей живучей души и чтобы ты никогда не думала о том, о чем ты невольно думала до этого и еще больше будешь думать после этого письма.

Но что я могу написать тебе сейчас, кроме сказанного, да еще нескольких заранее известных, какой-то сот раз повторяющихся общих фраз о том, что пока жив и здоров, что соскучился, тоскую по тебе, страшно хочу видеть тебя!

15 ноября 1941 года».

На последнем письме Симаева стоит дата – 12 февраля 1942 года. В нем он сообщает жене, что находится в длительной командировке «на своей, но пока еще не нашей земле».

В начале марта 1942 года, когда его собирались высадить с особым заданием в тылу немецких войск, самолет, в котором летел Симаев, был сбит над территорией, занятой врагом.

С. Кристи в своей статье «Ахмет Симаев – друг Джалиля» (Журналист, 1968, № 9) высказывает любопытное предположение. По его мнению, Симаев, десантник-разведчик, имевший опыт организации подпольных групп в тылу врага, был одним из инициаторов подпольной борьбы в Берлине.

Н.И. Лешкину удалось найти ряд секретных немецких документов, косвенно подтверждающих это предположение. 10 марта 1942 года отдел один-це группы немецких войск «Центр» дал телеграмму в Берлин, в отдел пропаганды ОКВ. В ней сообщалось, что на участке четвертой немецкой танковой армии (Гжатск – Вязьма) захвачен в плен Ахмет Симаев, который может быть использован в интересах рейха. 11 марта того же года пришло указание из Берлина направить пленного в лагерь ЗД. (Под этим шифром значилась школа пропагандистов в местечке Вульгайде под Берлином.)

С лета 1942 года А. Симаев стал работать в редакции радиостанции «Винета» в Берлине. В конце 1942 или в начале 1943 года Симаев от кого-то узнал, что в лагере Вустрау находится Муса Джалиль, и делал неоднократные попытки связаться с ним. Известно, что он передавал Мусе через третьих лиц хлеб, продукты, возможно, какие-то записки. Известно также, что Симаев хлопотал об освобождении Джалиля из лагеря. Еще до приезда Мусы Джалиля в

Берлин Симаев развернул подпольную работу. Он, в частности, слушал и записывал сводки Совинформбюро и распространял их среди так называемых «восточных рабочих» – советских людей, насильно угнанных в Германию... Пользуясь свободным доступом в студию, он сумел собрать передающую аппаратуру. При аресте у него на квартире был обнаружен готовый к действию передатчик. Очевидно, Симаев намеревался установить связь с советским командованием, но удалось ли ему сделать это, сказать трудно. Во всяком случае, в обвинительном заключении, вынесенном Вторым имперским судом, он назван советским шпионом, засланным в Германию с диверсионными целями.

Как корреспондент радио, Симаев получил свободу передвижения в зоне Большого Берлина и всей Германии, он стал своим человеком в доме Шафи Алмаса, посещал пресс-конференции в министерстве оккупированных территорий Востока, имел даже личную аудиенцию у рейхсминистра Розенберга. Все это отводило от него подозрения и давало возможность развернуть подпольную работу.

Важные подробности о деятельности А. Симаева в тылу врага сообщил еще один оставшийся в живых участник подпольной группы – Файзрахман Мингалин.

Он служил на пограничной заставе. В первый же день Отечественной войны застава осталась в окружении. Раненый, расстреляв все патроны, Ф. Мингалин попал в руки врага. Началась долгая дорога мучительных скитаний по лагерям для военнопленных. В конце 1941 года он попал в специальный лагерь Вульгайде. Здесь познакомился с бывшим журналистом москвичом Ахметом Симаевым.

Симаев был молчалив и угрюм, но иногда вдруг «заговаривался», с жаром рассказывал о любимых книгах и кинокартинах. Время от времени его уводили куда-то на допрос. Возвращался в барак еще более угрюмым и замкнутым. Хотя расспрашивать в таких случаях не принято, как-то Ф. Мингалин решился, спросил. Тогда и Симаев заинтересовался: кто он, где работал, кем и где служил в Советской Армии, при каких обстоятельствах попал в плен.

«Я все рассказал о себе. Симаев внимательно приглядывался ко мне, но ничего не сказал. Потом мы встретились снова. На этот раз Симаев долго говорил о себе. Поведал о том, что немцы создают легионы из военнопленных различных национальностей, начали выпускать газеты, организовали радиоотделы и национальные комитеты. Кадры для работы в этих организациях будут подбирать большей частью из пленных, предложили работу и ему. После этих слов я засомневался и сказал ему: «Это же прямая измена Родине!»

«Используя такие возможности, можно работать на пользу Родине, – ответил он. – Ты, Файзрахман, не удивляйся, если я соглашусь на их предложение и уйду из лагеря, я этим открою для себя путь, чтобы помочь товарищам, проливающим сейчас на фронте кровь за свободу Родины. Если мы настоящие советские люди, то должны любым путем помогать своим соотечественникам. А чтобы начать борьбу, надо сначала освободиться от оков, то есть выйти из лагеря, объединиться с надежными друзьями. Если я уйду из лагеря, постараюсь перетянуть к себе еще несколько человек. Что ты скажешь, если будет предложена и твоя фамилия?»

Я крепко задумался и наконец решил, что Симаев, пожалуй, прав. Эти разговоры пробудили во мне надежду. Я, в свою очередь, порекомендовал ему Миннегали Газиева, который до военной службы был учителем, а затем, окончив военное училище, служил лейтенантом в артиллерии.

В августе 1942 года Симаева увезли, и он уже не вернулся в лагерь. Сопровождавший его унтер-офицер сказал, что его направили в Берлин на пропагандистскую работу.

В конце января 1943 года и нас двоих увезли в Берлин, в угловой дом по улице Монестр. Там, на третьем этаже, нас встретил одетый в гражданское Симаев, повел к начальнику и разъяснил, что мы приняты на работу в отдел радиопропаганды. На другой день, переодетые в гражданское, мы снова были доставлены сюда, на место работы. На Газиева и меня возложили обязанность перепечатывать на пишущей машинке статьи и материалы, подшивать один экземпляр, оригиналы относить куда следует. Симаев рассказывал мне, что Муса Джалиль привезен в Вустрауский лагерь, что он, Симаев, съездил к нему и что Муса тоже скоро освободится. «Вот какие люди собираются в центре», – сказал он с гордостью.

В первых числах июня 1943 года Симаев привел к нам на работу невысокого приветливого

человека с непокрытой головой, в темно-сером костюме и голубой рубашке с отложным воротником. Он назвал себя Гумеровым. Когда мы вышли проводить его, Симаев в коридоре познакомил нас. «Гумеров» оказался Мусой Джалилем, о котором мы столько говорили. До этого я не видел Мусу и не представлял его таким простым. Его человеческое обаяние, приветливость сразу располагали к себе. Разговор был недолгим. Объяснив, что сегодня он занят и не может продолжать разговор, он ушел, пообещав скоро прийти снова. В середине июня Симаев повел меня в ресторан на Александерплац. Не успели мы выпить по кружке пива, как подошел Джалиль с двумя товарищами. Один назвал себя Алишем, другой – Булатовым (до того я встречал Булатова в обществе Шабаева, но не знал его фамилии). Заказали еще пива и стали слушать забавные анекдоты Булатова... Сначала Муса расспрашивал меня, где и кем я работал на Родине, кто у меня есть, когда и где попал в плен, потом перешел к основному вопросу. Он говорил о положении на фронте, о том, что мы должны делать для нашей страны.

– Мы, – сказал Муса, – должны вести среди легионеров и советских граждан, угнанных на германские заводы и фабрики, антифашистскую пропаганду, готовить легионеров к переходу на сторону своих с оружием в руках. Надо всем им объяснить, что Советская Армия скоро освободит их, призывать всячески вредить врагу.

Мы узнали от Мусы, что в Берлине создан Четвертый комитет освобождения. Те, кто участвует в его работе и честно выполняет задания, считается его членом и должен дать клятву. Я заявил, что готов хоть сейчас дать такую клятву.

Мы распределили между собой трудовые лагеря, где жили советские граждане, чтобы вести среди них пропаганду.

– А для работы с легионерами, – сказал Джалиль, – люди у нас уже подготовлены.

Когда зашла речь о листовках, Симаев предложил печатать их у нас. В самом деле, у нас были и машинки и матрицы. Размножение на матрицах возложили на Газиева и меня. Через два дня Симаев принес нам черновики листовок на простых тетрадных листах. Они были написаны коричневым карандашом рукой Мусы Джалиля на двух языках, русском и татарском. Самым трудным для нас с Газиевым было заполучить машинку с русским шрифтом, стоявшую в комнате переводчицы с немецкого на русский. После работы эта комната запиралась на ключ. Когда люди расходились по домам и в коридоре все успокаивалось, один из нас выходил на лестницу, а другой, подобрав ключ, выносил машинку. Закончив дело, таким же образом ставили ее на место. Я печатал на своей машинке по-татарски, а Газиев – по-русски. Затем, свернув листовки в тугие трубки, передавали их Симаеву. Я лишь потом узнал, что Алиш с товарищами размножали листовки на ротаторе.

В начале августа 1943 года Ахмет Симаев принес письмо Джалиля, написанное для членов IV комитета. Как мне помнится, содержание его было примерно таким: «Наш комитет организован в тяжелых условиях и работает с большими трудностями. Кадров пока не хватает, но их становится все больше. Между легионом и лагерями установлены связи. Это надо считать одним из первых успехов. Среди легионеров наши листовки ходят из рук в руки. У них усиливается чувство любви к Родине и ненависти к врагу. Отправляемые на фронт батальоны легиона, по примеру первого батальона, перейдут на сторону Советской Армии и направят немецкое оружие против самих фашистов. Среди легионеров много ребят, готовых отдать жизнь за родную страну. Установлена связь с другими подпольными организациями, скоро свяжемся с вооруженными партизанскими отрядами. В национальном комитете, руководимом Шафи Алмасом, разброд. У Алмаса нет авторитета. Тем не менее надо быть очень осторожными, потому что в национальном комитете заметили существование нашей организации, там могут оказаться провокаторы.

Важные темы для пропаганды: на Украине и в Белоруссии фашисты бегут, партизаны добились больших успехов, армия Роммеля в Африке позорно отступает; немецкие газеты клеветают на Советское правительство, распространяя лживые вести о Катынском лесе, надо разоблачать их».

Этот рассказ во всех деталях подтверждается и свидетельством Миннегали Газиева, который также остался жив.

«Как-то мы сидели в редакции с Фаизом вдвоем. Вошел Симаев, увидев, что нет

посторонних, тихо сказал:

– Товарищи, есть очень важная работа, надо взять этот текст на матрицу.

Прочли текст. Это была листовка, призывающая легионеров переходить на сторону Советской Армии. Тут же была сводка о победах наших войск. Далее следовало предостережение пленным – не вступать в легионы, формируемые немцами. В тот же день мы отпечатали листовку на машинке, взяли на матрицу. Ахмет стоял в коридоре. Когда матрицы были готовы, он унес их. Позднее мы узнали, что с этих матриц были отпечатаны листовки на ротационной машине в одном из домов близ Берлинского зоопарка. Первое задание оказалось далеко не последним, нам пришлось еще не раз изготавливать матрицы для других листовок».

Он напоминает также, что Ахмет Симаев приносил пламенные, патриотические стихи Джалиля, в которых разоблачалась суть националистической пропаганды фашистов.

Группа Симаева не ограничивалась только перепечаткой листовок и подготовкой матриц. Распределив между собой лагерь, где томились советские люди, угнанные в Германию, они часто бывали там, искали земляков, устанавливали связи и распространяли через верных людей листовки и сводки Совинформбюро. На одном из военных заводов в Ванзее им удалось найти землячек – татарских девушек, привезенных в Берлин из Донбасса. С их помощью и распространяли листовки, призывающие к диверсиям и саботажу.

Фашисты допрашивали Симаева с особой пристрастностью. По длинным подземным переходам его водили в специально оборудованные помещения для пыток на Принц-Альбрехтштрассе, устраивали очные ставки с Джалилем и другими подпольщиками, били, пытали, морили голодом.

Последним Симаева видел Рениеро Ланфредини, которого в середине августа перевели в камеру, где сидели Алиш, Батталов и Симаев. Уходя на казнь, Симаев порывисто обнял Ланфредини и сказал ему:

– Ты так боялся умереть... А теперь мы идем умирать...

РАХИМ САТТАРОВ

О нем рассказывали многие из тех, кому довелось побывать в фашистском плену. С уважением говорили о его смелости, переходящей в дерзость, о преданности Родине и замечательных стихах, которые ходили в лагерях наравне с песнями Джалиля.

Юрий Корольков в книге «Жизнь – песня» писал: «Так и осталось неизвестным имя этого высокого черноволосого спутника Джалиля с оспинками на лице, одетого в форму немецкого унтер-офицера. По заданию подпольной организации он должен был под видом военного фотокорреспондента эмигрантской газеты поехать на фронт, перейти линию фронта и связаться с советским командованием. Вместе с Джалилем он прибыл в Едлинский лагерь, чтобы, заполучив документы, тронуться дальше. Вскоре спутник Мусы исчез из лагеря».

Имя этого человека помог установить один из бывших военнопленных, который по заданию подпольной организации выкрал для беглецов из немецкого штаба карту Польши и бланки документов. Он несколько раз встречался с приезжим из Берлина, и тот рассказал, что до войны был заместителем редактора татарской молодежной газеты. Сравнивая различные свидетельства и факты, мы с Кашшафом пришли к выводу, что это был журналист и поэт Рахим Саттаров (Абдерахим Сулейманович Абдельсаттаров).

Родился он 15 августа 1912 года в татарской деревне Нижний Хазят Чишминского района Башкирии. Рахим рос отчаянным сорванцом и заводилой среди сельской детворы. В восемь лет он мог один ночевать в самодельном шалаше на берегах Демы, питаться рыбой и травами, иногда по целым неделям не показываясь дома. Его худеньких кулачков побаивались многие. Сам же он никого не боялся.

С детства в нем было какое-то обостренное чувство собственного достоинства. Однажды за опоздание на урок учитель ударил его ивовой хворостинкой. Рахим был далеко не первый, кому досталось такое «угощение», но, несмотря на уговоры, он не переступил больше порога школы. Пришлось отцу везти его в Уфу и устраивать в городскую школу.

Здесь Рахиму повезло: его учителем по литературе оказался известный татарский писатель Наки Исанбет. Именно он пробудил у маленького Рахима любовь к литературе.

В четырнадцать лет Рахим организовал в родной деревне комсомольскую ячейку – одну из

первых в тех краях – и стал ее первым секретарем.

В нем жила неуемная жажда все познать, увидеть самому. Он перепробовал множество профессий: был шахтером в Донбассе, рабочим на одном из заводов в Казани, лесничим в лесах Башкирии, изъездил почти всю страну – от снегов Карелии до просторов Дальнего Востока. Эта «охота к перемене мест» в какой-то мере и вредила ему, и в частности помешала получить законченное систематическое образование.

В 1933–1937 годах Рахим служил в армии. В его архиве сохранилось множество похвальных грамот и благодарностей от командования – за отличную стрельбу, за первые места на джигитовках и скачках, за успехи в боевой и политической подготовке. Его направили в школу младших командиров, после окончания которой он еще какое-то время оставался на сверхсрочной службе. Но страсть к литературе победила, и Саттаров переезжает в Казань, устраивается на работу в редакцию татарской молодежной газеты.

В эти годы на страницах газет и журналов начинают публиковаться его стихи. Пока это еще только первые не очень уверенные опыты начинающего. Но Саттаров вынашивал большие творческие планы. Среди его бумаг сохранились наброски неоконченных песен, поэм, рассказов. Известно, что он работал над пьесой, собирался писать роман.

Когда началась война с Финляндией, Саттаров пришел в военкомат с просьбой направить его на фронт. Воевал в составе лыжного эскадрона, командовал отделением. За участие в боевых операциях отмечен в приказах командования, награжден Почетной грамотой и занесен в дивизионную Книгу почета имени X съезда ВЛКСМ.

Вернувшись в Казань, Саттаров много работает, пишет, принимает деятельное участие в общественной жизни республики. Его назначают инструктором областного комитета комсомола. Но началась Великая Отечественная война, и Саттаров снова на фронте. Он попал в десантные части. Участвовал в выполнении ряда сложных боевых заданий, не раз был на волоске от гибели. Пули пощадили его. Но произошло худшее – 27 июня 1942 года, во время неудачной высадки десанта в тылу врага в районе Вязьмы, Саттаров был захвачен в плен.

В плену Рахим Саттаров продолжал писать стихи.

С волнением перелистываю пожелтевшие страницы небольшого, в четверть тетрадного листа, блокнота. Саттаров сам же проиллюстрировал некоторые из своих стихотворений. Длинные ряды приземистых барачков за колючей проволокой. Голубь, парящий высоко в небе. Гордый сокол на фоне восходящего солнца. Трепещущее на ветру красное знамя... Тетрадка обрывается торопливой отрывочной записью: «Не успел переписать все. Остаюсь верным Родине. И ты будь таким же. Путь один. Иного пути нет. Мама, Иль, Алсу, родные» (Иль и Алсу – дети Саттарова.)

Блокнот Саттарова позволил нам полнее представить путь его скитаний по лагерям для военнопленных под Смоленском, Борисовом, Берлином. Мы слышали его живой голос, увидели, как зрела в его душе ненависть, выплеснувшаяся страстной песнью борьбы:

На камнях блока Ост, в неволе,
под дождями рабства, не в бою,
я негромко, почернев от боли,
эту клятву Родине даю.
Мы разрушим этот ад, разрушим!
Ненависть моя живет молчком,
ненависть моя в патроне русском
дремлет мягким теплым порошком.

Глядя на пылающий восток, где остались его мать, родные, однополчане, Саттаров мечтает только об одном – скорее прогнать варваров с родной земли. Чтобы только приблизить час победы, он готов вызвать огонь на себя:

...Бей по врагам, земля моя!
По мне, по мне!
По мне! Снарядов не жалеи!
По тюрьмам бей!
...Я все равно шепну «люблю»
Москве моей.

Саттаров вынашивал планы побега, планы борьбы. Только это помогало ему переносить невероятные тяготы лагерной жизни.

Я горд. Я не склоняю головы
перед врагом. Дышу свободно...
Как стены тяжелы! Оковы тяжелы!
Но волен дух,
как свет, входящий в окна.

В архивах лагеря Вустрау сохранилась его личная учетная карточка: «Саттаров Рахим, журналист, 15.09.13 года рожд., уроженец дер. Хазятово, Башкирия, место жительства – Казань, женат, двое детей, образование – десятилетка, пединститут, лейтенант, парашютист с 6.09.41 г. Пленен 27.06.42 г. в районе с. Угра, чл. ВЛКСМ. Прибыл (в Вустрау) 16.09.42 г. из лагеря для в/п 19926-Г, близ Смоленска».

Затем внизу сделана приписка другим почерком: «Сын муллы, в порядке экстерна закончил Казанский пединститут, зам. ред.».

Из карточки видно, что Саттарова, по-видимому, хотели использовать в качестве заместителя редактора газеты «Идель-Урал». На самом же деле он работал литсотрудником. Причем, как мы уже знаем из доноса Шафи Алмаса, сумел использовать эту должность для того, чтобы нанести как можно больше вреда немцам и их прихлебателям.

В первом издании книги я ничего не мог сообщить о том, как блокнот Саттарова дошел до Родины.

Сейчас удалось установить, что блокнот Саттарова передала представителям советской администрации работница одного из предприятий Донбасса Равиля Агеева. В период немецкой оккупации она была насильно угнана в Германию, работала на одном из предприятий Берлина, где познакомилась с несколькими татарами из комитета «Идель-Урал», не раз встречалась с ними, бывала в помещении комитета и в редакции. Один из новых знакомых и передал ей блокнот Саттарова.

Р. Агеева назвала фамилию человека, передавшего ей блокнот. Это один из бывших комитетчиков Рауф Вафин, не имевший никакого отношения к работе подпольной организации. После войны Рауф Вафин предстал перед судом военного трибунала. По его словам, блокнот Саттарова передал ему Абдулла Алиш незадолго до ареста. Ему, в свою очередь, оставил блокнот сам Рахим Саттаров, уезжая в легион.

Итак, история блокнота Саттарова прояснилась. Но судьба самого Рахима и членов его группы остается пока неясной.

ГАРИФ ШАБАЕВ

«Установите, пожалуйста, почему некоторые из казненных (Шабаев, Хасанов) назвались купцами (кауфманн)? – писал мне Небенцаль. – Может быть, в целях маскировки?»

По-видимому, Гариф Шабаев просто не смог (или не захотел) объяснить следователю свою профессию.

Родился он 15 декабря 1907 года в Башкирии (деревня Старое Тураево Белебеевского уезда; в немецких документах «Старо-дураево»). Через несколько лет уехал с родителями в Среднюю Азию. Окончил школу-десятилетку, учился на курсах финансовых работников. Работал инспектором Госстраха в Фергане, Алты-Арыкском районе Узбекистана, в Ташкенте. В 1938 году его перевели в Наркомат финансов Узбекской ССР и назначили заведующим отделом управления соцстраха. В характеристике, которая сохранилась в личном деле Шабаева, он обрисован как «человек в высшей степени добросовестный», «специалист с широким кругозором».

В первый же день войны Гариф подал заявление с просьбой направить его на фронт. Его просьбу удовлетворили, и уже на пятый день войны он стал рядовым стрелкового полка. От Гарифа пришла всего одна открытка, написанная с дороги.

Всю войну жена Шабаева Мунавара и его дочь Лилия ждали вестей. Через несколько месяцев после окончания войны пришло письмо от офицера Советской Армии Василия Ивановича Чебона. В нем говорилось: «Я сообщаю, что Шабаев Гариф Хафизович сидел со

мною в тюрьме в Берлине в июле 1944 года. Они были присуждены к расстрелу – 11 человек – за подпольную работу против немцев. А я был осужден к 15 годам тюрьмы. Я с ними сидел в одной тюрьме, и один раз в неделю мы с ним виделись на прогулке».

В следующем письме Чебон сообщил некоторые дополнительные подробности: «...он был присужден к смерти имперским судом за подпольную работу против немцев. Он работал в подпольной типографии в Берлине, но не один, их 11 человек, и все присуждены к смерти. Они сидели 6 месяцев, но утверждения еще не было. 28 сентября 1944 года меня перевели в политический лагерь, а они, 11 человек, остались в тюрьме. Прибывали люди с той тюрьмы, приходилось спрашивать, все говорили, что их уничтожили, но сам я не видел...»

Чебон ошибся в дате: мы знаем, что всех приговоренных татар казнили 25 августа.

В июне 1946 года Мунавара Шабаева получила официальное извещение из Куйбышевского райвоенкомата Ташкента: «Ваш муж, красноармеец Шабаев Гариф Хафизович, погиб в концлагере в германском плену в 1944 году. Настоящее извещение является документом для ходатайства о пенсии».

В одном из лагерей Шабаев встретился и подружился с Фуатом Булатовым. Друзья задумали побег, долго и тщательно готовились к нему. Но накануне дня, намеченного для побега, прибыла комиссия из Берлина и отобрала десять человек с высшим образованием. В их числе оказались Шабаев, Булатов и Алиш. Их увезли в Вустрау, куда они прибыли 13 декабря 1942 года. Через месяц, 13 января 1943 года, их перевели в Берлин. Известно, что Шабаева и Булатова вовлек в подпольную организацию Рахим Саттаров.

Шабаев и Булатов стали работать в редакции газеты «Идель-Урал» переводчиками. Перед ними поставили задачу: получить доступ к типографским шрифтам, освоить наборное дело и наладить печатание подпольных листовок.

После ареста в руках у гестапо оказались вещественные доказательства, обнаруженные на квартире у Г. Шабаева по Фридрихштрассе, 247: оригиналы листовок, написанные от руки, и матрицы, подготовленные к печати.

Как уже говорилось, в архивах тюрьмы Плетцензее были обнаружены две карточки: о казни Ахмета Симаева и Гарифа Шабаева. Обе они составлены на месте казни и, судя по всему, в большой спешке. Из более чем двадцати граф заполнены лишь шесть (у Симаева – семь). Палачи так спешили, что не указали даже имени Шабаева. Вот перевод этой карточки (приводятся лишь заполненные графы):

«Фамилия, имя: Шабаев.

Время рождения: 15 дек. 1907 г.

Профессия: легионер. (В карточке Симаева написано: журналист и татарский легионер.)

Номер книжки пленного: 828/44. (У Симаева – 827/44.)

Помещен в блок № 4 тюрьмы Плетцензее на основании решения имперского военного суда РКА-11-2-343/43. (В карточке Симаева написано чуть подробнее: «Приговорен к смертной казни за преступную деятельность по моральному разложению немецких войск».) Казнен. 25.8.44».

Далее следуют печать генерального прокурора, гриф «Каммергерихт. Берлин» и подпись начальника канцелярии.

Шабаева казнили шестым, сразу после Мусы Джалиля.

ФУАТ БУЛАТОВ

Я сижу в квартире Булатовых. Амина Зиятдиновна, старшая сестра Фуата, перелистывает страницы семейного альбома, то и дело вытирая заплаканные глаза. Я уже записал в блокнот, что Фуат родился 23 февраля 1913 года в селе Мелеуз Стерлитамакского уезда бывшей Уфимской губернии, что отец его был приказчиком у бая, а позднее служащим, что в 1916 году семья Булатовых переехала в Оренбург, а затем – в Казань. О том, что Фуат окончил Казанский институт инженеров гражданского строительства и работал перед войной в Крыму, на строительстве дорог, мне было известно и раньше.

От сестры я узнаю неожиданную новость. Оказывается, Булатовы жили в Оренбурге во дворе медресе «Хусаиния», где жила и семья Джалиля. Фуат и Муса были друзьями детства.

Несмотря на то, что Муса был старше Фуата на семь лет, они вместе ходили на рыбалку, катались на санках и лыжах с высокого берега реки Урал. Не раз приходилось убеждаться, что Джалиль строго и тщательно отбирал людей в подпольную организацию. Брал только тех, в ком не сомневался, был уверен до конца. Но до сих пор не совсем ясна была связь между Мусой и Фуатом. И вот все вдруг стало понятно...

– Родители хотели, чтобы Фуат стал музыкантом, – продолжает Амина Зиятдиновна, – купили ему скрипку. Но Фуат немного позанимался и бросил. Его увлекало другое – спорт, техника, военное дело. Он занимался гимнастикой, боксом, тяжелой атлетикой, волейболом. В студенческие годы в числе четырех лучших спортсменов города Фуат принял участие в знаменитом велопробеге «Казань – Москва – Ленинград – Горький».

Я рассматриваю фотографию Фуата тех лет. Богатырский разворот плеч, мощные бицепсы, открытая беспечная улыбка.

– В юности Фуат бывал несобранным, даже немного легкомысленным, но умел добиваться своего. Окончил школу ФЗО, работал несколько лет на заводах Казани и Урала. Самостоятельно изучил программу средней школы и поступил в вуз.

Я рассказываю Амине Зиятдиновне, как Булатову удалось печатать листовки в белоэмигрантском комитете «Идель-Урал», о доносе Шафи Алмаса, о его безуспешной попытке заставить Булатова и его товарищей писать «антибольшевистские призывы» к воинам Красной Армии татарской национальности. Показываю ей записки Рениеро Ланфредини, просидевшего несколько месяцев в одной камере с Джалилем и Фуатом Булатовым, рассказываю о той дружбе, которая связывала этих людей в последние дни их жизни.

Почему-то Фуат Булатов считал, что его семья погибла при эвакуации из Крыма. Он нередко рассказывал друзьям, что пароход, на котором они отплыли, подвергся налету фашистской авиации и был потоплен. «Я должен мстить, мстить фашистским гадам за все», – повторял он. Видимо, кто-то неправильно информировал его. В тюрьме ему часто снилась дочь Эсфира. В такие дни обычно неунывающий Фуат бывал мрачен и молчалив.

Эсфира Булатова закончила отделение иностранных языков Казанского пединститута и работала преподавателем иностранного языка в одной из школ на острове Сахалин.

ЗИННАТ ХАСАНОВ

Неподалеку от деревни Иске Кешер Сармановского района Татарии есть гора, которую в народе зовут Орлиной. На плоской ее вершине лежит большой серый камень. Издавна так повелось, что, уходя на войну или надолго уезжая в дальние края, люди поднимались на гору и писали свои имена на этом камне. Сохранилось поверье, что тот, чье имя есть на Орлиной горе, непременно вернется домой. А имена тех, кто погиб за Родину, кто достоин памяти потомков, жители сами высекали на сером камне. Здесь есть фамилии участников народных движений, революционеров, героев гражданской войны. На этом камне высечено имя и Зинната Хасанова...

Зиннат родился 16 ноября 1916 года. Кончил семь классов. Работал в колхозе, был землекопом на стройках Казани. В 1936 году поступил в Казанский техникум советской торговли. После окончания учебы его направили товароведом в Киров, но через три месяца призвали в армию. Зинната направили на курсы младшего комсостава. В июле 1941 года он окончил курсы. Ему присвоили звание лейтенанта. Некоторое время Хасанов обучал новобранцев в одном из военных лагерей, затем добился отправки на фронт.

Осенью 1941 года родные получили от него письмо – единственное письмо с фронта. «Воюем под Москвой, – писал Зиннат. – Обстановка «веселая», пули посвистывают над головой, как рой голодных оводов. Вот-вот поднимемся в атаку».

На фронте Хасанов командовал ротой. По словам очевидцев, он был ранен во время контратаки в направлении деревни Спасово. Немцы продвинулись вперед, отрезав наши контратакующие части. Так Хасанов оказался в фашистском плену.

Летом 1942 года в лагере Демблин Зиннат Хасанов встретился и подружился с Курмашевым, а через него с Джалилем и другими подпольщиками.

По заданию подпольщиков он устроился в хоровую капеллу и выступал то как чтец-

декламатор, то как певец (у него был сильный и приятный голос). По поручению подпольной организации распространял в легионе листовки и сводки Совинформбюро. Позднее стал связным между Едлино и Берлином. По словам бывших подпольщиков, кандидатуру Хасанова, в случае успеха вооруженного восстания, намечали на пост командира третьего батальона.

В день ареста фашисты обнаружили в подушке Зинната несколько пачек антифашистских листовок. Его били, требуя, чтобы он выдал связи, назвал имена. Зиннат упорно молчал. Побой продолжались несколько суток подряд... Когда вскоре после ареста товарищи увидели его во время прогулки по двору варшавской тюрьмы, они с трудом узнали его – за эти несколько дней он поседел. Ему тогда шел двадцать седьмой год...

АБДУЛЛА БАТТАЛ

Веселый, открытый, бесхитростный, он был общим любимцем. Хорошо пел, играл на гармонии, знал наизусть множество стихов. Помнил уйму забавных историй и на каждый случай жизни мог рассказать что-либо смешное. В Демблине по вечерам вокруг него часто собирались военнопленные. Абдулла всегда готов был поделиться с первым встречным последней закруткой махорки или коркой хлеба.

Но доверчивость Абдуллы Баттала явилась и одной из причин провала подпольной организации: думая, что вовлекает нового члена, он, сам того не сознавая, навел предателя на след подпольщиков...

Абдулла Батталов родился 1 мая 1916 года в деревне Большие Тиганы Билярского (ныне Алексеевского) района Татарии. На допросах он назвал местом рождения Казань и указал адрес сестры Лейлы Батталовой (здесь он жил некоторое время незадолго до войны). На вопрос о родителях он также назвал Лейлу и ее мужа Гарифа Мухутдинова. Очевидно, Абдулла рассуждал так: если каким-нибудь образом весть о его гибели дойдет до Родины, пусть об этом узнает сначала сестра. Даже в эту минуту он пытался как-то оградить от удара мать...

После окончания семи классов Абдулла работал в колхозе. В 1937 году его призвали в армию, направили на курсы младших командиров. Курсы эти кончить ему не пришлось: он повредил ногу и был демобилизован. Снова работал в колхозе, потом – заведующим клубом. Должность эта как нельзя лучше соответствовала его характеру: Абдулла умел сплотить и повести за собой молодежь.

Когда началась война, его призвали в армию. На фронте, в окружении, он отморозил ноги (раненым пролежал зимнюю ночь под открытым небом). Позднее в лагерном лазарете ему ампутировали пальцы ног. Несмотря на это, Абдулла держался по-военному подтянуто. Даже многие из его товарищей считали Баттала кадровым офицером. И сам он во время допросов назвался старшим лейтенантом, хотя был всего лишь рядовым.

В Демблине и позднее в Едлино он был связным группы подпольщиков, выполнял наиболее ответственные и опасные поручения.

Очевидно, немцы давно приглядывались к Абдулле. Один из бывших легионеров рассказывает, что однажды гитлеровцы для проверки лояльности Баттала поручили ему выступить перед легионерами на антисоветскую тему. Был назначен день и час, строем пригнали слушателей. Но Абдулла не пришел на это выступление.

После ареста Баттал больше всего страдал от сознания, что провал произошел по его вине. Но товарищи ни в чем его не упрекали.

ФУАТ САЙФЕЛЬМУЛЮКОВ

Поиски данных об этом сподвижнике Джалиля продолжались более двадцати лет.

В 1946 году, когда на Родину вернулся блокнот Мусы, в списке членов подпольной организации, арестованных и осужденных вместе с поэтом, о нем было написано коротко: «Сайфельмулюков – Узбекистан».

Фамилия Сайфельмулюкова оказалась и в последнем письме Абдуллы Алиша, где было написано: «Сайфельмулюков – заместитель наркома торговли Узбекистана». Однако на запрос в Министерство торговли Узбекской ССР пришел ответ, что человек с такой фамилией там никогда не работал.

Со временем удалось найти людей, которые встречались с Сайфельмулюковым в плену и в легионе и вели вместе с ним подпольную работу против гитлеровцев. По их словам, Фуат был спокойным, уравновешенным, немногословным человеком. Внешняя мягкость и уступчивость сочетались в нем с самообладанием и мужеством. Он был среднего роста, носил очки в черной оправе, волосы зачесывал назад, улыбался мягкой и застенчивой улыбкой. Был хорошо образован, начитан, преклонялся перед талантом Джалиля и готов был по одному его слову пойти в огонь и воду.

Рушат Хисамутдинов рассказывает: «По поручению подпольной организации я предложил Фуату стать пропагандистом легиона (до этого он состоял в боевой роте легиона). У него было высшее образование, человек нейтральной профессии – торговый работник, никто не подкопается. А для нас он был абсолютно надежным человеком, еще в Демблине посвященным в планы подпольной организации. Фуат грустно так посмотрел на меня и говорит: «Эх, Рушат-абый! Уже тем, что мы надели на себя эти вот немецкие мундиры, мы стали предателями в глазах своего народа. А ты предлагаешь мне стать фашистским пропагандистом. Это же равносильно тому, чтобы своими руками накинуть удавку себе на шею. Как я потом в глаза матери своей посмотрю, родным, друзьям...»

Долго я убеждал его, что так нужно для общего дела, что, став пропагандистом, он получит новые возможности для подпольной работы против фашистов, что Родина, партия узнают и оценят нашу патриотическую деятельность. И только тогда, когда я сказал, что об этом есть договоренность с Джалилем, он наконец дал согласие».

По словам подпольщиков, из Фуата Сайфельмулюкова и в самом деле получился неплохой пропагандист (только, конечно, не в пользу немцев). Он использовал коллективные занятия и громкие читки газеты «Идель-Урал» для того, чтобы незаметно, исподволь сеять среди легионеров нужные мысли и идеи. Так, под видом опровержения «несуразных слухов» он доносил до слушателей последние сводки Совинформбюро. Впоследствии эти «слухи» всегда подтверждались и из официальных немецких источников. Поэтому слушатели всегда оживлялись, как только он переходил к опровержению новых, «абсолютно беспочвенных слухов». Когда же Фуат оставался в узком кругу проверенных лиц, он бывал более откровенен, прямо говорил, что поражение фашистской Германии неизбежно и что легионерам надо сделать все, чтобы искупить вину перед Родиной и помочь Красной Армии добить врага. Обращая внимание на то, что на всех командных должностях легиона сидят немцы, он подводил слушателей к мысли, что гитлеровцы не доверяют «азиатам», хотя и используют их только как пушечное мясо.

Для проверки лояльности Сайфельмулюкова командование легиона дало ему однажды тему антисоветского выступления. Но Сайфельмулюков отказался выступать, заявив, что «не успел подготовиться».

Сайфельмулюкову удалось вовлечь в подпольную организацию еще несколько пропагандистов, и его назначили руководителем этой группы. Когда Фуата арестовали и подвергли нечеловеческим пыткам, он не выдал ни одного из членов своей группы. Благодаря этому многим из них удалось спастись. Они продолжали борьбу во Франции и Голландии, организовывали переход легионеров к французским маки и участникам голландского Сопротивления.

Поиски родных Сайфельмулюкова, начатые Гази Кашшафом еще в начале пятидесятых годов, долго не давали никаких результатов. Запросы в адресные бюро и различные учреждения Узбекистана каждый раз приносили неутешительный ответ. Боевой друг и соратник Фуата – Фарит Султанбеков объездил целый ряд городов Средней Азии, вел обширную переписку, но также не смог отыскать его следов. И только находка Небенцалем новых документов в Берлине позволила возобновить поиски более целенаправленно. Как и всегда в таких случаях, помогла пресса. Через какой-нибудь месяц после опубликования в газете «Правда Востока» статьи о новых документах, обнаруженных в Берлине, я получил долгожданное письмо:

«Уважаемый тов. Рафаэль Мустафин!

Пишет Вам младшая родная сестра Фуата Сайфельмулюкова Факия Хабибуллина (Сайфельмулюкова). Прочитав в газете «Правда Востока» статью о мужестве и героизме наших земляков, встретила в ней и фамилию своего брата, который, как выяснилось, был казнен вместе с Джалилем. Мы его очень искали, но нам ответили, что он нигде в списках погибших, умерших от ран и пропавших без вести не числится. И все-таки мы не потеряли надежды на его возвращение, так как многие возвращались даже через много лет после окончания войны... И только из Вашей статьи мы узнали, что он погиб героем...»

Одновременно со мной Факию Хабибуллину разыскал и аспирант Ташкентского пединститута Исхак Забиров.

Так удалось наконец уточнить основные моменты биографии Сайфельмулюкова.

Родился он 16 июля 1916 года в Ташкенте. Среднюю школу окончил в городе Казалинске Казахской ССР. Учился хорошо, увлекался точными науками, и мать, несмотря на трудное материальное положение семьи, настояла, чтобы он продолжал учебу в вузе. В 1933 году Фуат поступил в Самаркандский институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева и через пять лет закончил его, получив специальность экономиста-товароведа. Затем по распределению был направлен на работу в Народный комиссариат торговли Таджикской ССР. (Вот где крылась причина наших неудач: мы искали Сайфельмулюкова через Министерство торговли Узбекистана, а он, оказывается, работал в Таджикистане.) В трудовой книжке Сайфельмулюкова, которая сохранилась у матери, всего две строчки:

«15 ноября 1938 года – назначен на должность экономиста-товароведа отдела органов торговли НКТ Тадж. ССР.

3 февраля 1940 года – освобожден от занимаемой должности в связи с призывом в ряды РККА».

В другом документе, сохранившемся в архивах наркомата, говорится, что Сайфельмулюков одно время работал исполняющим обязанности начальника отдела организации торговли. (Поэтому его и называли, видимо, заместителем наркома торговли.)

После призыва в армию Сайфельмулюков служил в Одесской области. 2 июля 1941 года он написал родным, что едет на фронт.

Мать Фуата, 78-летняя Нагима Сайфельмулюкова (Шафиева), дожила до известия о героической смерти сына. Но пережить эту весть она не смогла – через месяц скончалась. Отец Фуата, Хаджеахмет Юсупович, умер в 1927 году.

АХАТ АТНАШЕВ

Данные, которые приводились в карточке о казни Ахата Атнашева, были предельно краткими. Родился 12 декабря 1918 года в городе Петропавловске. До войны жил в каком-то Штецнайке. Там же проживали и его родители – Махмут Атнашев и Уммикамал Атнашева, урожденная Белялова. По профессии повар. Не женат. Умер 25 августа 1944 года в 12 часов 33 минуты. Причина смерти – отсечение головы.

Но этих скудных сведений оказалось достаточно, чтобы начать поиски.

Вскоре после опубликования материала о находке новых документов в редакцию журнала Союза писателей Татарии «Казан утлары» начали приходить письма читателей. Один из них сообщал, что Махмут и Уммикамал Атнашевы – выходцы из бывшего Мамадышского уезда Татарии и что еще в дореволюционные годы они уехали в Петропавловск. Другой читатель по своей инициативе предпринял розыски в архивах загса города Петропавловска за 1918 год, но никаких данных об Атнашеве не смог найти (хотя архивы загса за этот год сохранились полностью). Некоторые читатели делились своими предположениями, давали советы. Так, Мулюков из Нижнекамска писал, что непонятный для нас Штецнайк – это, скорее всего, бывший золотоприиск, а теперь город Степняк Северо-Казахстанской области, где, по его мнению, и следует вести поиски. Центром этой области является город Петропавловск.

Я написал статью в областную газету «Ленинское знамя», выходящую в Петропавловске, приведя в ней все те данные об Атнашеве, которые удалось собрать. Уже на следующий день

после опубликования статьи в редакцию пришел мастер цеха Наиль Муратов. Он рассказал, что хорошо знает Атнашевых и что они действительно живут в городе Степняке. Об этом же написал в редакцию и пенсионер тов. Бакеев. По их словам, матери Атнашева уже нет в живых, а отец в 1958 году вышел на пенсию.

Корреспондент «Ленинского знамени» Шестериков выехал в город Степняк. Первый же встречный показал ему дом Махмута Атнашева. Выяснилось, что это всеми уважаемый человек, старый коммунист, более двадцати пяти лет беспрерывно проработавший кассиром степняковского «Золотопродснаба». Шестериков увидел приземистый одноэтажный домик и шумящий на ветру раскидистый клен. Клен этот, как вскоре выяснилось, посадил Ахат Атнашев перед уходом в армию. Навстречу ему вышел сгорбленный седой, но еще крепкий для своих восьмидесяти лет старик.

Да, сведения, приведенные в карточке о казни, сошлись все до одного. Перепутана только дата рождения – Ахат родился не в 1918, а в 1917 году (вот почему не удалось найти записи о его рождении). Окончил семилетку в татарской школе Петропавловска. В 1929 году большая семья Атнашевых (у Ахата было семь братьев и сестер) переехала в город Степняк. Надеюсь, что сын пойдет по его стопам, отец устроил Ахата на бухгалтерские курсы в Щучинский учкомбинат. Но поработать бухгалтером Ахату не пришлось – в 1938 году его призвали в армию.

Ахат принимал участие в освобождении Западной Украины и Бессарабии, служил в кавалерийских частях. Командование направило его в школу младших командиров. Окончив школу с отличными показателями, Атнашев стал командиром пулеметного расчета. С первых же дней войны он участвует в боях с фашистскими захватчиками. Ахату пришлось изведать и горечь поражений, и трудности отступлений. Но в его письмах домой нет ни капли растерянности. Они полны спокойной уверенности в победе.

«Здравствуйтесь, мама и папа!

Шлю вам сердечный фронтовой привет с пожеланием наилучших успехов в вашей жизни, в повседневной кропотливой работе.

Да, мне выпала великая честь – громить гитлеровскую банду. Били и еще с новой силой будем бить. Теперь всем ясно, насколько крепко увязли когти фашистских стервятников. Не выгащить им своих когтей. Погибнут они на просторах нашей страны».

В другом письме, от 8 февраля 1942 года, Атнашев коротко сообщает:

«Работаю ответственным секретарем комсомольского бюро полка. На этом конец – нет времени. Идем вперед и вперед.

Третий гвардейский кавалерийский полк».

Последнее письмо Ахата с фронта написано 27 мая 1942 года. Затем письма перестали поступать. Обеспокоенные долгим молчанием, родители написали в часть. Ответил один из фронтовых друзей Ахата:

«Здравствуйтесь, семья моего товарища Ахата Махмутовича! Вы просите сообщить о его судьбе. Он убит в Смоленске во время соединения с регулярными войсками в июле 1942 года. Это подтверждает политрук нашего полка. Он знает его судьбу. Так что вашего сына уже нет. Он погиб героически. Дрался до последнего дыхания с проклятым гадом. Мы, его земляки, остались живы и все находимся в одном полку. Будем мстить».

Сколько горя и слез принесла в семью эта весть! Примерно через месяц с фронта пришло еще одно сообщение, подписанное подполковником Горбачевым: «Сообщаю, что приказом по войскам Западного фронта № 0888 от 11 августа 1942 года Атнашев Ахат Махмутович за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками награжден орденом Красной Звезды».

В сердце Атнашевых проснулась надежда. Новый запрос в часть, и снова неутешительный ответ, правда, на этот раз не столь категорический. Подполковник А. Чупров писал: «Ваш сын Атнашев Ахат Махмутович в боях за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявил мужество и героизм на фронте, пропал без вести в августе 1942 года».

После окончания войны Атнашевы опять предприняли розыски сына и получили из Министерства обороны еще более неопределенный ответ: «В списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести Ахат Атнашев не значится».

Двадцать пять лет Махмут Атнашев ничего не знал о судьбе сына, пока в дом к нему не

постучался корреспондент.

Н.И. Лешкину удалось разыскать старую, выцветшую от времени фотографию. Ахат снялся во время короткого отдыха между боями в деревне Васькино Московской области. На его лице следы глубокой усталости – в эти дни полк почти не выходил из боев. За стойкость и мужество, проявленные в боях под Москвой, полку было присвоено звание гвардейского.

Уточнить место Ахата Атнашева в сети подпольной организации помог бывший переводчик легиона Фридрих Биддер. Он рассказал, что летом 1943 года в месте расположения третьего (827-го) батальона были арестованы два очень опасных, с точки зрения гитлеровцев, заговорщика. Фамилии их он уже не помнил, но сообщил, что оба они – бывшие лейтенанты Красной Армии, в легионе были командирами взводов. Хотя оба упорно отмалчивались, следствию удалось доказать, что они руководили подпольем в третьем батальоне и подчинялись единому центру в Берлине. Последовавшее вскоре после их ареста восстание в третьем батальоне и переход почти половины личного состава батальона на сторону партизан подтвердили их вину.

Н.И. Лешкин предпринял кропотливые поиски и установил, что Ахат Атнашев и его друг Салим Бухаров действительно были командирами взводов четвертой роты 827-го батальона. Бывшие военнопленные Кадермаев, Демаков, Амиров и другие помогли выяснить, что Атнашев и Бухаров были связаны с джалильским подпольем через Фуата Сайфельмулюкова. Они и готовили организованный переход на сторону своих третьего батальона. Предательство провокатора и арест сорвали эти планы. Но, несмотря на это, как уже говорилось выше, около половины легионеров третьего батальона перешло к партизанам.

САЛИМ БУХАРОВ

Его имя также стало известно лишь благодаря документам, обнаруженным Леоном Небенцалем в архивах загса Шарлоттенбурга. Среди одиннадцати карточек о казни героев-подпольщиков оказалась и карточка неизвестного дотоле патриота из Башкирии Салима Бухарова. Вот полный дословный перевод этого документа:

«Берлин: Шарлоттенбург, от 26 августа 1944 г.

Чернорабочий Салим Бухаров, мусульманин, проживавший в Уфе, Дортсагай(?), умер 25 августа 1944 года в 12 часов 36 минут в Берлине, Шарлоттенбург, Кенигсдамм, 7.

Умерший родился 15 июня 1915 года в Заргай(?) – Уфа (Россия).

Отец – Гиматов-Бухаров.

Мать – Сабира Бухарова, урожденная Фариза(?).

Последнее место проживания родителей неизвестно.

Умерший был женат на Марии Бухаровой, урожденной Качу(?).

Заполнено на основании устных показаний помощника надзирателя Пауля Дюррхауэра, проживающего в Берлине, Мантейфельштрассе, 10.

Сообщавший эти данные известен и заявил, что является личным свидетелем смерти.

Прочитано, подтверждено и подписано: Пауль Дюррхауэр.

Соответствие с подлинником заверяется.

Берлин, Шарлоттенбург, 26 августа 1944 года.

Служащий загса: по поручению Глюк.

Причина смерти: отсечение головы».

Судя по документу, Бухарова казнили последним. На его глазах фашисты обезглавили десять его товарищей. Кто же такой Салим Бухаров?

Прежде всего я сделал запрос в архив Министерства обороны СССР города Подольска, в отдел учета персональных потерь Советской Армии. Вскоре пришел ответ, что Бухаров Салим в числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести не значится. Оставался еще один, не раз испытанный способ – обратиться через печать. Сначала на мои статьи долго не было нужного отклика. Потом, когда я опубликовал заметки в газетах Башкирии на русском, татарском и башкирском языках, пришло несколько писем. Среди них мое внимание сразу же привлекло письмо из с. Мияки в Башкирии. В нем высказывалось предположение, не является ли разыскиваемый мною Салим Бухаров Галлянуром Бухараевым, пропавшим без вести в

начале Отечественной войны. И хотя фамилии и имена не совпадали, меня заставила насторожиться одна деталь: Галлянур Бухараев был женат на русской Марии Куч. Если учесть, что смешанных браков в районах Башкирии в те годы было не так уж много, то деталь эту никак нельзя было оставить без внимания. Многие в плену записывались под вымышленными именами и фамилиями – так что само по себе несовпадение имени ни о чем не говорило. Вполне понятно и то, что сложные татарские имена и названия неузнаваемо искажались. Но случайное совпадение имени жены и тем более почти полное совпадение такой необычной, редко встречающейся фамилии, пожалуй, исключено.

Я внимательно проанализировал все графы карточки о казни, сравнивая их с данными Галлянура Бухараева. Учитывая спешку и отношение работников штандесамта, многие несовпадения вполне можно объяснить. Таинственный Дортсагай может быть «Дорф Сагаем», т.е. деревней Сагаем, или «тем же Сагаем, Загаем или Заргаем». Названия со сходными звучаниями есть в окрестностях Мияки...

Сделав запрос в архив Министерства обороны, я выяснил, что рядовой Бухараев Галлянур Мустафович, 1916 года рождения, действительно принимал участие в Отечественной войне и в октябре 1941 года пропал без вести. Другими сведениями о нем отдел не располагал.

У родных Бухараева я выяснил, что Галлянур окончил курсы финансовых работников в Казани и работал до войны бухгалтером Миякинского госбанка. В 1940 г. был призван в армию, кончил полковую школу и был переведен в Латвийскую ССР. Последнее письмо от него написано 17 июня 1941 года из г. Двинска (Даугавпилса).

Удалось найти групповую фотографию слушателей казанских курсов финансовых работников. Снимок сделан в 1938 году. Здесь есть и Галлянур Мустафович Бухараев, направленный на учебу Уфимским отделением Госбанка. Простое, внешне ничем не примечательное лицо с правильными чертами и спокойным взглядом... По списку слушателей удалось найти однокурсника Галлянура Бухараева, С.М. Гильманова, проживавшего в Керчи. По его словам, Галлянур был прилежным слушателем, старательным, добросовестным, а в общем таким же, как все, разве что более молчаливым, малообщительным.

Те, кто встречался с ним в плену и знал его как Салима Бухарова, перечисляют в основном те же приметы – невысокий, плотного телосложения, молчаливый, честный, старательный...

Хотя полной уверенности у нас нет, но пока все вновь обнаруженные данные подтверждают эту версию. Думаю, что жизнь и воинский подвиг Галлянура Бухараева заслуживают более пристального внимания и изучения, а сам он, как и другие герои, казненные вместе с Джалилем, достоин того, чтобы имя его было увековечено в памяти народной.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, ИЛИ КАК ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ МГБ РАЗЫСКИВАЛ «БЕЖАВШИХ НА ЗАПАД» ДЖАЛИЛЯ, АЛИША И ДРУГИХ «ОТЩЕПЕНЦЕВ»

*(диалог историка Булата Султанбекова и
литературоведа Рафаэля Мустафина)*

Б.С. Это был один из тех редких случаев, когда удача, можно сказать, сама шла в руки исследователя.

Просматривая архивы партийных органов середины 50-х годов, я наткнулся на письмо-клязу одного майора, ранее занимавшего должность начальника районного отдела КГБ, тогда еще МГБ. Как известно, после смерти Сталина и расстрела Берии в органах госбезопасности произошли большие изменения. Сокращались неимоверно раздутые штаты. Происходили и неизбежные в подобных случаях кадровые перемещения. В результате этих пертурбаций майор остался не у дел и, почувствовав себя обиженным, обратился за поддержкой, минуя местные органы, непосредственно в ЦК КПСС.

Фамилию майора не привожу, так как дело не в нем, озабоченном в основном самореабилитацией и сведением счетов со своими сослуживцами, а в той полезной информации, которая в связи с его письмом всплыла из недр наглухо закрытой организации.

Тем более что жалобщик был хорошо знаком с положением дел в МГБ республики, а возможно, и прихватил из служебных архивов кое-какие документы и рабочие записки.

Майор обвинял руководителей госбезопасности ТАССР ни больше ни меньше, как «в попустительстве буржуазным националистам», «сокрытии их вредоносных дел». Среди прочих доводов был и такой аргумент: они-де не придали должного значения материалам о Мусе Джалиле, поступившим к ним еще в 1947 году.

Р.М. Тут необходимо одно уточнение, Булат Файзрахманович. Очевидно, майор имел в виду Моабитскую тетрадь Мусы Джалиля, доставленную в республику по дипломатическим каналам в том самом 1947 году. Ее вынес из тюрьмы бельгийский патриот Андре Тиммерманс. Однако за год до этого, в марте 46-го, в Союз писателей Татарии (а оттуда напрямую в органы госбезопасности) поступила первая тетрадка Мусы Джалиля и блокнот Абдуллы Алиша (копия). Их вынес из тюрьмы бывший военнопленный Габбас Шарипов, а в Казань привез Нигмат Терегулов, поплатившийся за это жизнью (он погиб в одном из «исправительных» заведений ГУЛАГа).

Но и до этого, как в годы войны, так и особенно в первые послевоенные годы, в «органы» поступала довольно полная информация и о подпольной деятельности группы Мусы Джалиля, и о судьбах самих джалильцев. Говорю это как человек, работавший в архивах местного комитета госбезопасности и своими глазами видевший эти документы. Другое дело, что чекисты, озабоченные в те годы лишь тем, чтобы выловить и достойно наказать всех «притаившихся изменников Родины», хотя и фиксировали подобные показания, но не придавали им никакого значения.

Б.С. Как известно, «буржуазный национализм» во все годы советской власти был для партийных органов в национальных республиках самым страшным жупелом. Конечно, после смерти «вождя народов» настали иные времена. Фабрикация насквозь лживых и откровенно сфальсифицированных дел вроде «идель-уральского» в 1936 году, когда чуть ли не весь татарский народ чохом был обвинен в «национализме» и «пронизанности вражеской агентурой», была уже невозможной. Однако борьба с «националистическими пережитками» продолжала оставаться предметом особого внимания партийных органов. Поэтому жалобе дали ход.

Чуть ли не весь 1955 год шло тщательное разбирательство всех пунктов обвинения, выдвинутого отставным майором. В конце концов в недрах комитета ГБ республики родился обстоятельный документ, направленный затем в ЦК КПСС. В нем скрупулезно, по пунктам опровергаются и отвергаются обвинения жалобщика. Тон документа вполне оптимистический: несмотря, мол, на отдельные недостатки, татарские чекисты под руководством местных партийных органов держат под неослабным контролем опасные националистические элементы как в республике, так и за ее пределами.

Что же касается пункта, связанного с Джалилем, то заместитель председателя КГБ ТАССР Кузнецов в специальном разделе дотошно анализирует историю этого вопроса. В результате перед нами раскрываются весьма любопытные детали, проливающие свет на ранее темные – в прямом и переносном смысле этого слова – страницы борьбы вокруг творческого наследия поэта.

Оказывается, еще в феврале 1946 года некий Шамбазов дал показания о том, что Джалиль жив и находится на нелегальном положении в Западной Германии, а возможно, скрывается где-то в других странах. На основе этого показания четвертый отдел МГБ СССР 18 ноября того же года завел на Мусу Джалиля (Залилова Мусу Мустафовича) розыскное дело по обвинению в измене Родине и подключил к нему свою агентурную сеть как в стране, так и за рубежом. Кстати, Вам, Рафаэль Ахметович, не приходилось сталкиваться с этим Шамбазовым? Что он собой представляет?

Р.М. Приходилось, только много позже, в 1974 году. В течение многих лет я составлял картотеку на тех, кто так или иначе был связан с Джалилем или имел хотя бы косвенное отношение к борьбе поэта в фашистском плену. Вот одна из таких карточек: «Шамбазов Явдат (так по документам; правильно, конечно, Джаудат) Виньянович. Род. в 1913 г. в д. Каенлы бывшего Шереметьевского

р-на ТАССР. Образование 5 классов. В 1941 г. попал в плен к немцам. В Едлино и легионе – с ноября 1942 г. по сентябрь 1943 г. Участник художественной самодеятельности легиона

(выступал в комических ролях, читал юмористические стихи). Позднее назначен батальонным муллой. (Он был сыном муллы и имел какое-то представление о религиозных обрядах, знал наизусть несколько сур из Корана). Затем переведен литературным сотрудником в газету «Идель-Урал». Фактически работал в ней художником-ретушером и иллюстратором, так как о литературном редактировании имел весьма смутное представление. После войны вернулся на Родину и вскоре арестован. В 1946 г. осужден на 25 лет за «измену Родине». Выпущен из заключения по амнистии в 1956 г. Не реабилитирован».

Как и многие другие legionеры – обиженные, бесправные, преследуемые, – Шамбазов постарался уехать как можно дальше от глаз местных «органов», в данном случае в поселок Саки Крымской области. Устроился на работу в дорожное управление художником, ни с кем не переписывался и старался ничем не выдать своего присутствия. Вот почему его поиски так затянулись.

По словам Шамбазова, он познакомился с Джалилем осенью 1942 года в лагере Демблин в Польше. Один из лагерных поваров, татарин по национальности, узнав, что Шамбазов хорошо рисует, попросил его оформить альбом со стихами, принадлежащими, как потом выяснилось, Джалилю. Через него-то Шамбазов «вышел» и на автора стихов.

Несколько раз встречался с поэтом и в лагере Едлино – Муса давал ему свои юмористические стихи для исполнения со сцены. Судя по всему, членом подпольной группы он не был, хотя, по его словам, использовал религиозные проповеди для антифашистской агитации. Знающие люди подсказывали ему, что надо говорить и как «опровергать» «абсолютно беспочвенные слухи» о победах Красной Армии. По утверждению Шамбазова, он участвовал в деле патриотического воспитания legionеров и своими картинами, организуя их выставки вместе с художником Хамиевым. Одна из его картин «Она тебя ждет», изображавшая грустную татарскую девушку у колодца, запомнилась многим бывшим legionерам.

В конце войны Шамбазова отчислили из редакции как малограмотного и профессионально непригодного и направили батраком в хозяйство какого-то немецкого бауэра. Поэтому о судьбе Джалиля и его товарищей, большинство которых он знал лично, Шамбазов судил только по доходившим до него слухам. В частности, прошла молва, что Муса Джалиль жив, вышел из тюрьмы и вместе с руководителем «Идель-Урала» Шафи Алмасом бежал сначала в западную зону Германии, а потом – в Турцию.

Б.С. Тогда, в 70-е годы, вы опубликовали материал о встрече с Шамбазовым?

Р.М. Нет. Ничего принципиально нового в его рассказе не содержалось, – все это было в основных чертах уже известно по другим источникам и воспоминаниям. Кроме того, свидетельства Шамбазова показались мне не очень надежными. Слухи же о Джалиле были, вне всякого сомнения, абсолютно беспочвенными. Джалиль, хотя и жил некоторое время в доме Шафи Алмаса в Берлине, всегда считал его откровенным пособником фашистов и находился по другую сторону баррикады. Алмас, в свою очередь, отказался принять участие в судьбе Джалиля и замолвить за него слово перед своими хозяевами.

Б.С. Тем не менее в республиканском комитете госбезопасности восприняли это показание всерьез. Хотя буквально через несколько дней после допроса Шамбазова бывшие военнопленные Надеев, Фатыхов и Гилязеев, как говорится в документе в адрес ЦК, подтвердили факт гибели М. Джалиля и его боевых товарищей в фашистских застенках – произошло это 25 августа 1944 года, полвека тому назад. Вы, Рафаэль Ахметович, знакомы с их делами в архивах КГБ?

Р.М. Конечно. Поскольку широкому читателю эти имена практически неизвестны, опираясь на свою картотеку, приведу о них некоторые ключевые сведения.

Надеев Назиф Нургалиевич, 1908 года рождения, доцент, кандидат технических наук. Сын известного татарского педагога и просветителя Нургали Надеева, на доме которого по улице Островского установлена мемориальная доска. В этом доме Джалиль обычно останавливался, приезжая из Москвы в Казань в 30-е годы, так как знал Надеевых еще со времени обучения в медресе «Хусаиния» в Оренбурге и считал их почти родными. Кстати, именно в доме Надеевых хранился обширный архив поэта в годы войны и в те недоброй памяти годы, когда Джалиля считали предателем.

Надеев попал в плен в ноябре 1941 года. В лагере Вустрау встретился с Мусой. Обнялись,

расцеловались, даже прослезились. В первое время были неразлучны. Но затем их пути разошлись. Джалиль, как мы знаем, выбрал путь подпольной борьбы. Надеев же предпочел не рисковать и устроился в одну из частных контор в Берлине чертежником, где и «прокантовался» почти до самого конца войны.

Вернувшись на Родину, получил за это сполна: был приговорен к высшей мере наказания, замененной впоследствии десятью годами лагерей. В 1956 году амнистирован, но не реабилитирован. До последних дней жизни подвергался гонениям из-за своего прошлого, жил на Севере, вынужден был часто менять место работы.

В ходе следствия Надеев делал особый упор на патриотическую деятельность Джалиля и его группы. Регулярно общаясь с поэтом, он судил о ней не понаслышке. Его не слушали, обрывали, били, обвиняя в попытках «увести следствие в сторону». И все же кое-что существенное было уже тогда зафиксировано в протоколах допросов. Позднее, выйдя из мест заключения, Надеев оставил ценные воспоминания.

Фатыхов Гали Фатыхович (в плену называл себя Бахтиковым Мугином). Родился в 1905 году в деревне Вахитово Таканьшского района ТАССР, беспартийный, образование незаконченное высшее. До войны работал заместителем редактора Татгосиздата и некоторое время – в райкоме партии. Также знал поэта лично. В конце 1941 года попал в плен. Был зачислен в Волго-татарский легион, где окончил курсы пропагандистов. С июля 1942-го, то есть с момента создания газеты «Идель-Урал», работал в ней литсотрудником. Переводил для газеты сводки немецкого командования, выступал и со своими материалами, преимущественно на общекультурные темы. В апреле 1943 года ушел из редакции (опасаясь возмездия за свои поступки, как он утверждал впоследствии на допросах в МГБ) и стал работать батраком в имении командующего Волго-татарским легионом барона Зиккендорфа. После войны осужден за «пособничество врагу» и погиб где-то в бараках ГУЛАГа.

Он также знал о судьбе Джалиля не понаслышке – его хозяина, барона Зиккендорфа немало потаскали в гестапо и контрразведку в связи с делом Джалиля, обвиняли в мягкотелости и халатном отношении к служебным обязанностям. Именно барон сообщил Фатыхову весть о казни Джалиля и его товарищей.

Гилязев Киям Гилязевич (в плену называл себя Галеевым). Бывший заместитель главного редактора газеты «Идель-Урал», а в последние годы – ее фактический редактор, так как Шафи Алмас в редакционные дела особо не вмешивался. Часто публиковал свои статьи в газете под псевдонимом Ильгизар. В день выпуска сотого номера ему присвоили офицерское звание (газета выходила под эгидой вермахта). Сочувствовал подпольщикам и помогал им «протаскивать» в газету материалы, которые его шеф Шафи Алмас охарактеризовал в одном из доносов как «пробольшевистские». В августе 1943 года вместе с группой Джалиля Гилязев был арестован. Но доказать его причастность к подпольной деятельности следствию не удалось, и он был выпущен на свободу.

Арестован «органами», осужден, умер в особом лагере МВД СССР. В его деле также есть довольно подробные показания о Джалиле, Алише и других подпольщиках.

В документе в адрес ЦК КПСС названы всего три фамилии свидетелей. На самом же деле их было многие сотни. Конечно, не все сведения равноценны. Одни близко общались с поэтом в лагере, но ничего не знали о его подпольной деятельности, – есть ведь правила конспирации. Другие видели Джалиля в компании перебежчиков и белоэмигрантов и принимали его за врага. Наконец, были свидетельства непосредственных участников подпольной группы, например Рушада Беляловича Хисамудинова, уроженца Киргизии, в которых поэт предстает истинным патриотом, борцом, умелым подпольщиком. Короче, в чем, в чем, а уж в неосведомленности обвинить «органы» никак нельзя.

Б.С. Тем не менее «дело Джалиля» не закрыли, даже не усомнились в нем. Оно продолжало свое медленное, но неуклонное течение по волнам судебно-канцелярской волокиты. Кроме версии об уходе поэта на Запад, прорабатывалась и версия о том, что он, изменив фамилию, может скрываться в СССР. Время было послевоенное, жестокое. Сам факт пребывания в плену считался преступлением, а уж в легионе, то есть во вражеской армии, тем более. «Преступников» было столько, что, если бы не временная и вынужденная отмена смертной казни и замена ее «гуманным» осуждением на 25 лет строгого режима, население нашей страны могло бы сократиться еще более. Впрочем, и 25 лет для многих означали уход в

небытие.

Р.М. Становится понятным и то, почему вдову поэта Амину Джалиль чуть ли не ежедневно вызывали на Лубянку, заставляя вечера напролет простаивать в коридоре, а за квартирой Джалиля в Столешниковом переулке установили наблюдение. По словам А. Джалиль, от нее требовали регулярного отчета: кто к ним приходил, зачем, о чем говорили. Если она о чем-то «забывала», поправляли и строго предупреждали.

Б.С. В своей книге «По следам оборванной песни» вы пишете, что вторую Моабитскую тетрадь Джалиля передали в Союз писателей Татарии 2 апреля 1947 года. Но при этом не упоминаете о том, что 5 апреля того же года имена Джалиля и Алиша четвертым управлением МГБ СССР включены в документы всесоюзного розыска как особо опасных преступников, подозреваемых по целому ряду политических статей. Понимаю, это не ваша вина. Да и кому могло прийти в голову, что на основе весьма зыбких сведений будет организован поиск «политических противников Советской власти», скрывающихся от «справедливого возмездия»? Дело приобретало большой масштаб – им занималось центральное ведомство МГБ с его разветвленной агентурной сетью при участии местных чекистов.

Судя по названному документу, руководители республиканского комитета госбезопасности периодически запрашивали центр о ходе поисков. Регулярно поступали и ответы. Так, 7 сентября 1948 года в Казань пришло сообщение, что, по данным заместителя уполномоченного МГБ по Германии, «Залилов в 1945 г. ушел в западную зону Германии». Неизвестно, на чем основывались эти сведения, но их тут же сообщили в Татарский обком партии. Таким образом, к секретарям обкома поступала противоречивая информация – то о патриотической деятельности группы Джалиля, то прямо противоположного характера. Этим-то и объясняются непонятные на первый взгляд колебания в оценке личности и творчества Джалиля и Алиша.

Р.М. По словам Амины Джалиль, эти колебания общественного мнения непосредственно отражались и на отношении к ней. Ее то принимали, если не с распростертыми объятиями, то внимательно и вежливо, как жену погибшего поэта-фронтовика. То буквально выгоняли из Союза писателей как жену изменника Родины. То к ней приходили домой, чтобы посоветоваться, как лучше издать стихи Мусы Джалиля, то при встречах виновато отводили глаза и мямлили нечто невразумительное. Примерно то же происходило и с другом поэта, композитором Назибом Жигановым. Ему то позволяли развернуть работу над оперой «Поэт», прототипом главного героя которой был Джалиль, то запрещали даже думать о ее постановке. Если проследить хронологию этих колебаний, они наверняка совпадут с противоречивыми сообщениями «органов».

По рассказам писателей старшего поколения я знаю, что многие из них лично обращались к тогдашнему первому секретарю Татарского обкома КПСС З. Муратову с просьбой разобраться в деле Джалиля и реабилитировать поэта. Но эти многочисленные обращения остались без ответа.

Б.С. Не совсем так. Судя по тому же письму, З. Муратов не раз обращался к руководителям республиканского комитета госбезопасности по вопросу о Джалиле. Информация о патриотической деятельности группы Джалиля, собранная как агентурным путем, так и извлеченная из показаний лиц, побывавших в плену, доходила и до него. Под влиянием этой информации местные «органы» снова обращались в Центр, напоминая о затянувшемся деле. Однако утешительного было мало. К именам Джалиля и его боевых товарищей прочно прилипло, казалось бы, несмываемое клеймо предателей.

В мае 1949 года один из руководителей МГБ республики Токарев послал новый запрос в Москву. В нем он ставил вопрос о необходимости уточнить данные резидента госбезопасности по Германии в связи с накопившимся в Казани обширным материалом противоположного характера. Не дождавшись ответа, начальник четвертого отдела МГБ ТАССР подполковник Качалов позвонил в Москву по ВЧ, попросил ускорить расследование, поделился своими сомнениями. В тот же день из Москвы пришел категорический ответ, не оставлявший вроде бы места ни для каких сомнений: «Уход Джалиля на Запад подтвержден, и розыскное дело остается в работе».

Люди, помнящие те времена, понимают, что означала тогда, да и много позже сакраментальная формула «по сведениям компетентных органов». Она имела высшую степень

легитимности и дальнейшему обсуждению не подлежала. Так что причина затягивания дела с реабилитацией Джалиля вовсе не только в происках и интригах отдельных недругов из числа «инженеров человеческих душ», хотя таковые, как говорится, тоже «имели место». Все гораздо глубже и серьезнее.

Так продолжалось до самого конца 1951 года: густой туман неопределенности, оскорбительные подозрения, полный запрет на издание и упоминание в печати... Но через полгода – первый и, как оказалось, решительный сдвиг. 23 июня 1952 года тот же Качалов по просьбе обкома партии просит Москву «уточнить факт гибели М.М. Залилова». Примерно через месяц, 21 июля, приходит ответ. Четвертое управление МГБ СССР официально извещает Казань, что «в связи с гибелью разыскиваемого в 1944 г. оперативное розыскное дело на него прекращено». Это означало, что версия об «изменившем Родине» и «бежавшем на Запад отщепенце» была от начала до конца лживой, что все предположения о «затаившемся на время шпионе и диверсанте», агенте не только немецкой разведки, но, возможно, и ЦРУ, лопнули как мыльный пузырь. Агентурные поиски как в стране, так и за рубежом на этом прекращались. У МГБ больше не было никаких прямых, в рамках Уголовного кодекса и его 58-й статьи, претензий ни к Джалилю, ни к его соратникам.

Р.М. Не думаете ли вы, что «дело Джалиля» наконец-то попало в руки не бездушного и ограниченного службиста, а человека добросовестного, мало-мальски смыслящего в том, чем он занимается? Иного объяснения просто не вижу...

Б.С. Не исключено, что именно так и было. Но главное все же в том, что в республике к этому времени накопилось довольно солидное досье на Джалиля, большинство материалов которого достаточно убедительно подтверждало факт героической гибели поэта и его соратников.

В августе 1952 года, восемь лет спустя после казни узника Моабита, Токарев доложил Муратову о практической реабилитации Мусы Джалиля, Абдуллы Алиша, других соратников поэта и вернул в обком тетради со стихами Джалиля и Алиша, в свое время переданные в МГБ секретарем обкома по идеологии С.Г. Батыевым. После этого следственное дело Джалиля и Алиша было передано в архив. Таким образом, говорится в документе, адресованном ЦК КПСС, прямой вины чекистов республики в задержке с реабилитацией Джалиля нет.

Р.М. Да, но с августа 1952 года до первой публикации моабитских стихов прошло более полугодия. Внешних препятствий уже не было, но оставалась инерция, успевшая набрать большую силу. Оставался провинциальный страх многократно пуганой вороны: как бы чего не вышло... И если бы не публикация стихов в центральной печати, все могло бы затянуться еще на несколько лет.

Об истории этой публикации Константин Симонов рассказывал мне при личной встрече. По его словам, с подстрочниками стихов Джалиля он ознакомился еще в 1948–1949 годах, – их дал ему кто-то из татарских писателей. Стихи поразили его искренностью, силой страсти, подлинным патриотизмом. Симонов знал, конечно, о грязных слухах, связанных с именем Джалиля, но считал, что стихи лучше всяких доводов опровергают эти подозрения. Поэтому он решил опубликовать стихи на страницах журнала «Новый мир», редактором которого в то время работал. Переводы по подстрочникам сделал известный поэт-переводчик Лев Френкель. Они Константину Михайловичу понравились (они до сих пор публикуются в сборниках Джалиля). Он написал небольшое предисловие и послал стихи в набор. Однако Главлит задержал публикацию. Тогда, рассказывал Симонов, он обратился к высшему руководству МГБ, но разрешения на публикацию так и не получил.

В апреле 1953 года, вскоре после смерти Сталина, Симонов, работавший уже главным редактором «Литературной газеты», решил вновь попытаться опубликовать стихи Джалиля. Работники Главлита проконсультировались по своим каналам с МВД и сказали, что принципиальных возражений у «органов» нет. Таким образом, 25 апреля 1953 года первая подборка моабитских стихов увидела свет.

По рассказу Амины Джалиль, ей в ночь на 24 апреля приснился вещий сон: Муса в белом, светлый, улыбающийся, радостный. До этого он ей тоже нередко снился, но – в черном. Весь день она ходила с предчувствием какой-то радостной, благой вести. И вот, уже под вечер, звонок из «Литературной газеты»: читайте завтрашний номер нашей газеты...

Наутро они с Чулпан обежали газетные киоски, закупили кипу номеров «Литературки». А сколько слез было в тот день! Слез радости и горечи, признательности и обиды... С ними выплеснулось все пережитое – гибель Джалиля, подозрения в его измене Родине, несправедливости по отношению к ней самой. А она непоколебимо верила в мужа, нередко оставаясь в одиночестве. И вот теперь – публичная, хотя еще и косвенная, реабилитация Мусы.

С этого дня началось триумфальное возвращение поэта.

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ О ПОДВИГЕ ДЖАЛИЛЬЦЕВ НАШЕЛСЯ... В ПРАГЕ

В самом начале 2001 года мне позвонил профессор Московского государственного института международных отношений Абдулхан Ахтамзян:

– Третью Моабитскую тетрадь я, правда, не нашел. Но с помощью немецких друзей обнаружил новый весьма любопытный документ о причастности группы Джалиля к антифашистскому движению Сопротивления... Кстати, более правильно называть эту организацию не группой Джалиля, а группой Курмашева, как это и зафиксировано в официальных немецких документах. На днях я приеду в Казань, привезу этот документ и обо всем расскажу подробнее...

Все началось с мемориальной доски

В дни пятидесятилетия Великой Победы, в мае 1995 года, из Казани в Берлин выехала делегация ветеранов – участников Великой Отечественной войны в составе З. Валеева, В. Гиняева и Р. Тагирова. Они привезли с собой и доставили в Берлин мемориальную плиту с именами одиннадцати джалильцев. По указанию Президента РТ Минтимера Шаймиева, доска была отлита из металла, а имена героев на ней выбиты латинскими буквами.

7 мая 1995 года в берлинской тюрьме Плетцензее, где оборвалась жизнь татарских патриотов (ныне здесь мемориал жертв гитлеризма), состоялась передача мемориальной плиты, о чем тогда же был составлен официальный акт, скрепленный подписями сторон.

Пять лет спустя, в дни празднования 55-летия Победы, из Казани в Берлин выехала делегация из двух человек: бывший фронтовик, участник боев за Берлин Рафкат Тагиров и писатель Рафаэль Мустафин. Мы возложили цветы к памятникам павших советских воинов в Берлине и посетили тюрьму Плетцензее. Здесь мы с огорчением убедились, что мемориальная доска хотя и находится в целости и сохранности, но на стене барака для казней так и не установлена, хранится в запасниках.

Администрация мемориала объяснила это тем, что, согласно правилам охраны памятников истории и архитектуры, никакие доски или иные внешние изменения на старинных зданиях недопустимы. Нам посоветовали передать мемориальную доску в музей немецкого Сопротивления, где увековечена память жертв нацизма.

Вскоре после возвращения из Берлина по официальным каналам был послан запрос в дирекцию этого музея. Но тут возникло непредвиденное препятствие. Выяснилось, что, с точки зрения нынешних немецких властей, одних лишь документов о казни еще недостаточно, чтобы считать казненных жертвами нацизма. Дело в том, что в годы войны немало казней совершалось и по чисто уголовным обвинениям: за кражи, изнасилования... Могли казнить даже за связь с немецкой женщиной. Одним словом, потребовалось документальное подтверждение того, что все джалильцы были казнены именно по политическим мотивам. Но, как известно, дело группы Джалиля рассматривал Второй имперский военный суд в г. Дрездене. А все архивы этого суда полностью сгорели во время массовой бомбардировки Дрездена авиацией союзников в последние недели войны.

Продолжение поиска

В январе 2001 года в Берлине побывали генерал армии Махмут Гареев и почетный член Академии наук Татарстана, профессор Абдулхан Ахтамзян. Как представители Лиги

российско-германской дружбы они присутствовали на заседании германского бундестага, посвященном памяти жертв нацизма. На этом заседании выступил и президент ФРГ Иоханнес Рау.

Позднее они были приняты в дирекции музея немецкого Сопrotивления на Штауфенбергштрассе и вновь подняли вопрос о мемориальной доске в честь группы Джалиля. Директор музея Иоханнес Тухель с пониманием отнесся к их просьбе и тут же сделал запрос в компьютерный банк данных «Берлин документ сентер». Выяснилось, что имена одиннадцати советских патриотов-татар (Курмашева, Джалиля, Алиша и др.) внесены в этот список и, следовательно, они считаются жертвами нацизма.

Более того, усилиями сотрудников музея удалось найти еще один официальный документ, позволяющий считать татарскую группу военнопленных участниками сопротивления нацизму. По словам И. Тухеля, документ хранится в так называемом пражском архиве. Его удалось обнаружить благодаря единой сети Интернет.

Суть документа

Документ представляет собой сделанную от руки выписку из решения Второго имперского суда в г. Дрездене и озаглавлен «Курмашев и 10 других» (разумеется, на немецком языке). В левом верхнем углу стоит регистрационный номер 36/44, справа дата – 12 февраля 1944 года. В скобках стоит фамилия Фляйшманн. Видимо, это либо составитель документа, либо судья, рассматривавший дело джалильцев.

Далее следует список осужденных: Курмашев, легионер, 1919 г.р. (имена не указаны, только фамилии.– *Р.М.*); Сайфельмулюков, командир взвода, 1916 г.р.; Алишев, легионер, 1908 г.р.; Булатов, инженер, 1913 г.р.; Гумеров, писатель, 1906 г.р. (как видим, в этом документе Муса Джалиль назван под вымышленной фамилией.– *Р.М.*); Шабаетов, торговый работник, 1907 г.р.; Симаев, журналист, 1915 г.р.; Батталов, легионер, 1916 г.р.; Хасанов, легионер, 1916 г.р.; Атнашев, проф. неразб., 1918 г.р.; Бухаров, проф. неразб., 1915 г.р.

В следующей колонке против фамилии каждого проставлены те пункты обвинения, которые были предъявлены им прокурором. Практически всем предъявлено обвинение в «содействии врагу» и «военном предательстве» (измене рейху). В ряде случаев предъявлено еще обвинение в «дезертирстве». Но в окончательном приговоре это обвинение отпало.

Третья колонка представляет собой краткую формулировку приговора. Хотя пункты обвинения, признанные судом, у каждого несколько различаются, но мера наказания для всех предусмотрена одна: «смертная казнь». В этом документе важна каждая мелочь. Так, приговоры по отношению к первым двум обвиняемым – Гайнану Курмашеву и Фуату Сайфельмулюкову – даны отдельно. Из этого следует, что именно они признаны судом «главарями» преступной группы. Шесть членов подпольной группы, в том числе Муса Джалиль, получили общее обвинение в «содействии врагу» и «подрыве военной силы». И наконец, для трех последних осужденных основанием для смертного приговора послужило «недонесение» и «военная измена».

Этот важнейший документ открывает новые пути поиска. До сих пор мы искали группу Джалиля-Гумерова. Однако, как свидетельствует документ, в архивах она значится как группа Курмашева. Во-вторых, искали в архивах Германии и Польши. А часть архива по каким-то мотивам, видимо, была вывезена в Прагу.

Самое же главное в том, что документ дает юридическое основание считать эту группу антифашистской организацией, группой сопротивления нацизму. Немецкий документ прямым текстом признает, что татары своими «преступными действиями» нанесли серьезный ущерб нацистскому режиму, подрывали его военную мощь и содействовали «врагам рейха», т.е. Советской Армии.

ИХ СУДИЛИ ЗА «ПОДРЫВ ВОЕННОЙ МОЩИ НЕМЕЦКОГО РЕЙХА»

В последней декаде октября 2002 года в столице Германии Берлине побывала

правительственная делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ Зилей Валеевой. Делегация приняла участие в церемонии открытия новой экспозиции в Мемориале сопротивления фашизму в бывшей фашистской тюрьме Плетцензее. В церемонии участвовали также депутат Берлинского сената д-р Эккехард Клонса, руководители лиги «Берлинские друзья народов России» Кирилл Пех и Хорст Херманн, сотрудники посольства России в Германии, представители Российского дома науки и культуры в Берлине, участники антифашистского Сопротивления. Делегация Татарстана побывала также в Берлинском музее сопротивления фашизму на улице Штауфенберг, познакомилась с электронной базой данных о группе Мусы Джалиля, возложила цветы к мемориальной доске, открытой в этом музее в честь татарских патриотов. В составе делегации был и автор этой книги, писатель Рафаэль Мустафин.

Берлин за последние несколько лет неузнаваемо преобразился. Некогда мрачный, угрюмый – настоящие каменные джунгли, – он заметно помолодел, словно бы посветлел. Здесь идут большие реставрационные работы. Очищаются от вековой пыли и грязи фасады зданий, меняется их «начинка». Восстанавливаются некогда прерванные транспортные артерии между западной и восточной частями города. Невдалеке от Бранденбургских ворот – там, где всего полтора десятка лет назад проходила государственная граница – знаменитая Берлинская стена, – выросли внушительные небоскребы из стекла и бетона.

Еще одна новость: в сегодняшнем Берлине чуть ли не на каждом углу можно встретить выходцев из России, услышать русскую речь. Согласно официальным данным, в Берлине более ста тысяч русских. А по неофициальным сведениям – в несколько раз больше (400 тысяч). Всего же в Германии насчитывается около трех миллионов так называемых русскоязычных. Сюда входят и бывшие немцы Поволжья, и выехавшие из России евреи, украинцы, белорусы и др. Попадались нам и выходцы из Татарстана, в частности из Набережных Челнов.

В Берлине издается на русском языке многостраничная газета «Русская Германия». В определенные часы ведутся теле- и радиопередачи на русском языке. Есть даже русский камерный театр, в котором в дни нашего приезда с большим успехом шла пьеса М. Булгакова «Собачье сердце».

На вокзале нас встречали руководители лиги «Берлинские друзья народов России». Цветы, улыбки. И тут же деловая часть – согласование программы нашего пятидневного пребывания в Берлине.

Но сначала о том, что предшествовало этой поездке.

Вопрос о мемориальной доске (или ином памятнике) в честь джалильцев был поднят много лет назад – еще тогда, когда были найдены первые документы о казни Мусы Джалиля и десяти его боевых товарищей в бывшей фашистской тюрьме Плетцензее. Дело осложнялось тем, что эта тюрьма расположена на территории Западного Берлина. Поэтому власти ГДР при всем расположении к нашей стране ничем не могли нам помочь.

Замечу, кстати, что в ГДР стихи Джалиля выдержали целых три издания в переводах на немецкий язык, причем одно из них – массовым тиражом. На студии «Дефа» о подвиге Мусы Джалиля снят художественный фильм «Красная ромашка». Этот фильм демонстрировался не только в кинотеатрах, но и по телевидению ГДР. Так что о подвиге Джалиля здесь знают не понаслышке.

Многочисленные обращения в сенат Западного Берлина остались без ответа. В начале 90-х годов – уже после объединения Германии – лед наконец тронулся. Было получено устное согласие ответственного сотрудника Берлинского сената на установку мемориальной доски. Если, мол, вы сами изготовите и привезете ее в Берлин, никто возражать не будет. После этого памятная доска с именами казненных джалильцев (на татарском языке латинским шрифтом) была отлита из цветного металла на одном из казанских предприятий (не обошлось без личного вмешательства Президента РТ Минтимера Шаймиева).

Красные ромашки

23 октября наша делегация посетила Берлинский музей сопротивления фашизму, расположенный в самом центре Берлина, в здании бывшего военного ведомства фашистской

Германии. Перед этим мы зашли в цветочный магазин, чтобы выбрать цветы для возложения к мемориальной доске. Какие же цветы больше подходят к случаю? Гвоздики? Розы? Хризантемы? И тут кто-то обратил внимание на крупные ярко-красные цветы с золотисто-желтой сердцевинкой. Оказалось, что это ромашки, – какой-то новый, прежде невиданный сорт, выведенный немецкими селекционерами. Мы приобрели одиннадцать красных ромашек, по числу казненных.

Мемориальная доска установлена на самом видном месте в конференц-зале музея. Она перехвачена черной траурной лентой. Рядом помещен перевод текста на немецкий язык. Тут же и фотография тюрьмы Плетцензее, где совершилась казнь. По словам сотрудников музея, доска привлекает всеобщее внимание. Многие интересуются, кому и зачем она поставлена. Тем же, кто хочет узнать подробнее, гиды предлагают познакомиться с электронной базой данных о группе Мусы Джалиля. Она построена на основе документов, частично присланных из Казани, частично найденных самими сотрудниками музея. К слову сказать, такой базы данных нет даже в Татарстане.

Может возникнуть вопрос: что же нового я узнал из этой базы данных и встречи с сотрудниками музея в Берлине? Ну хотя бы то, что подвиг Джалиля при своей уникальности далеко не единичен. Если чехи называют Джалиля «татарским Фучиком», то немцы – «татарским Хаусхофером». Кто же это такой?

В базе данных немецкого музея содержатся сведения о двух Хаусхоферах – отце и сыне. Старший – Карл Хаусхофер – родился в Мюнхене в 1869 году. Работал на дипломатическом поприще, выполнял секретные миссии в странах Юго-Восточной Азии. Дослужился до чина бригадного генерала. После первой мировой войны стал профессором Мюнхенского университета. В историю рейха он вошел тем, что учредил Институт геополитики и разработал теорию так называемого «жизненного пространства», якобы необходимого для выживания арийской расы. Именно на этой теории строилась доктрина фашистской Германии при планировании «плана Барбаросса», т.е. войны против Советской России.

А вот сын этого отъявленного фашиста Альбрехт Хаусхофер оказался совсем другой породы. Он родился в 1903 году в том же Мюнхене. Преподавал географию сначала в Мюнхенском, потом в Берлинском университетах. Писал стихи, драмы, эссе. И, что самое главное, был убежденным противником нацизма. За проявленное на лекциях вольномыслие его выгнали с работы и в 1941 году арестовали. Правда, первый арест продолжался недолго. Видимо, помогли связи отца в высших сферах (одним из верных учеников и последователей Карла Хаусхофера был всемогущий Рудольф Гесс).

Альбрехт Хаусхофер не сделал «должных выводов» и продолжал разоблачать нацистов. Поэтому в 1944 году его вновь арестовали и поместили в тюрьму Моабит. Ту самую, где создавались моабитские стихи Джалиля. 23 апреля 1945 года – буквально за несколько дней до того как советские войска вошли в Берлин, Хаусхофера-младшего вывезли из тюрьмы и расстреляли. Легенда гласит, что когда наткнулись на труп поэта, в руках у него была зажата тетрадка со стихами, написанными в Моабитской тюрьме.

Позднее стихи эти были напечатаны под названием «Моабитские сонеты». Стихи не раз переиздавались и включались в сборники поэтов-антифашистов. В 2001 году в Берлине установлен бюст Альбрехта Хаусхофера.

Отец, Карл Хаусхофер, хотя и пережил сына, но ненадолго. В 1946 году он покончил жизнь самоубийством. Видимо, пережил разочарование в прежних идеалах и признал правоту сына. О трагедии этой семьи подробно рассказывается в электронной базе данных.

Мы привезли один из сборников А. Хаусхофера с собой в Россию. И жена профессора Ахтамзяна, Хадича Ахтамзян, перевела некоторые стихи на русский язык. Даже по этим немногим строчкам явно ощутима переключка со стихами Мусы Джалиля (хотя они сидели в разное время и не могли знать друг о друге). Немецкий поэт в камере фашистской тюрьмы переживал те же трудности, издевательства и унижения, что и наш Муса.

Удастся ль в темной камере заснуть?
На холоде, у самого порога?
Здесь столько судеб перечеркнут путь!
Лишь пепел грез под сводами острога.

Так же, как и Муса Джалиль, Альбрехт Хаусхофер мечтал о свободной Германии, Германии Гете и Бетховена. Он мучился от сознания своей вины. Но не той, в которой его обвиняли фашисты. Поэт упрекал себя в том, что не смог громче возвысить свой голос, не сумел открыть глаза людям, ослепленным фашистской пропагандой. Его утешало только то, что в этой святой борьбе он не одинок:

И я не первый обречен страдать
В оковах на израненных запястьях,
По чьей-то воле дни и ночи ждать,
Когда прервется этот сон-несчастье.

И в этих жгучих строках тоже ощутима явная перекличка с моабитскими стихами Джалиля. Как выразились наши немецкие друзья, и татарский, и немецкий поэт – звенья одной цепи, общей борьбы против коричневой гадины – фашизма.

Мрачные тайны тюрьмы Плетцензее

Район Плетцензее, расположенный на западной окраине большого Берлина, считается промышленным районом. Низкие прокопченные корпуса заводов и фабрик... Унылые склады, пакгаузы... Железнодорожные пути и груды строительных материалов вдоль них.

Тюрьма Плетцензее, окруженная высоким кирпичным забором, не делает этот район веселее и уютнее. Тюрьма до сих пор действует. В ней содержатся несовершеннолетние преступники. Но часть тюремной территории с барак для казней отделена от остальной части и превращена в мемориальную зону. У входа в эту зону сооружена памятная стена с надписью на немецком языке: «Жертвам гитлеровской диктатуры. 1933–1945 гг.». Стена примыкает к барак для казней, оставшемуся неизменным со времен войны. Здесь на виселице или гильотине казнены около трех тысяч людей разных национальностей.

Следует пояснить, что тюрьма Плетцензее была лишь одной из четырех берлинских тюрем, где совершались массовые казни. Всего к весне 1945 года число осужденных на смертную казнь достигло 16 560 человек. Но и это, конечно, только малая часть гитлеровских жертв. Миллионы людей были уничтожены без всякого суда и следствия. Сотни тысяч погибли в концлагерях, умерли от голода и тифа в лагерях для военнопленных, сожжены в газовых камерах.

Сопровождавший нас гид, сотрудник Мемориального комплекса, рассказывает о мрачных тайнах этой тюрьмы.

Казни заключенных проводились обычно в первой половине дня (напомню: джалильцев казнили с 12 часов 06 минут до 12 часов 36 минут 25 августа 1944 года). Согласно правилам немецкой юстиции, накануне казни прокурор в присутствии стражников объявлял осужденному о предстоящей казни, о чем составлялся протокол. Впрочем, джалильцы узнали о том, что их ожидает, только тогда, когда их в 8 часов утра 25 августа привезли из Тегеля в тюрьму Плетцензее и поместили в отдельное крыло – так называемый Дом смерти. Затем им связали руки за спиной и зачитали приговор. После этого им дали возможность встретиться с мусульманским священником.

В назначенное время заключенных выводили из Дома смерти и приводили в барак для казней. Сама гильотина была скрыта от взоров черным плотным занавесом. Стражники хватали заключенных по одному и бросали на гильотину. Остро отточенный нож весом в 75 килограммов отсекал голову практически мгновенно. После этого тело отбрасывали в сторону, а на гильотину кидали новую жертву.

По словам гида, здесь работали три штатных палача, которые получали по три тысячи марок в год. Плюс дополнительная плата за каждую казнь. Подручные палача тоже получали дополнительную плату за каждого казненного, а в конце войны, учитывая «тяжесть» их работы, им выдавали дополнительный паек: 8 сигарет за каждого казненного.

Особым усердием среди палачей выделялся некий Реттгер. По словам очевидцев, это был патологический тип уголовника, для которого не было ничего святого. Жизнь людей он мерил исключительно той платой, которую получал за каждую казнь. Более того, он испытывал какое-то садистское удовольствие от этой процедуры, – на его губах играла кривая улыбка, в

зубах постоянно была зажата сигарета. И передвигался он своеобразно: не ходил, а словно бы крался. Ноги в войлочных туфлях бесшумно скользили по цементному полу. Накидывался на заключенных, как рысь, опрокидывал навзничь на полотно гильотины и тут же нажимал кнопку.

Однако джалильцев, скорее всего, казнил сам главный палач фашистской Германии Эрнст Раендель. Внешне он был более уважаемым: ходил в черном, наглухо застегнутом сюртуке, пальцы унизаны золотыми перстнями. Э. Раендель имел обыкновение перед казнью обходить камеру смертников и заглядывать приговоренным в рот: есть ли золотые зубы? Потом он выламывал эти зубы, которые служили ему источником дополнительного дохода.

Если заключенный не желал раскрывать рот или как-то выражал свое недовольство (некоторые плевали палачу в лицо), Раендель злоецо произносил:

– Подожди... Сразу после казни я посмотрю в твои глаза...

Он и в самом деле сдерживал свое обещание. Как только отрубленная голова скатывалась по специальному желобу, палач брал ее за волосы и подносил к лицу. Среди палачей существовало убеждение, что в первые мгновения после казни, пока кровь не успеет покинуть мозг, человек, точнее отрубленная голова, все понимает и осознает весь ужас свершившегося. Вот так палач стремился запечатлеть себя в помутившемся сознании казненного.

Память о них жива

25 октября 2002 г. мы, члены татарской делегации, возложили траурный венок на месте казни джалильцев. Были возложены венки также от имени Берлинского сената и общества «Берлинские друзья народов России».

Затем состоялось открытие стенда, посвященного нашим землякам, героям-джалильцам. Он установлен в том же здании, только в соседней комнате. Это один из четырнадцати стендов Мемориального комплекса. На нем помещены фотографии Мусы Джалиля и Абдуллы Алиша, фотокопии некоторых страниц из Моабитских тетрадей, стихи Джалиля в переводе на немецкий язык, копии документов о казни и другие материалы.

Отрывок из выступления на церемонии открытия стенда руководителя татарстанской делегации, вице-премьера правительства Татарстана Зили Валеевой:

«Мне хочется подчеркнуть, что казненный в фашистской тюрьме поэт не испытывал злобы и ненависти к немецкому народу. Наоборот, он преклонялся перед талантом язвительного Гейне, боготворил Гете, восхищался музыкой великого Бетховена. В считанные дни перед казнью он писал:

И это страна великого Маркса?
Это бурного Шиллера дом?
Это сюда меня под конвоем
Привел фашист и назвал рабом?

И стенам не вздрогнуть от «Рот-фронта»?
И флагу спартаковцев не зардеть?
Ты ударил меня, германский парень,
И еще раз ударил. За что? Ответь!

Стихи Джалиля убедительно доказывают, что он до последнего вздоха оставался верен идеалам демократии и гуманизма. В борьбе против тоталитаризма и деспотии он опирался и на лучшие силы немецкого народа. Как известно, в подпольной группе Джалиля – Курмаша участвовал и один из немецких патриотов, имя которого, к сожалению, не удалось установить.

И мы глубоко благодарны нашим друзьям из Берлинского музея сопротивления за то, что они также чтят память российских граждан, погибших в борьбе против коричневой чумы – фашизма. Мы особенно благодарны им за то, что с их помощью удалось найти еще один важный документ, проливающий свет на подвиг Джалиля и его товарищей. Это выписка из дела по обвинению группы советских патриотов в «разложении немецкой армии» и «пособничестве врагу», то есть верности своей Родине.

Думаю, что эти наши плодотворные связи и дальше будут крепнуть и развиваться».

После завершения церемонии я взял блиц-интервью у участников мероприятия. Вот некоторые высказывания.

Директор Мемориального комплекса сопротивления фашизму д-р Иоханнес Тухель:

– Говорят, что каждый умирает в одиночку. В большинстве случаев так оно и было. Но что касается группы Джалиля Курмаша, то они до последней минуты держались исключительно дружно. Вместе сражались с фашизмом, вместе переносили все тяготы неволи, вместе шли на казнь. Даже для такой большой тюрьмы, как Плетцензее, где казнено 2 889 человек, это – случай исключительный. Вот почему мы с уважением преклоняем голову перед памятью татарских борцов Сопротивления.

Один из руководителей лиги «Берлинские друзья народов России» Хорст Херманн:

– Я много раз бывал в России, приобрел сборники стихов Джалиля, знакомился с ним не только на немецком, но и на русском языке. Есть в моей личной библиотеке и ваша книга «По следам оборванной песни». Поэтому я лично никогда не сомневался в величии подвига Мусы Джалиля и его товарищей, восхищался их беспримерным мужеством и стойкостью. Думаю, настанет день, когда в Берлине будет открыта не только мемориальная доска, но и скульптурная группа, рассказывающая о подвиге джалильцев.

Мемориальный комплекс тюрьмы Плетцензее ежегодно посещают от 50 до 60 тысяч туристов. И пока шла церемония открытия стенда, подъехало несколько автобусов с туристами. Большинство из них составляли школьники, которые живо интересуются прошлым своей страны, хотят побольше узнать о том, что было до них. Это нужно для того, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

Вскоре после выхода в свет первого издания книги «По следам поэта-героя» я получил сообщение, что в Бугульме в школе-интернате № 2 создан отряд имени Рахима Саттара. Ребята собирают материалы о герое, переписываются с его родными и друзьями, учатся быть такими же твердыми, бесстрашными и верными великим идеалам ленинизма, каким был славный джалилец.

В Парангинском районе Марийской АССР создан музей Гайнана Курмаша. В Казанской средней школе № 55 на общественных началах организован музей Абдуллы Алиша. Ребята под руководством своего преподавателя И. Сункишевой собрали богатый материал о писателе-борце – документы, письма, подлинные фотографии, воспоминания очевидцев и современников Алиша, прижизненные издания его книг и т.д.

В Сармановском районе есть пионерская дружина имени Зинната Хасанова.

Именами героев-джалильцев названы колхозы и совхозы, улицы в городах и рабочих поселках, их подвиг живет в сердцах юного поколения. Я уж не говорю о многочисленных отрядах, дружинах и клубах имени Мусы Джалиля. Они созданы буквально по всей стране.

Собрать материалы о героях, систематизировать и сберечь в назидание будущим поколениям – вот задача, которая под силу только массовому движению молодежи.

И я хочу закончить эту книгу призывом ко всем, кто прочтет эту книгу и захочет принять участие в поиске: не жалейте сил и времени на воссоздание летописи героических лет. Еще не все герои открыты, не все обстоятельства подвига прояснены. Все то новое, интересное и ценное, что вам удастся обнаружить о Мусе Джалиле и его соратниках, присылайте по адресу:

г. Казань, ул.Муштари, 14
Союз писателей Татарстана
Мустафину Р.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Сто четырнадцать шагов	
«Кого-то из нас недосчитаются...»	
На курсах политработников	
«И после смерти не умирать»	
В резерве	
«Коли так – оформляйте»	
Первая весть	
«Если эта книжка попадет в твои руки...»	

Загадки, загадки... ..
Пакет из Брюсселя

Второе рождение поэта

«Волхов – свидетель: я не струсил»

«Продолжаю писать стихи и песни»

Заря над колючим забором

Из воспоминаний Салиха Ганеева

Крепость Демблин

Странные перемены

«Надеть вражеский мундир? Никогда!»

«О чем всю ночь слагал стихи поэт?»

Находка в партийном архиве

Вуэстрау – особый лагерь

Три сигнальные ракеты

Встреча с Розенбергом

Что же двигало Джалилем?

Осиное гнездо

Званный ужин

Признания эсэсовца

Учиться искусству конспирации... ..

Встреча в подвале

Поездка по лагерям

Левое крыло сокола

«Пирушка» в ресторане «Ам Цоо»

«Дожить бы до того часа...»

Рядом с Джалилем

Донос «президента»

Сильное противоядие

Провал

Тринадцатый

Драма в Черном лесу

«Они вели себя героически...»

Варшава, «Павиак» – Берлин, Александерплац... ..

В «ожидалке»

Сосед по камере

Писать, писать не уставая... ..

История Первой Моабитской тетради

Александр Николас

Тайна исчезнувшей записки

Суд в Дрездене

«Я – коммунист, а ты – фашист...»

«Татары умерли с улыбкой»

«Светлый облик Джалиля я навсегда сохранил в памяти»

Взгляд с другой стороны

В стране Алман

«Мы преклоняемся перед ними...»

Лобное место Европы

«Я под снежной засну пленюю...»

Оборванные нити

Третья Моабитская тетрадь Джалиля... ..

Что сказала ЭВМ?

Гитлер хотел стать ханом у татар

Гайнан Курмаш

Абдулла Алиш

Ахмет Симаев

Рахим Саттаров

Гариф Шабаев

Фуат Булатов

Зиннат Хасанов

Абдулла Баттал

Фуат Сайфельмулюков

Ахат Атнашев

Салим Бухаров
Затянувшаяся реабилитация
Новый документ...
Их судили за «подрыв военной мощи»... ..

Популярное издание

Мустафин Рафаэль Ахметович

ПО СЛЕДАМ ОБОРВАННОЙ ПЕСНИ

Редактор *Р.М.Кадыров*

Художник *Р.Х.Хасанишин*

Художественный редактор *Р.Г.Шамсутдинов*

Корректоры *Н.И.Максимова, А.Г.Хамитова*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С.Н.Нуриевой*

Лицензия на издательскую деятельность № 04184 от 6 марта 2001 года.

С оригинал-макета подписано в печать 1.04.2004. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Гарнитура «Футурис». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0 + форз. 0,21.
Усл. кр.-отт. 22,05. Уч.-изд. л. 21,02 + форз. 0,36. Тираж 2000. Заказ Э-210.

Оригинал-макет подготовлен с помощью пакета программ Jahat™

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул.Баумана, 19.

<http://www.tatarstan.ru/books/>

E-mail: tki@books.kazan.ru

Государственное унитарное предприятие
издательско-полиграфический комплекс «Идел-Пресс».
420066. Казань, ул. Декабристов, 2.